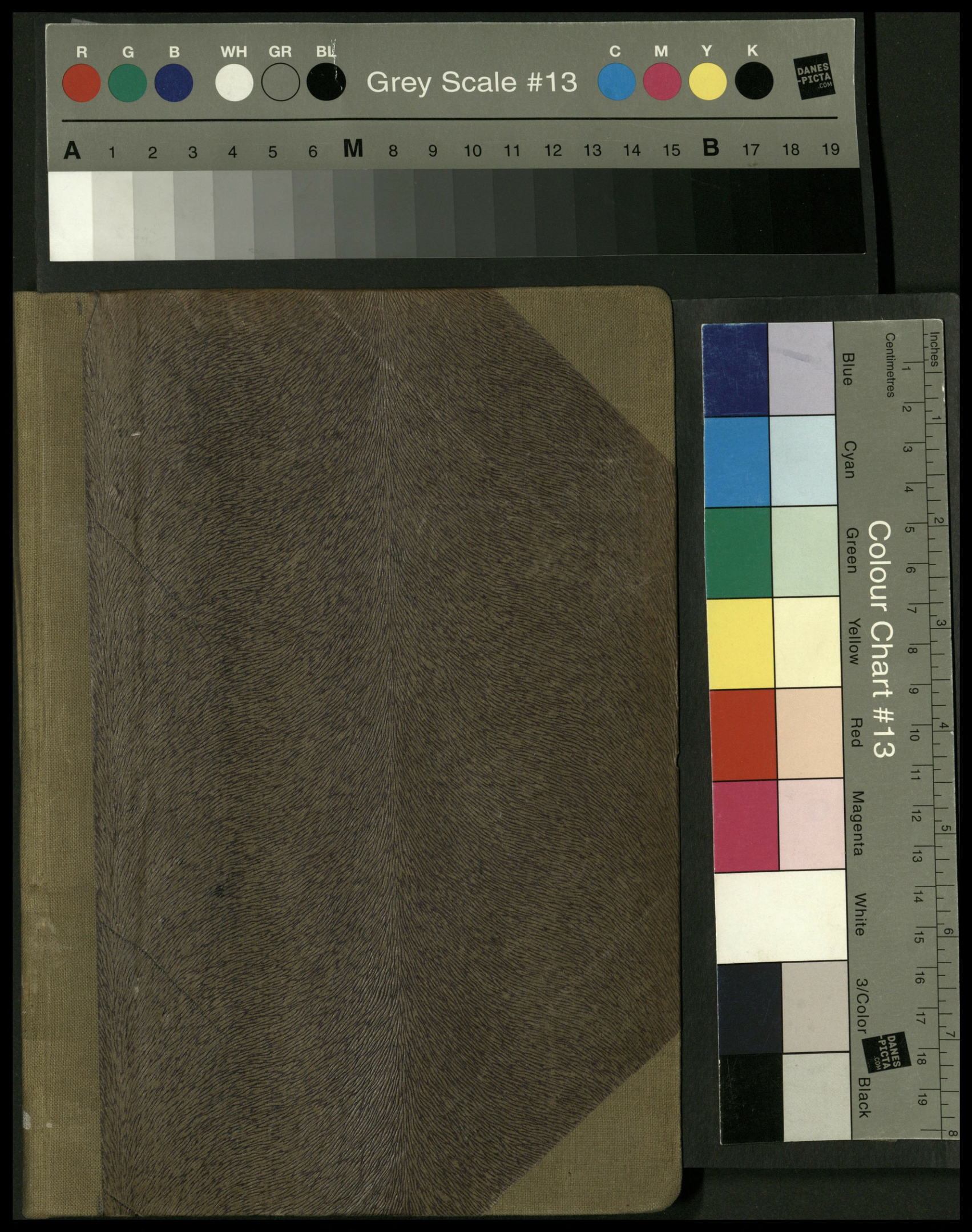

R G B WH GR BL
Grey Scale #13
C M Y K
DANES PICTA .COM
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19
Colour Chart #13
Blue
Cyan
Green
Yellow
Red
Magenta
White
3/Color
Black
Inches
Centimetres
DANES PICTA .COM

3M L3
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
przy K.C. P.Z.P.R.
BIBLIOTEKA
4884
9(3)
K 30
P
301.M
9(3)
9(43)

Карл Каутский.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ НОВЕЙШЕГО СОЦИАЛИЗМА.

ТОМ ПЕРВЫЙ.

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА.

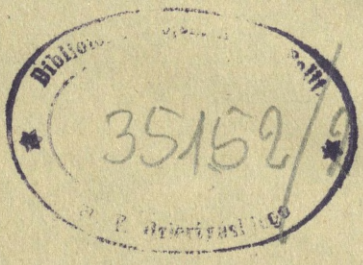
Перевод и предисловие И. СТЕПАНОВА.

2-е издание, переработанное по третьему немецкому изданию.

№ 2466
Gabinet Partyjny
Centralnej Szkoły P P R

Отдел Печати Московского Совета Р. и К. Д.
МОСКВА.
1919.

14



10-ая Государственная Типография.

От переводчика.

Для переводчиков с этой работой (вторая половина ее, представляющая теперь второй том книги Каутского, переведена В. Базаровым), связаны особые воспоминания.

Прежде всего, именно этой работой началась их переводческая деятельность, которая за 18 лет, прошедших с того времени, охватила длинный ряд работ и авторов.

Но дальше первый же перевод был не просто переводом, а и удавшейся попыткой обхода тогдашней тупо-свирепой и тупо-усердной цензуры.

Мне посчастливилось: немецкое издание книги, часть которой составляла тогда работа Каутского, я провез в Россию уже в 1899 году, через несколько месяцев по ее выходе. Мне и ближайшим товарищам сразу стало ясно, какой зияющий пробел в чрезвычайно бедной тогда русской марксистской литературе восполнила бы эта книга, если бы удалось издать ее перевод. Но мысль о цензуре на первое время заставляла считать все подобные планы несбыточными мечтаниями. С другой стороны, трудно было расчитывать найти издателей, которые пошли бы на столь серьезный риск: книга должна была составить около 35 печатных листов.

Ворочая и переворачивая книгу, примериваясь и прицеливаясь к ней, мы в конце-концов пришли к убеждению, что попытка ее издания на русском языке была бы, пожалуй, не совсем безнадежной. Еще с того времени, как я довольно удачно „процензуровал“ первое издание „Краткого курса экономической науки“ А. Богданова, за мной укоренилась репутация человека, у которого есть нюх по этой части.

Я, действительно, думаю, что у меня был этот нюх, и что я сохранил его и в позднейшие годы.

Дело об'ясняется просто. Наблюдая, как и с какими результатами работает цензура, я пришел к убеждению, что цензоры, в общем, много и много глупее, а читатели значительно умнее, чем их представляют. Все последующее показало мне, что это убеждение очень полезно, если руководиться им в практической деятельности.

Цензор редко вчитывается в мысли, его внимание больше останавливается на словах. Судя прежде всего по внешним признакам, цензор, вероятно, мигом и без всяких колебаний „зарезал бы" книгу, если бы автором ее значился Каутский: как ни медленно „натаскивались" против молодого в то время марксизма цензоры (и вполне родственные им по духу и умственному уровню жандармы), к имени Каутского они стали относиться с большой подозрительностью.

Но уже и думать нечего было о том, чтобы сохранить название книги: „Предшественники новейшего социализма". Цензорские гонения на слово „социализм" были наиболее свирепые. Они вытекали отчасти из воспоминаний о героическом периоде „Народной Воли", когда члены этой организации были известны широким массам не под именем террористов или народовольцев, а чаще и больше всего — под именем социалистов. До чего тупа была в этом отношении цензура, показывает, напр., такой факт: умеренно-либеральный журнал „Русская Мысль" претерпел цензурную кару будто бы за сочувствие социализму, выразившееся в одной статье умеренно-либерального В. А. Гольцева, который в этой статье, в действительности, как раз *критиковал* социалистические воззрения (притом воззрения, лишь по недоразумению признанные им за социалистические).

Тяжело было итти на замаскирование книги,—тяжело и потому, что благодаря этому читатели все же лишь сравнительно медленно должны были разобраться, что это за книга. Однако, вопрос был ясен: есть вероятность, что в замаскированном виде работа сделается доступной для читателей, — и нет никакой вероятности, что ее пропустят в ее подлинном виде. Исходя из таких соображений, мы назвали книгу

так: „*Общественные движения в средние века и в эпоху Реформации. Составлено по Лозерту, Келлеру, Циммерману, Каутскому и др. Под редакцией В. Базарова и П. Степанова*". Действительный автор работы, Каутский, отодвинут заглавием на последний план,—упомянут после некоторых из использованных им авторов. Переводчики выступили в роли редакторов книги, неизвестно кем составленной.

Но нельзя было ограничиваться изменением внешнего вида, приходилось итти дальше. Само собой разумеется, почти все сопоставления с классовой борьбой современного пролетариата пришлось отбросить или по меньшей мере обесцветить. Рискованно было говорить о *коммунизме, коммунистических* движениях, хотя бы дело шло о средних веках и эпохе Реформации. Правда, в переработке сохранились очень ясные следы сопоставлений с современной классовой борьбой и положительного отношения к пролетарским движениям. Но *коммунизм* был заменен *общностью имуществ, коммунизм потребления – общностью потребления* и т. д.

Однако нельзя было ограничиться такими более или менее словесными переделками. Пришлось пойти еще дальше. Наибольшие цензурные трудности представляли те отделы работы, в которых первоначальное христианство характеризуется, как движение *паразитически*-пролетарских элементов Римской империи, и где первоначальное христианство сопоставляется с позднейшими коммунистическими движениями, в которых определяющую роль начали играть уже собственно пролетарские элементы. Теперешний первый том был в особенности труден в этом отношении.

Здесь пришлось руководиться соображениями двоякого рода.

Первое впечатление во многих случаях—решающее. Оно вообще, изглаживается нелегко. Значит, начало книги следовало обработать так, чтобы эта в высокой степени популярная работа оставляла впечатление чрезвычайно солидной, почти профессорской работы,—следовательно, известная тяжеловесность здесь нисколько не повредила бы. Ведь кастовая ученость, возникшая в классовом обществе, искусственно отстаивая свою обособленность, неповоротливость и даже

полное отсутствие мысли часто выдавала за действительную ученость. С этим заданием удалось справиться более или менее успешно.

Второе соображение было такое: везде, где Каутский развивает положения, недопустимые с цензорской точки зрения, будет полезно отыскать эти положения у авторов, уже разрешенных цензурой, или по меньшей мере скрепить эти положения цитатами из таких авторов. К счастью, в то время в русской литературе уже имелись некоторые книги, соответствующие этой задаче: работы Роджерса, Эшли, Ревилля и т. д. Ими пришлось воспользоваться в такой мере, что некоторые страницы выпускаемого теперь первого тома были как бы заново составлены переводчиком.

В еще большей мере этот прием был применен мною годом позже, когда я „пересоставил" таким же способом большую работу К. Гуго (Линдемана): „Социализм во Франции XVII и XVIII века". Здесь ссылки Гуго во многих местах заменены ссылками на русских авторов: Кареева, Ковалевского, Гольцева, Афанасьева, Лучицкого. Кстати сказать: эта работа навсегда оставила во мне особое отношение к „двух-этажным" сочинениям, в которых каждое положение текста, как бы оно ничтожно ни было, старательно скрепляется, многочисленными цитатами в примечаниях и еще более многочисленными ссылками. Тайна этих ссылок— вовсе не в начитанности автора, а в особой „технике" и, пожалуй, в находчивости, в ловкости. Выполнив маленькую работу „со ссылками на источники", я быстро убедился, что мог бы скрепить удручающими по учености примечаниями всякую работу даже по предмету, которого почти совершенно не знаю. Я проник в одну из тайн буржуазной науки и навсегда отказался от использования этой тайны.

Возвращаюсь к переиздаваемой книге.

Нам посчастливилось разыскать издателя-кустаря. Это был скончавшийся в 1917 году В. А. Немчинов, у которого в описываемое время были довольно тесные связи с марксистскими кругами. Это был идейный издатель. Его, как и переводчиков, удручала мысль, что Каутский появляется все же в переделанном виде. Но делать было нечего.

Книга все же чуть-чуть не засела в цензуре. Но велико же было наше торжество, когда в начале марта 1901 года ее удалось выцарапать.

Она разошлась быстро и быстро сделалась необходимой составной частью в библиотеке каждого русского марксиста, в значительной степени проникла и в рабочие круги. Разные обстоятельства мешали приступить к ее переизданию. С одной стороны, переводчики были отвлечены другими работами: им удалось при помощи сходных приемов ввести в русскую литературу уже упомянутую работу Гуго-Линдемана и, что доставило им величайшее торжество, книгу Блоса: „Германская революция“ (мы ее выпустили под названием: „Очерки по истории Германии в XIX веке. Том I. Происхождение современной Германии“). Первые главы книги Блоса были в значительной степени составлены вновь, отчасти написаны новые главы об экономическом строе пред-революционной Германии. Переработка была такого рода, что я и теперь без всяких колебаний высказался бы за переиздание ее, а не собственно перевода. Эта и многие другие работы отвлекали время и силы. Но главное заключалось в том, что мне стало казаться, будто Каутский в соответствии с цензурными условиями начала XIX века был изменен слишком сильно, и его придется переводить почти заново.

Только недавно, развернув наше первое издание, я убедился, что мы отнеслись к Каутскому с величайшею бережностью: мы дали читателям действительного Каутского, и все положения Каутского сохранились и не подверглись никаким искажениям в нашем подцензурном издании.

Это впечатление еще больше усилилось, когда я начал подготовлять работу Каутского ко второму изданию. Я убедился, что в своих переделках мы нигде не шли дальше безусловно необходимого, и что даже в случаях наиболее существенных переделок не было уклонений от мыслей Каутского, и только встречаются неизбежные уклонения от способа его выражений.

Едва ли есть необходимость говорить о самой работе Каутского. Она до сих пор представляет почти такое же необходимое восполнение громадного пробела в русской

исторической литературе, в особенности в литературе научного социализма, каким была при появлении ее первого русского перевода, 18 лет тому назад.

В написанной более 20 лет тому назад книге Каутский таков, каким он должен был сделаться — преемником Энгельса, идейным вождем второго Интернационала. Книга его проникнута революционным духом тех революционных эпох, которые он исследует. Свою коммунистическую окраску эти эпохи получили от выступавшего в первых боевых рядах пролетариата того времени, от предпролетариата, как предпочитал называть его Энгельс. И, если даже во всех неудавшихся революциях всегда было нечто пророческое; если даже разбитые революции предвосхищали, предуказывали формы, объект, отчасти общие условия борьбы в позднейшие эпохи, на более высокой ступени экономического развития, то в усиленной степени это относится и к коммунистическим движениям средних веков и эпохи Реформации. Если пролетариат того времени был „предпролетариатом", то его революции были „предреволюциями" пролетариата.

Каутский повсюду обнаруживает глубокое сочувственное понимание коммунистических движений далекого прошлого; для этого прошлого — он не просто с Томасом Мюнцером, и не только против всех буржуазных фальсификаторов истории: он сам проникается бурным духом Мюнцера. Он — решительный *коммунист* по отношению к прошлому, он признает, что пролетарский коммунизм вообще с естественной необходимостью должен быть „политическим" и „бунтовщическим" коммунизмом. Он признает, что, *„подобно современной социал-демократии, средневековый пролетарский коммунизм ставил своей целью диктатуру пролетариата, как наиболее действительный рычаг для осуществления коммунистического общества"* (см. самый конец главы первой в отделе втором). Он курсивом печатает эти энергичные слова, которые приобретают еще более недвусмысленное значение благодаря своему соседству с „естественной необходимостью" „бунтовщического" характера собственно пролетарского коммунизма.

Теперь этот Каутский умер. Поставленный перед современной пролетарско-коммунистической революцией, он оказался в лагере не преемников Дольчино и Томаса Мюнцера, а их противников, — или, по меньшей мере, пособников этих противников. Если бы он выпускал третье издание своей книги не в 1913 году, а теперь, то он, конечно, или решительно переработал бы ее, — или же снабдил бы новым предисловием, из которого следовало бы, что его неправильно истолковали, что революционные слова следует понимать в мирно-реформистском значении, что пролетарская диктатура получит наиболее совершенное осуществление при том условии, если пролетариат, достигнув большинства в каком-нибудь учредительном собрании, все свои силы и всю изобретательность направит прежде всего на то, чтобы старательно оградить „права меньшинства", т.-е. по возможности обезопасить буржуазию от решительно коммунистических мер.

Нового немецкого издания книги после 1913 года не появлялось. А тот Каутский, каким он был двадцать лет тому назад и в повторных изданиях книги, останется вечной укоризной для теперешнего Каутского. Начав борьбу с современным коммунизмом, Каутский должен будет вытравить многое из своего прошлого.

И. Степанов.

Январь 1919 года.

Предисловие автора.

Второе издание этой книги является в новом облачении. Она составляет уже не первую часть коллективной работы, а самостоятельное произведение [1]). Это не заставило меня изменить что-либо в содержании, которое в существенных частях осталось прежнее. Изменил я только название. Вместо „*Die* Vorläufer des neureren Sozialismus“ книга называется теперь просто „Vorläufer“ и т. д. [2]).

Как ни мало важно это изменение, оно представляется мне уместным, потому что название и содержание в первом издании не вполне совпадали. Несовпадение вызвано тем обстоятельством, что книга, когда я остановился на ее теме и приступил к ее разработке, не предназначалась для того издания, в котором она появилась, для общей истории социализма, введением к которой она послужила.

Задолго до того времени, как был составлен план „Истории социализма в монографиях“, я уже работал над предлагаемой книгой и подготовил ее главные части. Уже почти четверть века тому назад я приступил к изучению материа-

[1]) Первоначально работа Каутского составляла первую часть в «Geschichte des Sozialismus in Einzeldar stellungen» („История социализма в монографиях“). План издания был очень широкий. К сотрудничеству в нем предполагалось привлечь социалистов из разных стран. Но в действительности был издан только большой том первый, в который вошли работы Каутского, Лафарга, Бернштейна и Гуго (Линдемана) и „История германской социал-демократии“ Меринга, которая по общему плану включалась тогда в ту же серию. Дальше дело не пошло. *И. С.*

[2]) Т.-е. не «Предшественники», а «*Некоторые* предшественники новейшего социализма» *И. С.*

лов к этой книге. В то время я увидал, что великое дело, совершонное марксизмом для классовой борьбы пролетариата, заключается в соединении утопического социализма с рабочим движением, чего Энгельс требовал уже в 1845 году, в своем „Положении рабочего класса в Англии". Эту мысль я развил в серии своих статей о „Нищете философии и Капитале", в „Neue Zeit" 1886 года. Противоположность утопического социализма от Оуэна до Вейтлинга и рабочего движения выступала в их время с полною ясностью. Мне представлялось заманчивым рассмотреть, нет ли возможности проследить эту противоположность для прежних столетий, и установить, какие формы она принимала в то время. Особенно благоприятной в этом отношении представлялась мне эпоха Реформации, когда с полной непосредственностью и свежестью заявили о себе многие противоречия, подавленные позднейшим абсолютизмом и вновь выступившие в великой политической борьбе в Англии только в половине XVII, во Франции даже лишь в конце XVIII и в Германии—в XIX веке. Мне казалось, что *Томас Мюнцер* и *Томас Мор* представляли указанную противоположность в эпоху Реформации наиболее совершенным образом.

И, действительно, я, как оказалось, не ошибался на этот счет; но я сильно ошибался, когда предполагал, что могу с достаточной полнотой на немногих листах представить все своеобразие этих людей и место, занимаемое ими в истории социализма. Работа быстро разросталась по мере того, как я выполнял ее.

Проще всего было дело с Томасом Мором, о котором я в 1887 году издал свою монографию. Мор был литературно высоко образованный человек, оставивший многочисленные работы, превосходно характеризующие его существо. Он пользовался большим уважением людей, принимавших участие в литературе того времени, они часто и охотно писали о нем и его работах. Он действовал, как выдающийся политик, и умер, как мученик католической церкви. Благодаря этому его политическая деятельность тоже описывалась часто и любовно. Наконец, его литературные стремления, равно как и политическая деятельность, в которой он принимал участие,

относились к тем высоким сферам, которые заставляют говорить о себе, и о которых мы хорошо осведомлены.

Много большие затруднения встретили меня, когда я обратился к Мюнцеру. Человек, получивший не гуманистическое, а богословское образование, он оставил всего несколько летучих листков, в которых реальное ядро лишь с трудом можно извлечь из окружающей его толстой скорлупы мистицизма. Его приверженцами и друзьями были, главным образом, невежественные пролетарии; литературно же подготовленные люди, писавшие о нем, относились к нему, как ожесточеннейшие враги. Движение, вместе с которым он пал, должно было оставаться тайным. Этим следует объяснить, что дошедшие до нас сообщения о его деятельности и стремлениях не только проникнуты ненавистью к нему, но часто отличаются и большой неопределенностью.

Тем важнее было, не полагаясь на одни только источники, для освещения его стремлений обратиться к раскрытию закономерности в том движении, в котором он действовал,— использовать этот прием в еще большей мере, чем этого с самого начала требует применяемый мною материалистический метод.

Так как метода моих исторических работ часто не понимают, и так как мои критики любят упрекать меня в „конструировании“ истории из ничего, то следует кратко характеризовать этот метод.

Исходный пункт истории—всегда история индивидуумов. То, что мы называем обществом, представляет только совокупность отношений отдельных людей, условиями жизни которых требуется их совместная деятельность, деятельность одних для других или даже одних против других. История прекращается там, где прекращаются сведения о деятельности отдельных лиц. Материалистическое понимание истории отличается от традиционных воззрений на историю не тем, что оно абстрагируется от личности в истории, а тем, что оно не останавливается на отдельных выдающихся личностях, которые только и живут в историческом предании, и которые кажутся единственными носителями исторического процесса. В действительности последний—продукт *всех* личностей, принимающих

в нем участие, и даже наиболее мощный отдельный индивидуум не может оказать такого сильного влияния, как совокупность массы. Чтобы понять историческое развитие, мы прежде всего должны познать, что приводит в движение эту массу.

Но писатели, которые служат источником для нас и дают нам исторический материал, мало помышляют о массе. Они больше всего останавливаются на отдельных индивидуумах, оказавших особенное влияние на массу. Поэтому и мы, историки-материалисты, исследуя прошлое, часто должны брать за исходную точку выдающиеся личности,—идет ли речь о Лессинге и Фридрихе II, о людях великой революции или о социалистах эпохи Реформации. Но в таких случаях отдельный индивидуум для нас—только исходный пункт исследования. Мы не можем видеть в массе просто совокупность многочисленных нулей, которые только цифрой перед ними превращаются в число,—мы не можем познать действия массы из действий ведущего ее индивидуума. Вождь—только один и не самый значительный из тех факторов, которые приводят массу в движение и определяют ее деятельность, да и сам он в большой степени получает силу и задачи от массы, без нее не может быть понят.

Итак, если мы имеем перед собой историческую личность, и должны описать и понять ее, то нам необходимо прежде всего исследовать, какие черты у нее общие с общественными явлениями ее времени и народа, и какие черты составляют то, что оригинально для данной личности. После того, как это установлено, необходимо исследовать, в какой мере оригинальное в личности определилось воздействовавшими на нее особенностями окружающего мира и ее жизненного пути. Когда это удалось выяснить, от индивидуума получится тот остаток, который следует объяснять только его личными, прирожденными дарованиями. Здесь историк должен остановиться. Для художника и естествоиспытателя именно с этим остатком связаны проблемы, в особенности привлекающие их внимание, но они не имеют никакого значения для познания закономерности исторического развития.

Когда мы достигли всего этого, мы еще далеко не покончили с нашей задачей. Только теперь начинается самая трудная ее часть.

Разграничив в рассматриваемой личности индивидуальное и общественное, мы должны приступить к выяснению последней стороны. В том общественном движении, в котором личность приобрела историческое значение в качестве его представителя и передового борца, мы тоже должны постараться отделить особенное от общего. Мы должны сравнить рассматриваемое движение со многими другими родственными движениями и, таким образом раскрыть, что отличает первое от остальных, и что в них во всех общее.

После того, как это сделано, перед нами остается еще самая великая и трудная задача. Каждое отдельное из этих движений мы должны связать с совокупным общественным процессом в данное время и у данной нации, а этот процесс в последнем счете обусловливается экономическим процессом. Мы должны исследовать с одной стороны, в какой мере историческое своеобразие отдельного движения объясняется своеобразием общества и экономики в данную эпоху; а с другой стороны,—насколько общее в различных движениях обусловливается факторами, общими для различных общественных форм и различных способов производства.

Если нам удалось это, мы можем сказать, что, беря за исходную точку историческую личность, мы сумели притти к освещению законов исторического развития. Обладая этими законами, мы потом будем в состоянии осветить в истории отдельных личностей и движений многое такое, что теперь является темным.

Наши исторические источники недостаточны для того, чтобы познакомить нас со всеми событиями, важными для уразумения прошлого. Многие сообщения потеряны, другие говорят на основании слухов и, в связи с этим, ложны или же недостаточны. О многом источники не сообщают, так как они не приписывали этому значения: только в позднейшее время сделалось ясным, что это незначительное было зародышем колоссально важного. С другой стороны, источники не сообщают о таком, что в их время представлялось

Biblioteka Wojsk. Akad. Polit. im. F. Dzierżyńskiego

самоочевидным. Но это самое в настоящее время сделалось для нас чуждым и непонятным.

Самая старательная и острая критика источников может выяснить лишь то, о чем в достаточной мере сообщают источники: она не в состоянии восполнить пробелы в материалах. Всякий историк открывает такие пробелы, его задача—восполнить их по своему разумению. Но прочную почву под ногами он почувствует только в том случае, если будет исходить из познания исторических законов. Как палеонтология, пользуясь отдельными сохранившимися костями, может воссоздавать все тело вымерших животных, так и история должна достигнуть того, чтобы по отдельным намекам и указаниям воссоздавать все общественные учреждения. Конечно, все это—только конструкции построения, но не построения из ничего. Конечно, при этом возможны ошибки; но это—единственный путь для того, чтобы воссоздать исторический процесс в целом, от которого источники сообщают нам только обрывки.

При том указанный метод дает результаты, которые много достовернее, чем результаты старинной историографии. Ей тоже приходится воссоздавать,—но она старается воссоздавать не общественные учреждения, а душевную жизнь отдельных личностей: дело, которое ни при каких обстоятельствах не может дать надежных результатов. Нет ничего более неустойчивого, мимолетного, неуловимого, сложного, чем душевная жизнь человека. Ни один человек вполне не знает самого себя,—тем менее знают его другие. И вдруг хотят изобразить душевную жизнь индивидуума, которого никогда не встречали, который рожден далеким прошлым с совершенно иным складом душевной жизни, о котором сохранились лишь скудные сообщения, искаженные партийной ненавистью и партийным благоволением! Если где и существуют фантастические построения, так именно в области подобных описаний великих людей. Конечно, в исторических изображениях мы вынуждены брать на исходную точку выдающихся индивидуумов. Но историография, ограничивающаяся этим и не стремящаяся поставить колеблющиеся характеристики, как они даны нам преданием, на солидную опору

общественного фундамента,—такая историография не только ничего не даст для выяснения исторической закономерности, но всегда будет давать лишь продукты, сомнительные со стороны правильности.

Конечно, все это имеет значение только для историков, которые исходят из признания закономерности человеческих действий. Но кто смело верит в свободу человеческой воли, тот с самого начала должен отказаться от такого исторического метода, — впрочем он вообще уже не должен говорить о *науке* истории. Она может быть для него более или менее возвышающим *искусством*, при чем, *правильность* становится менее важной, чем нравственное воздействие, *назидание*.

Руководимый очерченным здесь материалистическим методом, я, приступив к изучению деятельности Мюнцера, скоро должен был пойти еще дальше. Мне пришлось с одной стороны перейти к перекрещенцам, а с другой стороны обратиться к коммунистическим сектам средних веков, возвратиться даже к первоначально-христианскому коммунизму с той целью, чтобы выяснить, что именно составляло специфическую особенность Мюнцера, и что у Мюнцера общее со всем коммунистическим движением его времени, равно как, что именно представляло специфическую особенность этого движения, и в чем оно согласуется с родственными движениями; наконец, надо было выяснить то экономическое и политическое положение, при котором возникли указанные движения. Мюнцер остался в центре работы, но она разрослась много дальше Мюнцера.

Я был уже близок к окончанию работы, когда мой издатель и друг, Диц составил план истории социализма в монографиях („Geschichte des Sozialismus in Einzeldarstellungen") и предложил мне издать мою работу в качестве первого тома этого коллективного труда. Я охотно согласился на это, потому что считал необходимым содействовать начинанию, отвечавшему настоятельной потребности. В качестве введения к следующим томам, которые должны были бы трактовать новейший социализм, я дал этому тому название: „Предшественники новейшего социализма".

Карл Каутский

Wyższa Szkoła [illegible] Społeczno-[illegible]
przy K.C. P.Z.P.R.
[illegible]

2466
Gal[illegible]st Partyjny
Centralnej Szkoły P.Z.P.R.

Но этому названию не совсем соответствовало содержание. Некоторые критики справедливо указывали, что моя книга охватывает не все явления, подлежащие рассмотрению в качестве предшественников новейшего социализма, и что она неравномерно трактует и те явления, которые рассматриваются ею; первоначальные ступени обрисованы отрывочно, напротив, изложение, касающееся Мюнцера и перекрещенцев—самое обстоятельное.

К сожалению, не удалось довести до полного осуществления план истории социализма в монографиях. От него пришлось отказаться. Поэтому второе издание моей книги является в виде самостоятельной работы, и я пользуюсь этим случаем, чтобы изменить название в уже упомянутом направлении и таким образом более согласовать его с содержанием. Мне не хотелось слишком уж сильно отступать от названия первого издания,—иначе я назвал бы книгу „Коммунисты германской Реформации и их предшественники".

Было бы уже невозможно выпустить книгу под заглавием, которое она должна была иметь согласно первоначальным предположениям: *Томас Мюнцер*, в противоположность *Томасу Мору*. В ходе моих исследований Томас Мюнцер слишком сильно отступил на задний план и превратился в простой эпизод. Однако, и из других частных явлений ни одно не выдвигается настолько, чтобы им определялся общий характер книги.

Но в книге имеется свой кульминационный пункт: *борьба перекрещенцев в Мюнстере*. Здесь я даю больше, чем в остальных частях. Оставляя в стороне роль горнорабочих в крестьянской войне, все частности, которые я привожу в предыдущих отделах книги,—почти все они признаны и в значительной степени широко известны. Ново только, что у меня они рассматриваются не обособленно, а как части в общем процессе пролетарского движения.

Напротив, я должен был совершенно заново изучить по источникам борьбу перекрещенцев в Мюнстере. Существовавшие до сих пор описания этой борьбы или бессмысленны или же прямо представляют злостные искажения. *Мирные*

перекрещенцы уже нашли своих адвокатов среди буржуазных историков; не то с *воинственными, боровшимися* перекрещенцами. Буржуазные историки очень заняты тем, чтобы обелить какого-нибудь Тиверия или Лукрецию Борджиа; но в то же время они до сих пор не только без всякой критики усваивают самые глупые выдумки о мюнстерских перекрещенцах, но снова и снова с величайшим нравственным пафосом бросают эти клеветнические выдумки в мир. Эти действия оставались бы необъяснимыми, если только не предположить, будто, как воображают господа историки, всякий удар, который они наносят неустрашимым героям 1534 и 1535 года, попадает и по передовым борцам современной классовой пролетарской борьбы.

Это—своеобразная иллюстрация фразы о науке, чуждой предвзятости.

Я до сих пор не видал опровержения того, что сказано у меня о перекрещенцах. Ни здесь, ни в предыдущих отделах у меня не было оснований вносить какие-либо существенные изменения.

Напротив, мне представлялось бы в высшей степени желательным расширить работу. Но для этого у меня не было времени, мне пришлось ограничиться расширением моих вводных замечаний о первоначально-христианском коммунизме в особую работу о возникновении христианства („Ursprung des Christentums“. В свое время эта книга вышла в рус. переводе Д. Рязанова, местами урезанном вследствие цензурных условий того времени. Теперь т. Рязанов подготовил к печати полный перевод. *И. С.*). Она появилась в виде самостоятельной книги, однако, она самым тесным образом связана с предлагаемой работой; те связи закономерности, которые раскрыты мною в последней работе, послужили мне путеводной звездою и в первой. Обе работы опираются одна на другую. Кто намерен подвергнуть критике одну работу, тот должен будет остановиться и на другой.

Мне пришлось отказаться от расширения других отделов предлагаемой работы. Новое издание уже давно требовалось, и мне пришлось бы отсрочить его до бесконечности, если бы я стал дожидаться, когда найдется необходимое

время для того, чтобы некоторые части изложить подробнее и использовать дальнейший материал для сопоставлений.

Как ни полезно, ни необходимо проследить в прошлом корни пролетарской классовой борьбы, это не должно причинять ущерба участию в современной классовой борьбе. Теория не должна оставаться для нас мертвым грузом, она должна оплодотворять нашу практику. Наука для нас не самоцель, а средство к цели, правда, средство к целям не *партии*, и даже *не нации*, а средство к развитию всего *человечества*. Всякая наука должна служить этой великой практической цели. Она, как говорил уже Маркс, должна не просто „истолковывать мир, но и изменять его", - изменять в направлении „нового, *человеческого* общества или обобществленного *человечества*". В этом смысле марксистов можно было бы назвать тоже *гуманистами*.

Карл Каутский.

Берлин, апрель 1909 года.

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ.

Основы коммунизма в Средние века и в эпоху Реформации.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Платоновский и первоначальный христианский коммунизм

1. Платон и его время

Одна из наиболее выдающихся особенностей современного способа производства, основанного на применении естествознания и машин, а вместе с тем и особенностей современного общества заключается в его неустанном порывании к новым изобретениям и открытиям. Так как оно охвачено процессом постоянных переворотов, то достигнутое сегодня-завтра представляется уже превзойденным, „устарелым", все старое—непригодным, плохим: приемлемо для него только самоновейшее, да и то не на долгое время, а лишь впредь до того более хорошего, что появится завтра.

В ином положении были прежние способы производства. Они развивались лишь с большой медленностью; и в особенности сельское хозяйство, основа прежней экономики: оно часто столетиями, даже тысячелетиями оставалось все при одних и тех же методах. Старое было для того времени испытанным, оправданным в применении, заслуживающим почтения. Новшество — легкомысленное дерзновение, которое вызывает самые тягостные сомнения. Конечно, так было прежде всего по отношению к производству, а здесь в особенности по отношению к земледельческому производству. Но такими же воззрениями было проникнуто все общество, вместе с его искусством, наукой и политикой.

В настоящее время будет особой похвалой для художественного произведения, для теории, для партийной груп-

пировки, если о них можно сказать, что они вступают на совершенно новые, до того времени неизведанные пути. Напротив, раньше всякий искал таких предшественников для своих стремлений, на пример которых он мог бы ссылаться. Пусть его деятельность всецело обусловливалась особенными, совершенно новыми условиями: важнее всяких ссылок на эти условия представлялось, если можно было опереться на признанный авторитет прежнего времени.

Все это относится также к перекрещенцам и другим социалистам эпохи Реформации. Они видели в себе не смелых новаторов, а людей, воскрешавших старое *первоначальное христианство*, насчитывавшее за собою много веков и известное им по „Деяниям апостолов". Кроме того, они в некоторых случаях ссылались и на авторитет еще более древнего *Платона*.

Это было для них тем проще, что способ производства, при котором они существовали, не так-то уж отличался от способа производства, достигнутого эллинско-римским миром в эпоху расцвета последнего. Земледелие, ремесло, торговля обоих эпох имели много общего между собою. С той высоты, до которой поднялся древний мир в период между Платоном и зарождением христианства, он постепенно стал падать и в эпоху переселения народов почти целиком впал в варварство, из которого европейское общество поднималось потом лишь с большой медленностью. Только в эпоху Реформации оно опять возвысилось до прежнего уровня и оказалось способным пойти дальше.

Конечно, не следует представлять себе дело таким образом, как будто отношения в пятнадцатом и шестнадцатом веках являлись простым повторением отношений, существовавших в Афинах Перикла и в Римской империи. Между обоими эпохами имеется прежде всего то глубокое различие, что в древности существовало рабство, которое с эпохи переселения народов все больше исчезало в Европе. Рабство же повсюду тормозит развитие производительных сил, заводит общество в тупик, из которого оно уже не может выбраться. Поэтому древний мир кончил всеобщим обнищанием и совершенным упадком искусств и наук. Напро-

тив, эпоха Реформации, это—эпоха мощного экономического под'ема, эпоха, когда закладывалось основание для современного гигантского капитализма.

Но в пятнадцатом и шестнадцатом столетиях это развитие едва начиналось. Великие культурные народы древности все еще представлялись учителями нового времени во всех областях искусств, наук, политики и социальной жизни: все еще оставалось несокрушимым влияние христианства, господствовавшее над всей умственной жизнью в несравненно большей мере, чем влияние философов и поэтов Греции и Рима. Коммунисты того времени просто следовали всеобщему обыкновению, когда они в христианских и языческих сочинениях прежнего времени разыскивали авторитеты, на которых они могли бы опереться для обоснования своих требований. Не Платон, не первоначальное христианство породили эти требования средних веков и эпохи Реформации. Они вытекали из социальных потребностей своего времени. Но коммунисты средних веков—в первоначальном христианстве, коммунисты Реформации—кроме того и в Платоне нашли сильную поддержку, на которую они опирались, которая повышала их уверенность, а во многих случаях облегчала для них поиски за доказательствами и формулировку требований.

Следовательно, для полного уразумения коммунистических сект средневековья и эпохи Реформации необходимо обратиться к платоновскому и христианскому коммунизму.

Только эти два вида коммунизма древности и могут интересовать нас в данной связи, потому что только они оказали литературное воздействие на коммунистов эпохи Реформации. Но это отнюдь не были единственные формы коммунизма того времени.

Нет ничего ошибочнее взгляда, будто коммунизм противоречит существу человека, человеческой природе. Напротив, человек—общественное существо, и легко втягивается в коммунизм, если только производственные отношения делают последний до некоторой степени возможным. Едва ли существовала эпоха, когда не было бы тех или иных форм коммунизма или хотя бы стремлений к нему. У коры-

бели человечества стоял коммунизм, и еще до нашего времени он оставался общественным устоем для большинства народов земного шара.

Далекий от несовместимости с законом борьбы за существование, коммунизм представлял, напротив, важнейшее оружие человечества в этой борьбе. Только благодаря тесному соединению в большие или меньшие общества, безоружные, голые люди доисторических времен могли с успехом бороться среди первобытной природы против своих могучих врагов. Первобытный человек жил только в обществе и вместе с обществом, его личность еще не разорвала пуповины, связывающей ее с обществом. Сообща добывали первобытные люди средства существования: сообща охотились, сообща ловили рыбу; в общине протекала вся их жизнь; сообща защищали они свое общее жилище, свою общую землю.

Но все это изменилось вместе с прогрессом производства. Наряду с общей собственностью он породил частную собственность. Первоначально она охватывала только немногие предметы второстепенного значения, предназначенные для личного потребления и, притом, в большинстве случаев приготовленные тем самым лицом, которое ими пользовалось. Сюда относились украшения, оружие и т. п. вещи, которые в представлении первобытных людей настолько срослись с человеком, что нередко после смерти владельца их зарывали вместе с ним в могилу.

Но мало-по малу частная собственность расширяла свою область и свое значение.

Наряду с производством для *собственного потребления* начал развиваться *обмен* продуктов,—сначала между различными племенами, производившими различные вещи, а затем и между отдельными производителями. Так возникло *товарное производство*, т.-е. производство для *продажи*. В течение долгого времени оно существовало, правда, в такой форме, что всякое хозяйство производило в первую очередь для собственного потребления и продавало только избытки. В крестьянском хозяйстве так обстоит дело до настоящего времени. Такое товарное производство предполагает, что

производитель свободно располагает собственными средствами производства и продуктами своего труда,—что они являются его частной собственностью. Товарное производство возникает лишь с того времени, когда частная собственность достигла известного уровня. С другой стороны развитие товарного производства приводит к тому, что средства производства и продукты все больше превращаются в частную собственность. В конце-концов, последняя захватывает даже важнейшее средство производства, основу всякого бытия,—землю, наиболее долго остававшуюся в общинном владении.

Развитие городской промышленности и торговли уже с самого начала предполагает частную собственность на средства и продукты производства.

Но частная собственность не только расширяет свою *область*, она отбрасывает в то же время одно за другим все ограничения: последние становятся все более и более отяготительными по мере того, как развивается товарное обращение и новые способы производства, требующие частной собственности.

Собственность, связанная раньше только с определенной личностью, и потому уничтожавшаяся или переходившая в распоряжение всего общества по смерти владельца, теперь становится наследственной, передаваемой другим лицам.

Первобытное равенство исчезает, частная собственность становится общественной силой, общество распадается на собственников, которые господствуют, и неимущих, которые находятся в зависимости; приобретение частной собственности становится общественной необходимостью. Наконец, появление денег превращает приобретательство во всепоглощающую страсть.

Потребность в предметах потребления всегда ограничена. Пока богатство состоит только из предметов потребления, никто не требует их больше того, что необходимо для удобной, комфортабельной жизни. Напротивъ, никакая сумма денег не кажется человеку достаточной, ибо деньги, это—товар, который не портится и всегда годен к употреблению. Собирание сокровищ, накопление крупных состояний, да-

леко превышающих личные потребности, становится теперь жизненной задачей собственника. Отныне противоречие между богатством и бедностью может превзойти всякую меру и оно, действительно, становится чрезмерным везде, где существуют необходимые для этого условия.

Вместе с тем изменяются отношения людей друг к другу, все их мышление и бытие. Преданность общине, самопожертвование были некогда главными добродетелями человечества. Теперь они все более исчезают. Каждый видит своего ближнего только в самом себе. Общество распадается на классы, ожесточенно борющиеся между собою, классы распадаются на индивидуумов, из которых каждый преследует только свои личные выгоды, старается как можно менее дать обществу и как можно более взять у него. Все слабее становятся связи, соединявшие и спаивавшие общество и личность. Общество разлагается или становится добычей народа, отставшего в своем развитии, но сохранившего коммунистические добродетели и коммунистическую силу.

Такова история всех наций и государств древности.

Быть может, всего быстрее и нагляднее совершался этот процесс развития в *Афинах*. Со времени окончания *персидских войн* и до порабощения Греции Филиппом Македонским протекло едва полторы сотни лет (479—338 г. до Р. Х.). В начале этого периода классовые различия и классовые противоречия были сравнительно слабы (если оставить в стороне рабов, которые, ведь, не принадлежали к обществу). Конечно, уже тогда существовали привилегированные аристократы и бесправные слои народа, богатые и бедные; но эти противоречия еще не достигали такой интенсивности, чтобы заглушить общегосударственные интересы в свободной части населения. В течение же последней трети указанного периода в Аттике рядом с массою рабов имелись уже только богачи и нищие.

„В прежнее время“,—восклицает живший в то время оратор Демосфен в одной из своих судебных речей,—„все было иначе, чем теперь. В прежнее время все, принадлежавшее государству, блистало богатством и роскошью, среди граждан никто не выделялся по внешности. Еще теперь каждый

из вас может собственными глазами убедиться, что жилища Фемистокла, Мильтиада и всех других великих мужей прошлого ничуть не лучше и не заметнее, чем жилища их сограждан. Между тем, сооруженные в их время общественные здания и памятники по своему величию и великолепию останутся навсегда недосягаемыми образцами; я говорю о пропилеях, арсеналах, колоннадах, сооружениях в гавани Пирее и о других общественных постройках нашего города. А теперь не редкость государственные люди, живущие в домах более великолепных, чем многие общественные здания, скупившие в свою собственность такое количество земель, что если бы собрать во-едино поля, принадлежащие всем вам, собравшимся здесь в качестве судей [1]), то мы и тогда далеко не достигли бы размеров этих огромных поместий. Что же касается тех общественных зданий, которые возводятся в настоящее время, то они настолько незначительны и жалки, что о них стыдно и говорить".

Эти явления можно было наблюдать во всей Греции, но нигде не выступали они в такой резкой форме, как в Афинах. Афины, благодаря персидским войнам, стали самым могучим государством в Греции; они спасли греческую свободу от персидского ига только для того, чтобы наложить на греков свое собственное иго. Население почти всего побережья и островов Эгейского моря (а также многие береговые города и острова вне его) находились в зависимости от Афин и платили им дань. Рядом с рабским трудом и доходами от сильно развивавшейся торговли военная добыча и дань подчиненных государств были постоянным источником доходов для афинского населения. Богачи стали благодаря этому еще богаче, а все остальное свободное население также извлекавшее выгоду из огромных государственных доходов, отвыкло от труда, опустилось до уровня пролетариата паразитов, выродилось и обессилело. Но эти же самые причины делали Афины все более ненавистными для всей остальной Греции.

[1]) Суды в Афинах (дикастерии) были судами присяжных; каждое дело разбиралось *пятьюстами* судьями (гелиасты)

В конце-концов, дело дошло до отчаянной борьбы между Афинами, неизменно расширявшими область своего господства, и еще не подчиненными им государствами Пелопонесса со Спартою во главе. Эта война была не только войною против афинской гегемонии, она была войною аристократии против демократии. Афины были самым демократическим государством Греции, Спарта — самым аристократическим. Платежи, которыми были обложены подчиненные Афинам государства, главною своею тяжестью падали на аристократов; в первую голову подвергалась грабежу аристократия, а не народ. Да и в самых Афинах демос переложил, насколько возможно, всю тяжесть государственных повинностей на аристократов и богачей. Поэтому особенно сильную ненависть Афины возбуждали повсюду среди богатых и аристократов. В самих Афинах общественное разложение достигло таких размеров, противоречия между богатыми и бедными были настолько напряжены, что афинские богачи и аристократы заигрывали и конспирировали со Спартой, своим национальным врагом. Победа Спарты казалась им лучшим средством избавиться от народовластия.

Решительная война между Афинами и Спартой, так называемая Пелопонесская война, продолжалась почти 30 лет (431—404 г. до Р. Х.) и закончилась полным крушением афинского могущества. Власть Афин была ограничена пределами Аттики, а политически они попали в зависимость от Спарты. Место демократии заступило правительство послушных креатур Спарты.

Это положение требовало внимательного обсуждения, исследования причин расцвѣта и падения государств. Все обратились тогда к вопросу о лучшем государственном строе.

При таких-то исторических условиях вырос*тал Платон*.

Он родился в Афинах несколькими годами позже начала Пелопонесской войны, между 429 и 427 годами до Р. Х., и происходил из старинного аристократического рода. Он навсегда остался верен своему аристократическому происхождению и навсегда же сохранил отрицательное отношение к демократии. Вполне обезпеченный материально, он мог всю жизнь посвятить развитию своего духа и еще в ранней

юности начал заниматься поэзией и философией. Решительное влияние имело на него знакомство с Сократом, начавшееся, вероятно, на двадцатом году его жизни. С этого времени он всецело ушел в философию и сделался самым замечательным из учеников Сократа. Но он расширил круг идей, в котором вращался Сократ, самостоятельными занятиями и целым рядом путешествий, предпринятых им после смерти учителя и друга,—путешествий, ознакомивших его с Египтом, Киреной, Южной Италией и Сицилией.

Возвратившись домой, он публично выступил в Афинах как философ-учитель. Однако и впоследствии он дважды прерывал эту деятельность для того, чтобы предпринять довольно продолжительные путешествия в Сицилию.

Цель этих путешествий чрезвычайно поучительна, как характерный показатель упадка политической жизни во времена Платона. Платон разработал целую систему оригинальных политических принципов, о которых нам еще придется говорить; но ему и в голову не приходило попытаться осуществить свои убеждения и взгляды путем прямого участия в политической жизни своей страны.

Это, конечно, вовсе не значит, что Платон сам не придавал своим идеям о государстве и обществе практического значения, что он смотрел на них, как на простые фантазии.

В 368 г. умер Дионисий Старший, тиран (единодержец) Сиракузский. Сын его, Дионисий Младший, проделал в свое время кое-какие философские аллюры и слыл другом реформ,—как искони другом реформ обыкновенно считается вся кий наследный принц. Дион, друг Платона и зять Дионисия надеялся привлечь последнего к своим идеям, общим с Платоном, и сам Платон, питая эту надежду, отправился в Сиракузы, чтобы через тирана осуществить то, ради чего он и пальцем не шевельнул среди демократии: отправился для проведения в жизнь своих политических идеалов.

Само собою разумеется, ему пришлось испытать жестокое разочарование. Дионисий был очень доволен, когда философы устремлялись к дворцу и возвышали его блеск, но они не должны были мешать радостям, которые доставляли „вино, женщины и песня“, и если кто-либо из философов

становился неудобным для этого „философа на троне", то его без дальних околичностей выкидывали,—отправляли в изгнание. Когда Платон, несмотря на все это, несколько лет спустя предпринял вторую поездку к сиракузскому двору, он навлек на себя великий гнев тирана и был рад, что удалось спасти жизнь и отделаться сравнительно дешево.

Так кончилась политическая деятельность нашего философа. Что же касается его деятельности, как учителя, то он не прекращал ее до самой смерти, унесшей его на 81-м году жизни.

2. Книга о государстве.

Из сочинений Платона нас интересует здесь только „*Политейа*", *книга о государстве, первая дошедшая до нас систематическая философская защита коммунизма.* Она, как и вообще сочинения Платона, имеет форму диалога, в которой говорит и защищает идеи Платона, главным образом, Сократ.

Существенное содержание книги сводится к исследованию вопроса: какова лучшая форма государственного и общественного устройства?

Что существующие формы государства и общества плохи, это, по мнению Платона, не подлежит ни малейшему сомнению.

Частная собственность, говорит он, противоречие между богатством и бедностью, ведет к гибели государств. „Разве богатство и добродетель не стоят между собою в таком соотношении, как будто они лежат на чашках весов, так что, когда одна из них поднимается, другая должна опускаться?... Итак, если в каком-либо государстве почитаются богатство и богатые, то добродетель и добродетельные должны почитаться меньше... Но в таком случае государство не одно, а их по необходимости два: одно образуют бедные другое— богатые, и оба они ведут совместное существование злоумышляя (*ἐπιβουλεύοντες*) друг против друга [1])... В конце

[1]) Не Дизраэли, как мы видим, первый сказал о двух нациях, существующих в одном государстве: это слово сказано двумя тысячелетиями раньше.

концов они (господствующие богатые) не в состоянии даже вести войны, так как им приходится для этого пользоваться услугами массы, которая для них страшнее самого врага, раз она вооружена; если же они не хотят ею пользоваться, то им приходится расчитывать только на свои собственные, крайне незначительные, боевые силы; да кроме того они не хотят платить налогов, так как слишком любят деньги".

Бедных, пролетариев Платон сравнивает с трутнями — характерное сравнение, ярко рисующее разницу между античным и современным пролетариатом. Свободные люди, лишенные собственности, в древнем мире принадлежали по большей части к пролетариату босяков. Теперь общество поддерживается трудом пролетариев, тогда, наоборот, пролетарии жили на счет общества. Они жили эксплуатацией государства и богачей, добывавших свои доходы от рабского труда и выжимавших их из покоренных и подчиненных. Но, говорит далее Платон, двуногие трутни отличаются от крылатых: не все они лишены жала. „Лишенные жала становятся нищими на всю свою жизнь, снабженные им... превращаются в мошенников, воруют, вытаскивают кошельки, грабят храмы и совершают много других гнусных преступлений" (8-я книга, главы 6 и 7).

Государство, внутри которого в вечной борьбе живут два таких государства, неизбежно разлагается, все равно, принадлежит ли власть богатым (олигархия) или бедным (демократия).

Какое же государственное устройство предлагает Платон на место обоих этих „дурных устройств?"

Только коммунизм, полагает он, может предотвратить распадение.

Но Платон был слишком аристократ для того, чтобы желать уничтожения классовых различий. Коммунизм должен был сделаться охранительным, консервативным элементом, распространяясь только на *господствующий класс*. Если уничтожить частную собственность в среде господствующего класса, тогда, говорит Платон, у него исчезает всякое основание угнетать трудящийся народ, тогда господствующие будут уже не волками, а верными сторожевыми псами, жи-

вущими только для того, чтобы защищать народ от врагов и вести его к благу.

Для работающих классов, крестьян и ремесленников, Платон оставляет в своем государстве частную собственность, точно так же, как и для мелких лавочников и крупных купцов. Это и понятно: уничтожение частной собственности в этих слоях населения противоречило потребностям тогдашнего способа производства. Основанием производства было *мелкое* земледелие и ремесло. А они с естественной необходимостью обусловливают частную собственность на орудия труда. Правда, древний мир знал уже и более крупное производство, но основанное на *рабском* труде. В земледелии и промышленности техника не достигла еще такого развития, при котором возможно общественное производство. Где внешнее принуждение не связывало рабочих, где они были свободны, там всякий работал на себя. Желать уничтожения частной собственности на средства производства свободных рабочих было бы во времена Платона абсурдом. Поэтому его социализм коренным образом отличался от современного.

Господствующий класс в идеальном государстве Платона не производит, но существует на счет труда работающих классов. *Его коммунизм—коммунизм не средств производства, а коммунизм средств потребления*, употребляя это слово в самом широком смысле, коммунизм *потребления*.

Члены господствующего класса, это—стражи государства. Их избирают с особенной заботливостью из самых лучших и надежных граждан. Дети стражей имеют наибольшие шансы попасть в класс избранных, так как, вообще говоря, яблоко не далеко от яблони падает. Однако, если кто-либо из потомства стражей оказывается не на высоте своего положения, он без малейшего сострадания должен быть исключен из класса, к которому принадлежит по рождению, и, наоборот, те из детей ремесленников и земледельцев, которые обнаруживают благородные качества, „удостоиваются высокой чести и возводятся в число господствующих“.

Итак, аристократия в государстве Платона не есть наследственная аристократия.

Дети, предназначенные для класса стражей, подчиняются особой, тщательно выработанной системе воспитания. Платон очень обстоятельно описывает эту систему, но мы не можем на ней останавливаться.

„Но одного воспитания недостаточно",—продолжает Платон, или, вернее, Сократ. „Мудрый сказал бы, конечно, что необходимо еще так устроить их дома и прочее имущество, чтобы стражи не имели поводов утрачивать свою добродетель или совершать преступления против других граждан".

„Совершенно верно", сказал он (Главкон).

„Итак, смотри",—продолжал я (Сократ),—„не следует-ли устроить их жизнь и обстановку, если они должны сохранить свои качества, таким образом. Прежде всего никто не должен иметь личной собственности, если только этого возможно как-либо избежать; не должно быть ни частных домов, ни отдельных кладовых, в которые не мог бы итти каждый желающий. Все необходимое, в чем нуждаются воины, столь же храбрые, сколь и умеренные, они должны получать по очереди от других граждан, как плату за охранение государства; при этом должны получать в таком количестве, чтобы ни у кого ни в чем не было недостатка, но и ничего не оставалось бы на следующий год. Сообща должны они проводить свою жизнь и, как воины в походе, иметь общие трапезы (сисситии). Им надо внушить, что они не нуждаются в человеческом золоте и серебре, так как носят в своей душе золото и серебро божественные. Нельзя допускать их грязнить то божественное золото, которое они имеют, соприкосновением с земным, ибо много зла несет за собою эта ходячая монета, тогда как золото их души всегда чисто. Только им одним во всем государстве надлежит запретить иметь какое бы то ни было дело и соприкосновение с золотом и серебром; они не должны иметь их в доме, носить в виде украшений или пить из них. Если бы у них была собственная земля, и жилища, и золото, то они стали бы только домашними и сельскими хозяевами, а не стражами, жестокими властителями, а не товарищами остальных граждан; ненавидя других и строя им козни и в свою очередь окруженные ненавистью и кознями этих других, проведут

они тогда всю свою жизнь, гораздо больше опасаясь внутреннего врага, чем внешнего; быстро будут они приближаться к гибели, а вместе с ними и весь город".

Но Платон требует для своих „стражей" не только общности имуществ. Все, что способно пробудить в них частные интересы, посеять раздоры и несогласия, должно быть исключено. Поэтому он требует также по уничтожении моногамной семьи *общности жен и детей*.

Наши современные социалистоеды уверяют, что требование уничтожения семьи и брака является доказательством скотской упадочности социал-демократов. Но это требование они могли бы найти у того философа древности, которого наиболее чтут, в особенности за его „почти христианскую" этику, современные официальные хранители благопристойности и добрых нравов.

„В неразрывной связи со всем вышеизложенным", говорит у Платона Сократ, „стоит, по моему мнению, еще одно учреждение".

„Какое?"

„Жены должны принадлежать всем мужьям сообща; ни одна не должна жить особо с кем-либо одним. И дети пусть будут общие, так чтобы ни отец не знал своего ребенка, ни ребенок своего отца" (книга 5, глава 7).

Однако Платон не имеет в виду вполне безпорядочного полового общения; он имеет только в виду подчинить последнее *одному* принципу: принципу планомерного полового подбора. Женщины должны „рождать детей государству" только в возрасте от 20 до 40 лет, мужчины должны „производить для государства" от 30 до 50 лет. Кто произведет или родит ребенка до или после назначенного возраста, совершает преступление. Дети, зачатые против правил, подлежат устранению посредством искусственного изгнания плода или выкидыша. Они ни в коем случае не воспитываются. Лица, находящиеся в узаконенном возрасте, должны, насколько это возможно, производить потомство под руководством высших должностных лиц, так, чтобы „наиболее сильные соединялись с наиболее сильными, а слабые с слабыми; дети первых должны быть воспитаны, дети же вто-

рых нет, раз желают сохранить безукоризненную породу. Все это (т.-е. регулирование зачатий) должно оставаться тайной для всех, кроме высшего начальства, дабы масса стражей по возможности никогда не имела поводов к раздору".

Лица, переступившие установленный возраст, могут свободно вступать в связи в пределах своей возрастной группы по сердечной склонности и своему усмотрению.

„Новорожденных детей берут к себе специально назначенные для этого должностные лица, среди которых есть и мужчины и женщины, так как общественные должности здесь одинаково доступны тому и другому полу".

„Это хорошо".

„Детей сильных и здоровых родителей, думается мне, они отнесут к надзирательницам в воспитательный дом, расположенный в особой части города, детей же слабых родителей или уродов от рождения, они, как это и приличествует, похоронят в каком-либо недоступном месте".

„Конечно так, — сказал он, — если только заботиться о сохранении благородства поколения стражей".

„Эти должностные лица должны заботиться и о прокормлении грудных детей; они приводят в воспитательный дом матерей, имеющих молоко, причем по возможности должны сделать так, чтобы ни одна из них не узнала своего ребенка; они же заботятся, если количество матерей недостаточно, о привлечении других кормилиц" (книга 5, глава 9).

На нас все это производит странное, даже прямо отталкивающее впечатление. Но греки платоновской эпохи совершенно иначе смотрели на дело. Конечно, и у них существовала моногамия, но она имела, как они сами открыто заявляли, только одну цель: получение законного потомства, охрану права наследования. Браки заключались не в сердцах влюбленных, но в голове отцов семейств, причем в соображение принимались не склонности заинтересованных лиц, а имущественные отношения. Обыкновенно молодой человек не мог даже видеть девушку из хорошего дома до самой помолвки.

Как видим, капиталистический способ производства несправедливо обвинять в том, что он превратил брак в де-

нежную сделку. Законом охраняемая моногамия существовала и раньше. Она—дитя частной собственности и права наследования. Капиталистический способ производства, напротив, создал условия, при которых признанным фактором в общественной жизни могла сделаться индивидуальная половая любовь, т.-е. страстное стремление определенного лица принадлежать именно данному лицу другого пола, а не кому-либо другому. Поэтому и мораль современного общества признает безнравственным брак, являющийся простой денежной сделкой. Но так как капиталистический способ производства сохраняет экономические корни брака-сделки и даже усиливает их, то, несмотря на моральные воззрения, брак не перестает быть денежной сделкой; возникает только стремление затушевать этот характер современного брака: вступающие в него обязуются делать вид, что их влечение друг к другу — действительная любовь. Место языческой откровенности заступило христианское лицемерие. Разумеется, это относится преимущественно к бракам имущих.

Рядом с заботой об увеличении имущества и сохранении его в роде отца, при заключении брака решающую роль играло стремление произвести сильное и крепкое потомство. В Спарте, где на первый план выступали не имущественные отношения, а военные качества спартиатов, точка зрения полового подбора имела огромное значение при заключении брака. Влияние ее было настолько сильно, что при известных обстоятельствах муж уступал свои супружеские права другому, если последний был сильнее, обещал произвести более крепкое потомство. Недаром Плутарх сравнивал спартанский брак с конским заводом, где дело идет только о получении возможно более благородной породы.

Таким образом современники Платона не видели ничего бессмысленного и отталкивающего в регулировании брачных союзов начальством по всем правилам полового подбора.

Уничтожение семьи, половой коммунизм являлись логическим следствием коммунизма потребления. В самом деле, раз уж все наслаждения должны быть общими, было бы в

высшей степени непоследовательно исключить из сферы общности такое мощное и властное наслаждение, как половая жизнь.

Но, само собой разумеется, общность жен, половой коммунизм не стоит ни в какой логической связи с тем требованием общественной собственности на *средства производства*, которое выдвигает современный социализм,—иначе женщину пришлось бы причислить к средствам производства. Так, и „Коммунистический манифест" говорит: „Буржуа видит в женщине просто орудие производства. Он слышит, что орудия производства должны использоваться общественно, и, разумеется, не может представить себе дела иначе, как что на долю женщин тотчас же выпадет жребий общности".

Напротив, другая сторона общественных идеалов Платона соприкасается с требованиями современной социал-демократии. Как и социал-демократия, Платон требует равенства в положении мужчин и женщин, допущения последних ко всем общественным должностям (правда, все это касается только класса стражей). Женщины принимают участие даже в войне и потому должны получать воспитание совершенно такое же, как и стражи-мужчины.

„Из всех родов деятельности, которыми держится государство, нет ни одного, который бы принадлежал женщине, как женщине, или мужчине, как мужчине; естественные дарования распределены одинаково как среди того, так и другого пола; по своей природе женщина совершенно так же, как и мужчина, способна выполнять всякую деятельность: но во всем женщина несколько слабее мужчины... Итак, пусть женщины наших стражей сбрасывают с себя платье (чтобы заниматься физическими упражнениями, как это делают и мужчины) и облекаются более в доблесть, чем в одежды; пусть они принимают участие в войне, в управлении государством, — и пусть они не делают чего-либо иного. Но из всего этого мы предоставим женщинам более легкое по сравнению с мужчинами во внимание к слабости их пола" (книга 5, глава 5 и 6).

В основе социального и политического уравнения женщин с мужчинами лежит освобождение их от домашних

работ. В государстве Платона это совершается таким образом, что домашние работы выпадают на долю трудящихся классов. До тех пор, пока работы, хотя бы наиболее тяжелые, не могут выполняться машинами, никаким другим путем и невозможно достигнуть женской эмансипации.

Как ни смелы эти идеи Платона, они все же не висят в воздухе, но имеют под собою вполне реальную почву. Мы уже видели ту почву, на которой возникла одна из его самых смелых идей,—идея внесения в половые отношения планомерного полового подбора. Образец, которым руководствовался здесь Платон, оказал влияние на весь ход его мыслей. Этим образцом послужила Спарта, самое аристократическое государство Греции, поэтому всегда привлекавшее к себе особенные симпатии афинской аристократии. Симпатии эти были так велики, что в значительной мере им приходится приписать подчинение Афин Спартой во время Пелопонесской войны. Они обнаруживались в заговорах, предательствах и даже в изменнических убийствах выдающихся демократов и полководцев.

Платон, уже как аристократ, питал симпатии к Спарте, но они еще больше усилились у него под влиянием антидемократических тенденций Сократа.

Многие из самых выдающихся и известных учеников Сократа были настроены особенно дружественно по отношению к Спарте. *Ксенофонт*, наперсник спартанского царя Агезилая, совершил не один военный поход на спартанской службе; он не постыдился даже в битве при Коронее (394 г. до Р. Х.) сражаться в свите спартанского полководца против своих сограждан афинян. Неудивительно, что он был изгнан из своего родного города. *Алкивиад* во время Пелопонесской войны поступил еще лучше. Назначенный афинским полководцем, он перешел на сторону спартанцев, сделался, говоря нынешним языком, начальником их генерального штаба, выдал им все слабые стороны Афин и вызвал благодаря этому целый ряд таких ужасных поражений афинян, которые решили исход войны, хотя она еще и тянулась после этого довольно долгое время. После окончательного поражения Афины стали жертвой „тридцати тиранов", банды

аристократических проходимцев, которых победоносная Спарта навязала афинскому народу в качестве правителей. Во главе этой банды, обогощавшейся при помощи безшабашного террора и окончательно опустошившей покоренные Афины, стоял *Критий*, также ученик Сократа.

Это не мешает иметь в виду для правильной оценки процесса Сократа.

При таких обстоятельствах нет ничего удивительного, что именно спартанское государство послужило тем фундаментом, на котором Платон возводил здание своего идеального государства. Мы могли бы доказать это по целому ряду пунктов, однако это не входит в нашу задачу.

Впрочем мы вовсе не хотим сказать, что Платон просто списал спартанское устройство. Для этого он был слишком философ и слишком ясно видел те недостатки, от которых уже страдала Спарта его времени. Власть и богатство, принесенные в Спарту благодаря Пелопонесской войне и после нея, оказывали на нее такое же быстрое разлагающее действие, как на Афины их победа в персидских войнах и последствия этой победы. Пережитки первобытного коммунизма, еще сохранившиеся в Спарте, так же не могли защитить ее от упадка, как развалины рыцарского замка не защитят от современной артиллерии. От этого коммунизма остались одни голые формы.

Может быть, наибольшее значение этих остатков в эпоху Платона сводилось к тому, что от них исходили влияния, которые заставили исследователя и мыслителя признать коммунистический строй осуществимым и желательным и позволили ему из связанных с ними отрывочных идей создать последовательно проведенную систему коммунизма, возможную в то время хотя бы только в идее.

Конечно, только в идее. Платон был аристократ, но его аристократизм выражался лишь в презрении к низшим слоям народа, а не в доверии к товарищам по сословию. Он одинаково сомневался в тех и других. Грубый спартанский милитаризм и безпощадно эксплуататорское спартанское хозяйство привлекали его так же мало, как и афинское народовластие.

Поэтому в своем идеальном государстве он разделил высший класс, стражей, на две части: воинов и управителей. Только последние управляли государством, но они должны были быть философами. Господство военной аристократии было в его глазах столь же пагубным, как и господство народа, который в его время почти уже целиком выродился в пролетариат паразитов. Только господство философов может обеспечить разумное управление государством. „Пока род философов не станет господином государства (ἐὰν μὴ ... γένηται), до тех пор не прекратятся несчастия как всего государства, так и отдельных граждан, до тех пор не будет осуществлено то государственное устройство, которое мы здесь разработали" (книга 6, глава 13. Сравн. книга 5, глава 18).

Но как же философы могут достигнуть господства в государстве? Отнюдь не участием в политической борьбе народа, а только заручившись благоволением какого-либо автократического государя (книга 6, глава 14) [1]).

[1]) Умопомрачительное открытие сделал новейший исследователь платоновского коммунизма г. профессор *Роберт Пельман*. Он заявляет, что философский абсолютизм, предлагавшийся Платоном, осуществлен — в Германской империи. «Не является ли это требование прямо как бы пророческим указанием на истинно-государственную монархию, как ее осуществило прежде всего *германское государство*?» Но кто такое эти государственные философы, возвышающиеся над классовыми интересами как собственников, так и неимущих? Это — «наши теперешние государственные и коммунальные чиновники, духовные, учителя, офицеры и т. д., в большинстве своем люди, которые, не обладая собственностью или крупной собственностью, получили высшее образование» и т. д. Именно это, именно создание находящегося в таком положении и так настроенного общественного слоя, каковым обладает современное государство и которого не было у тогдашнего,—именно в этом Платон с гениальной проницательностью увидал главный и основной вопрос всякой политики». («Geschichte des antiken Kommunismus und Sozialismus», I, S. 427 ff.). Тот взгляд, что с самых средних веков всемирно-историческое развитие единственной своей задачей имело раскрыть все заливающую своим светом славу династии Гогенцоллернов и их государства,— этот взгляд представляет нечто самой собой разумеющееся для германского историка. Однако до господина Пельмана никто не решался с этой целью обращаться к мраку древности и прославлять Платона как передового борца за господство прусских юнкеров и бюрократии.

Мы уже знаем, к чему привели Платона его попытки склонить на сторону своих идей одного из греческих самодержцев.

Судьба Платона—это судьба всех вообще утопистов, живших после него, т.-е. людей, мечтавших произвести реформу в государстве или обществе, не отыскивая необходимых для этого факторов в них самих; утопистам поневоле приходится рассчитывать на акт великодушного произвола со стороны какого-нибудь политического или финансового самодержца, на философа-короля или философа-миллионера.

Во времена Платона в известных ему государствах еще не было такого слоя в народе, от которого можно было бы ожидать возрождения государственной жизни. Все слои народа в одинаковой степени обнаруживали признаки разложения и упадка; в конце концов даже республиканам начинало казаться, что единственное спасение государства—в единодержавии. Ксенофонт, принадлежавший к той же философской школе, как и Платон, написал роман „Киропедия", в котором прославляется благодетельное господство воспитанного в доблестях монарха.

Вскоре после Платона философы стали видеть в единодержавии уже не средство достигнуть государственной власти, а всего лишь средство избавиться от тягостных забот о государственных делах. Государственный упадок отражается и во всеобщем сознании. Уже не общественная жизнь интересует теперь философов, а свое драгоценное „я". Не лучшего государственного устройства ищут они теперь, а лучшего способа добиться личного счастья.

Мало-по-малу складывается та атмосфера, в которой возникло христианство.

3. Корни первоначального христианского коммунизма

Мы уже сказали, что развитие, описанное в начале прошлой главы и иллюстрированное примером Афин, было участью всех наций и государств древнего мира.

И характерно для современной германской исторической науки и ее аудитории, что германский ученый с невиданной торжественностью надевает на греческого философа прусскую каску, — и его не хоронят под ураганом насмешек.

Та же судьба, как Афины, постигла и Рим, подчинивший себе все народы древнего мира. Когда он достиг до зенита своей внешней силы, внутреннее разложение в нем зашло уже очень далеко. Его царство, охватившее все страны вокруг Средиземного моря, представляло массу государств, развивавшихся по общему типу. Одни из них, расположенные к востоку и югу от Средиземного моря, шли в своем развитии впереди Рима, другие—к западу и северу—более или менее отставали от него. Но отсталые провинции ускоренным темпом стремились догнать столицу; в результате они вместе с Римом приближались к такому концу, пред каким уже стояли Греция и восточные страны: к полному социальному разложению.

Мы видели, как распадалась афинская демократия, и республика созревала для перехода к единодержавию. Так же развивались и другие демократии, и в числе их римская. На то самое время, к которому относят рождение Христа, приходятся последние судороги Римской республики и первые шаги цезаризма.

Аристократия и демократия оказались в эту эпоху одинаково несостоятельными. Свободное крестьянство, составлявшее ядро народа в Римской империи, захирело, во многих областях совершенно исчезло, а в других было принижено до положения арендаторов у крупных землевладельцев. Величие и слава Рима выростали из развалин крестьянства. Благодаря вечным войнам, которые велись при помощи крестьянской милиции, крестьянское хозяйство падало; хозяйство же крупного землевладельца, которое велось рабским трудом, совсем не страдало от войн. Напротив, именно войны и доставляли ему необыкновенно дешевых рабов. Неудивительно, что рабское хозяйство быстро брало верх и вытесняло хозяйство свободных крестьян. Свободное, сильное крестьянство таяло, как снег под солнечными лучами; отчасти оно просто хирело, но в большинстве случаев крестьяне падали до положения городских пролетариев, носильщиков, разносчиков, домашних рабочих, нищих. Лишившиеся собственности крестьяне устремлялись в города, и вместе с рабами, отпущенными на волю, составляли там низший слой свободного населения.

Но пока существовала демократическая республика, бедность масс еще не означала неизбежной массовой нищеты. Пусть массы свободных граждан лишены были всякой собственности,—у них, ведь, оставалась в руках политическая сила; и они, опираясь на эту силу, умели устраиваться очень недурно, употребляя ее многоразличными способами на обирание богачей-римлян и покоренных областей, стоявших в отношениях подданничества.

Политическая власть доставляла им не только хлеб и зрелища, но иногда и средства производства, земельную собственность. Через последние столетия Римской республики проходит непрерывный ряд попыток создать новое крестьянство, наделивши пролетариев крестьянскими участками земли. Но все старания повернуть назад колесо экономического развития были тщетны. Они потерпели крушение, так как перевес политических и экономических сил был на стороне крупных землевладельцев. Последние мешали, где только могли, проведению этих опытов, а в тех местах, где все-таки удавалось создать свободных крестьян, скоро опять подавляли свободных крестьян и скупали их наделы. Но эти опыты терпели крушение и вследствие упадочности самих пролетариев-паразитов, которые не хотели работать и предпочитали удовольствия большого города скудному, полному труда и забот деревенскому существованию мелкого крестьянина. Пролетарии часто обращали в ничто все социальные реформы, которые должны были служить их интересам: они быстро проматывали полученные ими наделы. Но они часто противодействовали социальным реформам и таким образом, что продавали богатым крупным землевладельцам свою политическую силу и обращали ее против социальных реформаторов.

Самая грандиозная из попыток социальной реформы была сделана под руководством *Гракхов*, Тиберия Семпрония Гракха (род. в 163 г., убит своими противниками аристократами в 133 г. до Р. Х.) и его младшего брата Гая Семпрония Гракха (род. в 153 г.). Последний с большею решительностью и размахом продолжал дело своего старшего брата, но, как и он, пал жертвой ярости владельцев латифундий (121 г.). Обоих Гракхов иногда называли коммуни-

стами, но это неверно во всех отношениях. Они стремились не к уничтожению частной собственности, а к созданию новых собственников, к восстановлению сильного крестьянства, этой вернейшей опоры частной собственности.

Выдвигая свою программу реформы, Гракхи действовали в полном согласии с экономическими отношениями своего времени. Правда, в эту эпоху вытеснялось не только мелкое землевладение крупным землевладением, но часто и мелкое производство крупным производством. Однако это было не следствием технического и экономического превосходства последнего, а результатом чрезвычайной дешевизны *рабочей* рабочей силы, на которой основывалось крупное производство.

Вечные войны доставляли на рынок многочисленных пленников, обращаемых в рабство. Некоторые войны римлян вызывались исключительно потребностью крупных землевладельцев в дешевых рабах и были просто охотой за рабами.

Рабы добывались несметными массами. Неудивительно, что цены на них чрезвычайно упали. Уже в Афинах—по таким же причинам, как и в Риме,—количество рабов было большое. В мировом царстве древнего Рима зло рабства сделалось еще более жестоким. Римский полководец Лукулл (во второй половине первого столетия до Р. Х.) продавал пленников в рабство по *полтора рубля* (расчитывая на наши деньги) за штуку!

Сделалось выгодным при случае скупать огромные полчища рабов—у богатых римлян они считались тысячами—и принуждать их к общим работам. Но эти крупные производства в техническом отношении не превосходили мелких производств. Труд рабов, особенно в области сельского хозяйства, по своей грубости и неэкономности достигал пределов возможного: отдельный раб в крупном производстве производил много меньше продуктов, чем свободный рабочий в мелком производстве.

Маркс замечает в своем „Капитале", в одном примечании о рабском труде: „Работник отличается здесь (в производстве, основанном на рабстве), по удачному выражению древ-

них, лишь как instrumentum vocale (орудие, способное выражать свои чувства словами), от животного, как instrumentum semivocale (орудие, способное выражать свое внутреннее состояние лишь очень несовершенно), и от неодушевленных орудий труда, как instrumentum mutum (немое орудие). Но за то он сам старается дать почувствовать и животным и орудиям труда, что он не есть существо, им подобное, а человек. Обращаясь с ними дурно и изощряясь в истреблении их, он как бы доказывает этим свое отличие от них и доставляет таким образом некоторое удовлетворение чувству собственного достоинства. Поэтому при таком способе производства экономическим принципом становится употребление самых грубых, самых неуклюжих орудий труда, так как подобные орудия, в силу этой самой неуклюжести, не так легко подвергаются порче и разрушению".

С этими замечаниями можно сопоставить следующее место из „Étude sur l'économie politique" Сисмонди (Париж 1837 г.). Он приводит обширную выдержку из сочинения Ш. Конта о рабстве и говорит между прочим: „В наше время рабы неспособны ни на какую работу, требующую интеллигентности, вкуса и внимательного отношения. Очень вероятно поэтому, что и у древних римлян художественные работы выполнялись людьми, которые достигли искусства в производстве еще на свободе и только благодаря войне попали в рабство. Так объясняется то явление, что, когда римляне поработили все промышленные нации и могли добывать рабов уже только из среды варваров, искусства и все виды промышленности необыкновенно быстро упали, и сами римляне превратились в варваров.

„Но рабство портит не только порабощенных, но и свободных: оно воспитывает презрение к промышленному труду, и беднейшие свободные граждане все более устраняются от него. Состояние пролетариев в Римской республике, устранявшихся от всякого труда отчасти презрением к труду, отчасти конкуренцией рабов,—это состояние замечательный и потрясающий пример деградации и нищеты, в которые рабство повергает часть народа, не принадлежащую ни к господам, ни к слугам" (I, стр. 382—393).

Если же, несмотря на то, раб в крупном производстве производил дешевле, то исключительно по той причине, что сам он почти ничего не стоил, и что, вследствие дешевизны и массового предложения рабов на рынке, не было необходимости щадить их и достаточно кормить и одевать. Рабы могли погибать, — их легко заменяли другими.

Отсюда видно, что вытеснение мелкого производства крупным обусловливалось в Риме совсем не теми причинами, как такое же явление в настоящее время. Ни в земледелии, ни в ремесле не было предпосылок для более высокого способа производства, чем мелкое производство, для коллективного производства. Следовательно, если Гракхи, представляя интересы пролетариата, вовсе не были коммунистами, это вполне соответствовало тем экономическим условиям, среди которых они жили.

То же, что о Гракхах, можно сказать и о *Катилине* (род. в 108 г. до Р. Х.), вожаке римского заговора, направленного против правления землевладельцев. Когда все другие попытки его партии захватить в свои руки политическую власть потерпели крушение, Катилина со своими товарищами прибегнул к насилию и начал восстание, но, подавленный перевесом сил на стороне своих противников, погиб после героической борьбы с ними (62 г. до Р. Х.). И его называли коммунистом — Моммзен даже „анархистом“, — но без всякого основания. Он, как и Гракхи, стремился совсем не к уничтожению частной собственности и не к созданию коммунистического общественного строя. Его целью было, опираясь на неимущих, захватить политическую власть, чтобы сделать их собственниками.

Когда политическая жизнь замерла, и собственники в моральном и политическом отношениях упали так же низко, как и пролетарии, тогда мысль пролетариев и их друзей стала работать в ином направлении. Демократический государственный строй потерял почву под ногами, как и аристократический; создались благоприятные условия для выступления цезаря, самодержца, императора, начальника наемного войска, и для появления зародышей бюрократии.

С политической силой античный пролетариат утратил важнейший, почти единственный источник заработков. С этого времени быть бедным означало быть нищим. Пролетаризация масс породила теперь в римском обществе такие мрачные явления, которых совсем не знал предыдущий период. Пауперизм, массовая бедность, нищета масс превратилась в важнейший из социальных вопросов. Он все настоятельнее требовал разрешения: общественное развитие шло все по прежнему направлению, средние слои все более разорялись, богатые становились богаче, число пролетариев росло.

Однако, кроме этого социального вопроса были и другие, которые приводили в брожение общество мировой Римской империи. Разорение свободных крестьян, обусловившее переход к цезарьянскому абсолютизму, было предвестником экономического разложения всего общества.

Военное банкротство Рима наступило даже раньше, чем политическое банкротство римского общества. С крестьянами исчезла основа римской милиции. На ее место выступило войско наемников, надежнейшая опора для деспотизма. Но это войско, непреодолимое во внутренних столкновениях, скоро встало перед трудной задачей: отражать внешних врагов, особенно германцев, которые напирали все с большей силой, меж тем, как военная система Рима видимо разрушалась.

Это повело к очень важным экономическим последствиям. Войны все реже были завоевательными войнами; нескончаемая война на границах все более принимала форму чисто оборонительной войны; количество военнопленных все более перевешивалось потерями войск. Предложение рабов постепенно все более сокращалось. Но истощение источника, доставлявшего массы новых рабов, было равносильно крушению фундамента, на котором держалось тогдашнее крупное производство, особенно в сельском хозяйстве. Правда, самое рабство не вполне исчезло, но рабы все более становились просто предметами роскоши.

Однако, такие перемены совсем не знаменовали под'ема свободного крестьянства и свободного ремесла. Рука об

руку с сокращением добычи рабов шел не рост свободного сильного ремесла, а упадок и разложение промышленности. Не лучше шло дело и в сельском хозяйстве. Хозяйство, основанное на рабстве, разорило крестьян и привело их к окончательной гибели. В тех частях Римской империи, где это случилось, крестьянское хозяйство уже не могло вновь подняться. Дело в том, что хотя *рабовладельческое хозяйство* и становилось все более бездоходным, *крупное землевладение* все же осталось и даже расширялось с возрастающей скоростью: как и раньше, крупный землевладелец успешнее, чем мелкий, мог противостоять вымогательствам императорских чиновников и бороться с опустошениями, которые для многих местностей приносили с собою несчастные войны.

Но ведение сельского хозяйства рабским трудом, в конце-концов, не могло удержаться. Область его все более ограничивалась: Рядом с ним развивалась новая система: крупные поместья целиком или отчасти разбивались на мелкие участки, которые *сдавались в аренду* за определенные оброки и отработки. Съемщики назывались *колонами*. В позднейшие столетия их старались возможно прочнее прикрепить к земле. Они были предшественниками несвободных крестьян средних веков.

Причиною прикрепления колонов было *резкое уменьшение рабочих сил* в Римской империи, вытекавшее из всеобщего обеднения. Недостаток в людях увеличивался еще многочисленными несчастными войнами. Население заметно уменьшалось. Чтобы достать колонов и солдат, господствующие классы должны были все усиленнее привлекать в Рим иноземцев, варваров; в конце-концов военное и производительное сословие составлялись преимущественно из переселившихся чужеземцев и их потомков.

Но этого было недостаточно, чтобы возместить убыль населения, и потому приходилось привлекать в империю все более грубые элементы, стоящие на самой низкой ступени культуры.

Римская культура могла подняться на достигнутую ею высоту только благодаря избытку рабочих сил, которыми она располагала и которые могла расточать с полной бес-

пошадностью. Исчез избыток рабочей силы,—исчез и избыток продуктов, начался регресс земледелия и промышленности, выдвинулись более грубые и варварские приемы труда. Одновременно с производительным трудом регрессировали искусство и наука.

Общественное разложение Рима захватило длинный период времени. Прошли многие столетия, прежде чем мировое государство Рима упало с гордой высоты, на которую оно стало при Августе и его ближайших преемниках, до того жалкого уровня, на котором оно стояло к началу переселения народов. Но уже в первом веке нашей эры направление упадка было несомненно и определилось с достаточной ясностью. В процессе разложения Рима выросла та новая общественная сила, которая спасла среди всеобщего разложения то, что еще можно было спасти, и потом передала остатки римской культуры германцам, где они послужили основою новой, высшей культуры. Этой силой было *христианство*.

4. Сущность первоначально-христианского коммунизма.

Как в Греции в эпоху ее разложения, так и в Риме, в период императоров, все мыслящие люди, все проникнутые сочувствием к своим страдающим братьям, не могли не останавливаться над вопросом о выходе из ужасающего положения.

На этот вопрос давались разнообразнейшие ответы. Возродились и идеалы Платона, но теперь они могли оказать еще меньше влияния, чем в эпоху своего возникновения. Правда, высшие сословия и даже император Галлиен и императрица Салоника оказывали нео-платонику Плотину (в третьем веке по Р. Х.) такое благоволение, что он мог думать об основании, при их содействии, города по образцу государства Платона. Но этот салонный коммунизм модного философа был только одной из многочисленных забав, в которых убивали время высшие классы бездельников. Попыток для осуществления плана вовсе не делалось, если „попыткой“ не считать изобретение имени для колонии: Platonopolis, город Платона.

Государственная власть встречала всеобщее недоверие и всеобщее равнодушие. Внутреннее разложение общества достигло такой степени, что ни от одного из смертных, хотя бы он был самым сильным из цезарей, не могли ожидать, что ему удастся вдохнуть в общество новую жизнь. Это может сделать только надчеловеческая сила, только чудо.

Кто не верил в возможность чуда, которое спасло бы римское общество, тот впадал в безнадежный пессимизм или старался забыться в бессмысленных наслаждениях. Но из тех пылких энтузиастов, для которых было одинаково невозможно и то и другое, многие стали веровать в чудо.

В особенности это относится к энтузиастам из низших слоев народа. Они больше всех страдали от разложения римского общества, у них не было средств, чтобы забыться в чаду удовольствий, и потому они не могли чувствовать того раскаяния, которое обыкновенно следует за бессмысленными наслаждениями и легко порождает пессимизм и уныние. Преимущественно в их рядах и пускала корни идея, что в ближайшем же будущем с неба придет избавитель и создаст на земле славное царство, в котором нет ни бедности, ни войны, в котором господствует радость, мир, довольство и бесконечное блаженство. Этот спаситель был помазанник божий, Христосъ [1]).

Раз уже всякое чудо казалось возможным, деятельность фантазии опрокидывала всякие границы, и каждый верующий мог представлять грядущее царство в самых фантастических формах. В этом будущем изменится не только общество, но и вся природа; из нее исчезнет все вредное для человека, а все наслаждения, которые она дает человеку, вырастут непомерно [2]).

Известно христианское сочинение, в котором выразились такие ожидания. Это—так называемое „Откровение Иоанна". Апокалипсис, написанное, по всей вероятности, вскоре *после*

---

[1]) Христос, греческое слово, означает помазанный.

[2]) Корроди в своей „Kritische Feschichte des Chiliasmus" (Frankfurt 1781) обстоятельно описал и даже—подверг критике те удивительные грезы, которые порождались фантазией.

смерти Нерона. Оно возвещает, что в самом близком времени разразится страшная борьба между имеющим возвратиться Нероном, Антихристом и Христом, который снова придет, и что вся природа примет участие в этой борьбе. Христос выйдет победителем из борьбы и положит начало тысячелетнему царству; в нем праведники, над которыми смерть утратит свою силу, будут править вместе с Христом. Этого мало: по скончании этого царства возникнет новое небо и новая земля, и на этой земле—новый Иерусалим, место блаженства.

Тысячелетнее царство, это—государство будущего для первоначального христианства. В связи с этим все возникавшие в христианских сектах пламенные ожидания грядущего нового общества называются *хилиастическими* [1]).

Примыкая к „Апокалипсису", многочисленные учители христианства в первые века выражали хилиастические ожидания и в некоторых случаях,—напр., Иреней (во втором веке) и даже Лактанций (около 320 года) описывали грядущий земной рай очень обстоятельно и в ярких чувственных красках [2]). Но чем больше христианство переставало быть верой только несчастных и угнетенных, пролетариев, рабов и их покровителей, чем решительнее оно становилось религией сильных и богатых, тем с большим нерасположением относилась официальная церковь к хилиазму: ведь, в нем всегда оставался некоторый революционный привкус, оно

---

[1]) Chilias, по-гречески значит *тысяча*.

[2]) Большую роль играли в грядущем христианском царстве *вино* и *любовь*. Иреней пишет: «Придет время, когда будет расти виноград, каждый куст из десяти тысяч лоз, каждая лоза с десятью тысячами больших ветвей, каждая большая ветвь с десятью тысячами мелких, каждая мелкая ветвь с десятью тысячами гроздий, и в каждом из гроздий по десяти тысяч ягод, и в каждой ягоде сока на двадцать ведер вина». Следует полагать, что и жажда в тысячелетнем царстве вырастет в соответствующей пропорции. Однако, Иреней рисует в перспективе и более нежные радости: «Молодые девушки будут развлекаться в обществе юношей; старцы будут пользоваться такими же правами, и их печали рассеются среди удовольствий». Последняя перспектива должна была представлять особую привлекательность для молодых и старых старцев римского общества fin de siècle.

всегда было пророчеством, что существующее общество идет к перевороту.

Хилиастические ожидания—одна из наиболее характерных особенностей духовной жизни первоначального христианства. Но не менее важны его тенденции к практическому коммунизму.

Подобно социал-демократии, первоначальное христианство стало непреодолимым для властителей того времени потому, что оно сделалось *необходимым* для масс населения. Победу ему обеспечила *практическая деятельность*, а не его *благочестивые грезы*.

Мы и обратимся теперь к этой практической деятельности.

Пауперизм, как мы видели, в императорский период Рима вырос в великий социальный вопрос. Все государственные попытки борьбы с нищетой оказались тщетными. Некоторые императоры и частные люди старались помочь делу устройством благотворительных учреждений. Но они основывались в чрезвычайно ничтожном количестве; это были капли воды, падающие на раскаленный камень; при том, алчная римская бюрократия далеко не была хорошим заведующим для благотворительных учреждений.

Пессимисты и люди, отдавшиеся наслаждениям, предпринимали по отношению к пауперизму то же самое, что они делали по отношению к другим недугам общества и государства, т. е., не делали *ничего*. Они заявляли: это—очень печальное явление, что сложился такой порядок вещей; но он непредотвратим, а философы не могут же принимать участие в борьбе против непредотвратимого.

Совсем другую позицию заняли сангвиники-энтузиасты и пролетарии, на которых лежал гнет нищеты. Они не могли отдаваться спокойному созерцанию нищеты, они *должны* были стремиться к тому, чтобы положить ей конец. Но обездоленным нельзя помочь одними грезами о блаженстве, которое принесет Мессия, грядущий на облаках. И вот из тех самых кругов, из которых исходили хилиастические мечты, вышли и практические попытки справиться с существующей нищетой.

Эти попытки носили совершенно иной характер, чем на-

чинания Гракхов. Гракхи апеллировали к государству: они хотели, чтобы пролетариат завоевал политическую власть и подчинил ее своим интересам. В императорский период прекратились всякие политические движения, и государственная власть встречала со всех сторон одно недоверие. Понятно поэтому, что новые социальные реформаторы хотели преобразовать общество не при помощи государства, а за его спиною, опираясь на особые организации, совершенно независимые от него.

Еще важнее было другое различие. Движение при Гракхах оставалось полудеревенским; оно опиралось не только на городских пролетариев, но и на разоряющихся крестьян. Оно стремилось к тому, чтобы сделать крестьянами и пролетариев. Пролетарии городов, в свою очередь, тоже еще далеко не вполне порвали с крестьянскими идеалами.

В императорский период город уже совсем обособился от деревни.

Городское и деревенское население представляли две нации, которые уже не понимали друг друга. Христианское движение при своем начале было исключительно движением больших городов: „поселянин" и „нехристианин" сделались однозначащими понятиями". Позднейшие христиане употребляли латинское слово paganus (латинское слово, означающее: житель деревни) для обозначения язычников.

С такими переменами в общественных отношениях тесно связано и различие между попытками социальной реформы при Гракхах с одной стороны и в императорский период — с другой. Гракхи хотели вытеснить плантаторское и пастбищное хозяйство крестьянским хозяйством; они затрагивали существующее распределение собственности потому, что стремились проложить путь к реформе *способа производства*. Но, как мы видели, именно по этой причине они и должны были неизбежно признать частную собственность (на средства производства).

Напротив, начало христианства определялось характером такого класса, как пролетарии-босяки больших городов, в своей массе отвыкшие от работы. Производство представлялось этим элементам делом довольно безразличным; при-

мером для них была лилия полевая, которая не сеет и не прядет и несмотря на то процветает. И, если они стремились к переменам в распределении собственности, то имели в виду собственность не на *средства производства*, а на *средства потребления*. Для пролетариев-босяков того времени не было ничего необычного в коммунизме потребления. Устраивавшиеся от времени до времени общественные трапезы для огромных масс нуждающихся или раздача им средств существования в последний период республики повторялись с большой регулярностью, а потом имели место и в начале императорского периода. Что же могло быть естественнее для пролетариев-паразитов, как не возвести эти трапезы и раздачи в систему, в постоянный коммунизм по отношению к наличным средствам потребления,— отчасти в форме равномерного распределения их, отчасти в форме совместного потребления.

Так возникли коммунистические идеи, а вскоре за тем и коммунистические общины с целью осуществления этих идей. Первые из них сложились на Востоке, который в экономическом отношении шел далеко впереди Запада. Среди иудеев еще до начала нашей эры апокалиптические ожидания получили всеобщее распространение; у них же лет за 100 до Р. Х. мы встречаем коммунистический союз, союз *ессеев*.

„Они считали богатства за ничто“,— рассказывает о союзе Иосиф. „Напротив, они прославляли общность имуществ, и среди них ни один не был богаче другого. У них есть закон, чтобы каждый вступающий в орден отдавал свои блага на общее потребление: поэтому у них не наблюдается ни нужды, ни излишков, но все у них общее, как у братьев... Они не живут все в одном городе, но во всех городах у них есть особенные дома, и откуда бы ни приходили к ним люди, принадлежащие к их ордену, они делятся с ними своим имуществом, так что пришедшие могут пользоваться им, как своим собственным. Они быстро сближаются между собою, хотя бы никогда не видали друг друга, и поступают так, как будто всю свою жизнь стояли в самых близких отношениях. Если они путешествуют по стране, то не берут с собою ничего, кроме оружия против разбойников. В каждом

городе у них есть человек, заботящийся о гостях; он раздает чужестранцам одежду и средства для жизни... Они не ведут торговли между собою, но если кто-нибудь дает что-либо нуждающемуся, то, в свою очередь, получает от него то, в чем нуждается сам. И если бы даже у него не было ничего, чем он мог бы вознаградить дающего, все же он безбоязненно может просить, у кого хочет, и что ему надо" [1].

Сначала христиане тоже стремились к проведению полного коммунизма. В евангелии Матѳея (19, 21) Иисус говорит богатому ученику: „если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим" [2]. В „Деяниях апостолов" первая иерусалимская община описывается (4, 32, 34) следующим образом: „и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее... Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду". Анания и Сапфира, желавшие утаить от общины часть своих денег, были наказаны за это от Бога, как известно, смертью [3].

На практике этот вид коммунизма сводился к тому, что средства производства превращались в средства потребления, и выручка раздавалась бедным. Но если бы такая программа нашла полное, всеобщее осуществление, это привело бы к окончательной гибели всякого производства. Как бы мало ни заботились первые христиане, настоящие философы нищеты, о производстве, они не могли не понять, что на таком фундаменте невозможно построить сравнительно обширное общество, расчитывающее на продолжительное существование.

Тогдашнее состояние производства требовало частной собственности на средства производства, и христиане ничего не могли с этим поделать. Следовательно, они должны были стремиться к примирению частной собственности и комму-

---

[1]) *Josephus.* Geschichte des judischen Krieges, 2. Buch, 8, 3, 4.

[2]) Сравн. также евангелие Марка, 10, 21; Луки 12, 33; 18, 21.

[3]) В этом отношении важны также в «Деянии апостолов» 2, 44, 45

низма. Но они не могли при этом следовать за Платоном, который сделал коммунизм привилегией аристократии, а массам народа оставлял частную собственность. Теперь коммунизма требовали как раз народные массы.

Соединение частной собственности и коммунизма произошло таким образом: в распоряжении каждого члена общины оставили его собственность, именно собственность на *средства производства* и требовали уже просто *коммунизма потребления*, т.-е. коммунизма в потреблении средств существования.

Конечно, в теории нет этого различения: тогда не было такого ясного разграничения экономических категорий. Но к этому все больше склонялась практика.

Собственникам предоставлялось сохранять и использовать принадлежащие им средства производства, прежде всего, земельную собственность. Но все средства потребления—средства пропитания, одежда, жилище, а также деньги, на которые можно купить средства потребления,—все эти средства, принадлежащие собственникам или приобретаемые ими, должны быть предоставлены в распоряжение христианской общины. „Следовательно, общность имуществ была только общностью *потребления*. Каждый христианин, в силу братских связей, имел право на имущества всех членов целой общины, и в случае нужды мог требовать, чтобы состоятельные члены уделяли ему из своего достояния столько, сколько по его нужде ему требуется. Каждый христианин мог пользоваться имуществом своих братьев, и те христиане, у которых была какая-нибудь собственность, не могли отказать нуждающимся братьям в пользовании ею. Например, христианин, у которого нет дома, мог требовать у всякого другого христианина, у которого было два или три дома, чтобы тот предоставил ему жилище; но несмотря на то, собственник так и оставался собственником домов. Вследствие общности потребления, он должен был только предоставить жилище в пользование другого“ [1].

[1] *J. L. Vogel*, Alterthümer der ersten und ältesten Christen. Hamburg XI. 1790, стр. 47.

Легко переносимые с места на место средства существования, равно как и деньги, приносились в общину, которая избирала особое лицо, заведующее распределением этих даров.

Признание частной собственности, хотя бы только частичное, проложило брешь в том полном коммунизме, к которому стремилось христианство при своем возникновении. Но ему предстояло подвергнуться и дальнейшим смягчениям.

Коммунизм потребления, как мы уже видели, когда знакомились с государством Платона, стоит в самой тесной связи с *уничтожением семьи моногамного брака.* Это условие может быть удовлетворено двумя различными способами: общностью женщин и детей или же абсолютным отречением от половых отношений, целибатом. Платон избрал первый путь, ессеи—второй; они настаивали на полном безбрачии. В радикальнокоммунистический период своего зарождения христианство тоже стремилось покончить с семьею и браком, при чем оно избрало аскетический путь, что больше всего соответствовало покаянным настроениям того времени. Но были и такие христианские секты,—напр., адамиты, секта гностиков во втором веке,—которые проповедывали и практиковали более жизнерадостную форму уничтожения семьи и брака.

В евангелии Матфея Христос говорит (19, 29): „Всякий, кто оставит дома или *братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей,* или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную". И в евангелии Луки Христос восклицает: „если кто приходит ко мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, *тот не может быть моим учеником*" (14, 26) [1]).

Для всех первоначальных христианских общин характерно стремление хотя бы до некоторой степени уничтожить семейную жизнь. Поэтому мы находим у них то установление, что ежедневные трапезы у них *общие* (сравн. „Деяния

[1]) Сравн. также Матфея, 10, 37; 12, 46 и сл.; Марка 3, 31 и сл.; 10, 29; Луки 8, 20; 18, 29.

апостолов", 2, 46). Эти вечери, *агапии*, соответствуют общим трапезам, сисситиям спартанцев и государства Платона [1]). Они были необходимым последствием коммунизма средств потребления.

Выше мы уже говорили, что христианство не могло преодолеть ни мелкого производства, ни частной собственности на средства производства. Но с такими формами производства и собственности, стоит в необходимой связи моногамная семья,—не только в качестве формы совместной жизни мужчины и женщины, родителей и детей, но и как хозяйственная единица. Христианство не могло создать нового способа производства; поэтому оно было вынуждено допустить существование и традиционной формы семьи, как ни противоречила она коммунизму потребления. Характер общества в последнем счете определяется не организацией потребления, а организацией производства. Принципиальное отрицание семьи и брака было также несовместимо с распространением христианства в обществе, как и последовательный коммунизм. Последовательность в уничтожении семьи могла соблюдаться только в отдельных сектах и корпорациях; ей никогда не удавалось получить всеобщее распространение.

Опять оказалось, что материальные отношения сильнее идей; они господствуют над идеями. И церковь неминуемо должна была приспособлять свои учения к условиям, изменявшимся благодаря ее распространению. Так как невозможно было уничтожить коммунистическую традицию, то старались устранить ее истолкованиями и примирить с действительностью, посредством хитрых изощрений, соответствовавших тогдашней философии, занимавшейся больше умствованиями, чем исследованиями.

В своем позднейшем развитии христианство отказывается от решения проблемы бедности, от уничтожения различий между богатыми и бедными. Первые христиане еще утвер-

[1]) Правда, если верить Даумеру („Die Geheimnisse des christlichen Alterthums. Hamburg 1847), эти трапезы были не вечерями любви, а вечерями—людоедов).

ждали, что ни один богатый не может войти в царство небесное, т.-е. быть принятым в их общество, если не раздаст всего своего состояния бедным и сам не превратится в бедного: спастись могут только бедные. Теперь же эти чисто материальные условия посредством истолкований превращаются в духовные отношения.

„Церковь“,—говорит Ратцингер, характеризуя в своей „Истории попечения церкви о бедных“ (Фрейбург, 1860 г.) мысли первых учителей церкви о собственности, „была предназначена для одних бедных, богатые из нее были исключены. Но отречение от имуществ совсем не связывалось с полным отказом от них; достаточно было, если (богатый) освобождается от *чрезмерного наслаждения* имуществом, от *страсти* к нему, короче, от *жадности*... Богатый должен и свое сердце отделить от всех бренных благ; смотря на себя, как на поставленного от Бога домоправителя, он должен владеть так, как будто он не владеет, он может употреблять только необходимое для своей жизни, а все остальное, как верный управитель от Бога, должен употреблять для бедных“. Но бедный точно так же, как и богатый, не должен стремиться к обладанию бренными благами; он должен довольствоваться своим жребием и с благодарностью принимать крохи, которые бросает ему богатый (стр. 9, 10).

Какая безподобная эквилибристика! Требуется отделить уже не себя, а только свое сердце от царства бренных благ, должно владеть так, как будто не владеешь.

Но и в такой смягченной форме христианство в течение столетий достигало еще значительных результатов в борьбе с пауперизмом. Правда, оно не устранило пауперизм; но все же оно было организацией, которая с наибольшим успехом смягчала нищету, выраставшую в ее сфере на основе бедности масс. И быть может, в этом лежит важнейшая причина успехов христианства.

Однако, чем сильнее делалось христианство, тем бессильнее становилось оно по отношению к тем самым социальным проблемам, из которых оно почерпало свою мощь. Мало того, что христианство оказалось неспособным

положить конец тем различиям классов, которые оно встретило при своем возникновении: с возрастанием своей силы и своего богатства оно само порождало новые классовые противоположности. В церкви слагался господствующий класс, *клир*, в подчинении у которого стояла масса народа, *миряне*.

Первоначально в христианской общине господствовало полное самоуправление. Во главе ее стояли доверенные люди, епископы и пресвитеры, избиравшиеся членами общины из своей среды и подотчетные ей. Они не извлекали никаких выгод из своей должности.

Но когда отдельные общины стали обширнее и богаче, задачи, возлагавшиеся на представителей, возросли настолько, что сделалось невозможным выполнять их, между прочим, наряду с мирскими делами. На сцену выступило разделение труда, должности в христианских общинах составили особенную профессию, которая требовала уже всего человека. Церковные имущества теперь уже не могли употребляться исключительно на поддержку бедных; из них приходилось покрывать и расходы по управлению церковью, и расходы на здания для собраний и на содержание должностных лиц в общине.

Но кто составлял главную массу в общинѣ? Пролетарии-босяки или работающие пролетарии, очень близкие к пролетариату босяков по своему социальному положению, а потому и по умственному складу. Такие элементы никогда не были в состоянии удержать за собой власть, которая дается им демократическим строем. Они не могли достигнуть этого в церкви точно так же, как в республике. Они продали и потеряли ее в пользу *епископа*, как в Римской республике продали и потеряли в пользу *цезаря*.

Епископ должен был управлять собственностью своей церкви, т.-е. своей общины, и указывать способ употребления церковных доходов. Это отдавало в руки епископа огромную силу по отношению к пролетариату босяков; она возрастала параллельно с возрастанием церковных богатств. Епископы становились все независимее от своих избирателей, а избиратели все зависимее от епископов.

В то же время отдельные общины, которые первоначально были вполне самостоятельными, все теснее сливались в один великий союз, в общую церковь. Тожество воззрений и целей и одинаковые гонения уже давно побуждали отдельные общины вступать во взаимные сношения при помощи посланий и делегатов. Уже к концу второго столетия связь многих церквей в Греции и Азии стала настолько тесной, что церкви отдельных провинций об'единились в более прочные союзы; верховной инстанцией в них были с'езды (соборы) доверенных людей, синоды епископов. Синоды значительно ограничили самоуправление отдельных общин, и, напротив, содействовали возвышению епископов над членами общин.

Наконец, все христианские общины Римской империи слились в один союз, и уже в четвертом веке нашей эры созываются синоды (соборы) из представителей всей империи (первый в 325 году в Никее).

В синодах главная роль принадлежала епископам, являвшимся представителями самых богатых и сильных общин. Таким образом, во главе западного христианского мира оказался, наконец, римский епископ.

Развитие власти епископа совершалось не без большой борьбы и столкновений,—не без борьбы с государственной властью, которая не хотела допустить, чтобы в государстве возникло новое государство, не без борьбы между отдельными организациями и внутри организаций, между народом и клиром. В столкновениях последнего рода победа оставалась, обыкновенно, на стороне клира. Уже в третьем веке за народом почти повсюду осталось только право утверждения церковных чиновников; они выделились в замкнутую корпорацию, которая сама пополнялась, и по своему усмотрению располагала церковными имуществами.

С того времени церковь превратилась в такую организацию внутри Римской империи, которая открывала для честолюбивых людей возможность самой блестящей карьеры. С того времени, как замерла политическая жизнь, политическая карьера сделалась невозможной; военная служба почти исключительно предоставлялась наемникам-варварам, искусства и науки влачили жалкое существование, и государ-

ственное управление все более закостеневало и разлагалось. Теперь только в церкви сохранялись жизнь и движение; при помощи церкви скорее всего можно было достигнуть общественной силы. Почти все энергичные, интеллигентные элементы языческого мира обращались в христианство, а в христианстве избирали церковную карьеру. Церковь, оказавшаяся непобедимой в борьбе с государственной властью, сама начала подчинять себе эту власть.

В начале четвертого века ловкий претендент на корону Константин уже увидал, что победа суждена тому, кто расположит к себе христианского бога, т.-е. тому, кто установит добрые отношения с христианским клиром. Благодаря ему христианство сделалось господствующей, а вскоре вслед за тѣм и единственной религией в Римской империи. С того времени возрастание церковных имуществ пошло с чрезвычайною быстротою. Императоры и частные лица соперничали между собою, стараясь подарками купить благоволение новой общественной силы. С другой стороны, необходимость все более заставляла императоров поручать церковной бюрократии заведывание целым рядом государственных и муниципальных дел, выполнение которых было не под силу для разлагающейся государственной бюрократии. В вознаграждение за услуги по управлению императоры должны были предоставлять церкви определенные источники доходов.

Первоначально дары, приносимые церкви членами общины были совсем добровольными. Но с того времени, как церковь стала пользоваться защитой государственной власти, она начала стремиться к регулярным поборам. Была введена *десятина*, которая взыскивалась сначала при помощи моральных воздействий, а потом и с помощью принуждения [1]).

Церковь сделалась теперь чрезвычайно богатой, а ее клир достиг полной независимости от мирян. Неудивительно, что по мере возрастания церковных имуществ клир все более переставал заведывать ими в интересах бедноты. Клир употреблял их для себя; жадность и расточительность вторглись в церковь, особенно в таких богатых общинах,

[1]) Второй собор в Туре (567 г.) требует от верующих, чтобы они, между прочим, уплачивали десятину и от крепостных.

как Рим, Константинополь, Александрия и т. д. Из коммунистического учреждения церковь превратилась в самый исполинский механизм для эксплоатации, какой только видел мир. Уже в пятом веке в римской церкви установился прочный обычай разделять церковные доходы на четыре части. Одна часть принадлежала епископу, одна—его клиру, одна—служила потребностям культа (постройка и содержание храмов и т. под.), и только *одна* выпадала на долю бедных. Следовательно, все бедные получали как раз столько же, сколько один епископ.

В высшей степени вероятно, что и такое распределение было установлено не в интересах клира, а для защиты бедных, — с той целью, чтобы господа пастыри душ не употребляли все церковные имущества исключительно на себя.

Однако, невозможно было задушить коммунистические идеи христианства, пока сохранялись породившие их общественные отношения. Во все время существования Римской империи и в эпоху переселения народов церковные имущества считались собственностью бедных (patrimonium pauperum), и никакой учитель церкви, никакой собор не решился бы отрицать это. Конечно, расходы по управлению церковными имуществами были чрезвычайно высоки; иногда они поглощали все доходы, но такова уж особенность большинства благотворительных учреждений. И, однако, никто не стал бы утверждать, что заведующие суть собственники имуществ благотворительных учреждений.

Возможность сделать этот последний шаг, представляющий полное отрицание коммунистического начала церкви, открылась лишь после того, как вторгшиеся германцы дали для римского мира, а с ним и для церкви, основы совершенно нового общественного строя.

5. Церковные имущества в средние века.

Христианство оказалось неспособным—да иначе и быть не могло—основать новый способ производства, привести к социальной революции. Поэтому оно было не в состоянии спасти Римскую империю от падения. И если Рим, несмотря на глубокое общественное разложение, мог влачить суще-

ствование в течение нескольких веков, то он обязан этим не христианству, а язычникам-варварам, германцам. Мы уже видели, что они, как наемники и приходящие извне крестьяне, сделались опорами падающего общества.

Но напирающие германские племена не могли удовлетвориться службой в наемных войсках и положением колонов. И колонат и наемное войско, в сущности, просто обнаружили перед варварами слабость империи и познакомили с наслаждениями, которые были доступны только в Римской империи; следовательно, они только усилили стремление германцев к югу. В конце-концов, германцы затопили и захватили империю; орды сменяли и вытесняли друг друга, пока хаос не сменился спокойствием. Некоторые народы сделались оседлыми, сложились новые государства и развился новый общественный строй.

В эпоху переселения народов германцы еще стояли на ступени первобытного аграрного коммунизма. Отдельные племена, роды и общины составляли естественно выросшие товарищества, общины-марки, в которых сохранялась общинная собственность на землю. Правда, дом и двор уже перешли в частную собственность отдельных семейств. Пахатная земля тоже распределялась для пользования между отдельными семьями, но право собственности на нее сохранялось за общиной. Общине же принадлежало и пользование выгонами, лесами и водами.

С эпохи переселения народов наступил конец для бедности, которая в разлагающемся обществе приобрела характер массового общественного явления. Конечно, и в средние века нередко выступает на сцену нужда обширных масс народа; но она возникает по причине неурожаев или бедствий войны или от эпидемических болезней, а не по причине пролетаризации масс. И при том, это была нищета проходящая, а не пожизненная. Нуждающихся не покидали на произвол судьбы: община, к которой они принадлежали, предлагала им защиту и помощь.

Благотворительность церкви перестала быть фактором, необходимым для существования общества. Самая организация церкви пережила бури переселения народов, но

пережила потому только, что она приспособилась к новым условиям и совершенно изменила свой прежний характер. Из благотворительного учреждения церковь сделалась *учреждением политическим*. Ее политические функции, на-ряду с богатствами, являлись главным источником ее силы в средние века. Церковь сохранила свои богатства среди бурь переселения народов и из старого общества перенесла их в новое. Как бы много имуществ ни потеряла церковь, она сумела вновь приобрести столько же и даже больше. Во всех христианских государствах германцев она сделалась самым крупным землевладельцем, ей, обыкновенно, принадлежало до трети земли, а в некоторых странах и больше.

Огромные имущества церкви окончательно перестали быть имуществом бедных. Карл Великий хотел перенести во Францию, на-ряду со многими другими учреждениями Римской империи, распределение церковных доходов на четыре равные части. Но, подобно большинству его „реформ", и эта осталась на бумаге, или, точнее, на пергаменте. Уже через несколько лет по смерти Карла явились исидоровы декреталии, собрание беззастенчиво выдуманных и подделанных документов, которые должны были оправдать притязания папства и сделались юридическим базисом его политики. Относительно церковных имуществ декреталии утверждают, что под бедными, достояние которых имущества составляют, надо разуметь духовенство, давшее обет бедности. Эта теория получила всеобщее распространение, и с тех пор на церковные имущества смотрели, как на имущества клира. В XII веке теория получила последовательное завершение: теперь утверждали, что все достояние церкви принадлежит папе, который может располагать им по своему усмотрению.

Эти взгляды стояли в полном соответствии с фактическими отношениями,—с тем господствующим положением, которое церковь занимала в государстве и обществе, а папство—в церкви.

Эта перемена в характере церковных имуществ имела важные последствия. Она принудила ко введению *целибата*, безбрачия духовенства. По соображениям идео-

логического свойства различные направления в церкви и раньше стремились к безбрачию духовенства, иногда предписывали его, но им не удавалось осуществить это. Стремления лишь тогда увенчались успехом, когда с ними оказались связанными материальные интересы, забота *о церковных имуществах*. Пока они считались имуществом общины, и епископам принадлежало только заведывание ими, семья у духовных не могла представлять большой угрозы для их целости. Это изменилось, когда церковные имущества сделались имуществами самого клира. Теперь каждый член клира, у которого были дети, старался передать им как можно больше из церковных имуществ. „На каждом шагу повторялось то явление, что сыновья священников не только получали наследственные имущества своих родителей, но заявляли притязания и на церковные имущества, пользование которыми принадлежало родителям!" (*Giesebrecht*, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, II, стр. 406). Во-истину трогательные жалобы высказывает по этому поводу Бенедикт VIII на Тессинском соборе (между 1014 и 1024 годами): „Презренные отцы (т.-е. женатые духовные) захватывают для своих презренных сыновей обширные участки земли, обширные имения, вообще, что только могут захватить из церковных имуществ, — ибо ничем другим они не владеют" и т. д. (у *Gieseler*, „Lehrbuch der Kirchengeschichte", Bonn 1831, I, стр. 282. Гизелер направил наше внимание на связь между церковными имуществами и безбрачием духовенства). Но расточению имуществ церкви, переходу их к детям членов клира можно было поставить действительную преграду лишь с того времени, когда единовластие папы в церкви стало на прочный фундамент. С этого времени одной из главных задач папской власти сделалась борьба с браками священников. Первые шаги в этом направлении сделал Лев IX (1048—1054), а энергичный Григорий VII (1073—1085) самым решительным образом проводил запрещение брака для священников. Несмотря на то, прошло долгое время, прежде чем безбрачие священников получило всеобщее признание в странах к северу от Альп. В Люттихе еще в 1220 г., а в Цюрихе в 1230 г. мы

встречаемся с женатыми духовными, которые сохраняют свою должность и сан (*Gieseler*, там же, стр. 290).

В эпоху Реформации, когда имущества церкви были захвачены светскими государями, а духовные лица превратились в государственных чиновников, получающих определенное жалованье, совершенно естественно исчез всякий интерес к сохранению безбрачия духовенства. Протестантское духовное лицо может иметь детей, сколько ему угодно: оно не найдет церковных имуществ, которые могло бы прибрать к рукам и передать детям.

Итак, в средние века, как мы видели, церковные имущества перестали быть имуществом бедных. Но это вовсе не значит, что церковные организации ничего не делали для помощи бедным, насколько таковые были и в средние века. Правда, в первые столетия средних веков вовсе не было пролетариата в нашем смысле этого слова,— он существовал, быть может, только в некоторых городах. Но иногда, как уже упомянуто, встречалось не мало нуждающихся: во время неурожаев голодные, во время эпидемий больные, вдовы и сироты, лишившиеся семьи, которая приютила бы их, в военные времена—безземельные из соседних или далеких стран, изгнанные вторгшимся неприятелем.

Помогать таким нуждающимся считалось в средние века обязанностью каждого собственника и, прежде всего, каждого землевладельца, а, следовательно, и церкви, как крупнейшего из землевладельцев. Эту обязанность она исполняла не потому, что была особым благотворительным учреждением, а потому, что принадлежала к собственникам; следовательно, исполнение таких обязанностей было выводом не из каких-либо особых христианских принципов, а из общего, если угодно, из языческого принципа, общего для всех народов, стоящих на низком уровне культуры: выводом из требования *гостеприимства*.

Готовность делиться тем, что имеется, свойственна всем народам, у которых господствует первобытный коммунизм или хотя бы его пережитки. Чужеземец здесь настолько редкое и замечательное явление, что по отношению к нему нельзя сохранить равнодушие; смотря по обстоятельствам,—

откуда он пришел и как держится,—с ним или боролись, как с врагом, или чествовали его, как гостя, как дорогого члена семьи; ему или проламывали череп, или же предоставляли в его распоряжение дом и двор, кухню и погреб, а иногда и брачную постель.

Готовность делиться избытками, остающимися от продуктов за покрытием потребностей семьи, сохраняется все время, пока существует так называемое натуральное хозяйство, пока производство ведется не на рынок или заказчиков, не для продажи, а для *собственного потребления*. В средние века такой способ производства оставался господствующим, особенно, в сельском хозяйстве; а эта отрасль производства играла тогда решающую роль в общественной жизни.

Чем больше развивалось производство, тем обширнее становились избытки, производимые в каждом поместьи. В руках крупных землевладельцев, — королей и высшего дворянства, епископов и монастырей, — сосредотачивались колоссальные избытки средств существования, которые не удавалось продать. Землевладельцы могли только скормить их. Они пользовались избытками для того, чтобы держать многочисленных военных людей, ремесленников и художников, а также для самого широкого хлебосольства. В то время считалось в высшей степени неприличным поступком, если состоятельный человек отказывал миролюбивому чужеземцу в пище, питье и приюте.

Следовательно, если епископы и монастыри кормили голодных, одевали нагих и давали кров бесприютным, они делали то же самое, что и всякий собственник средних веков. Различие исчерпывалось тем, что духовные лица и учреждения, как богатейшие из собственников, могли делать больше других.

Но обычай гостеприимства быстро исчезает, как только развивается товарное производство, производство для *продажи*, как только открывается рынок для сбыта различных продуктов. Теперь для отдельных хозяйств стало возможным обменивать свои избытки на деньги, этот великий источник могущества, которых никогда нельзя иметь слишком много,

которые не истлевают и потому обладают способностью к безграничному накоплению. Готовность делиться излишками сменяется жаждою к наполнению амбаров сокровищами, щедрость убивается жадностью.

Так-называемое денежное хозяйство, вытеснявшее натуральное, из Италии и южной Франции в XIII веке быстро распространилось по всей Европе. Чем дальше прогрессировало оно, тем больше ограничивали собственники свое гостеприимство и щедрость.

Но, по мере того, как исчезала щедрость, возрастало число бедных. Развитие товарного производства порождало пролетариат, который становился все многочисленнее и в некоторых странах вырос в значительные массы.

Казалось, вновь должен повториться тот процесс, который в древнем мире сначала возвел некоторые государства на высоту, но потом повел к их разложению и упадку.

Что так не случилось, этим средневековое общество обязано тому, что из процесса производства исчезло рабство.

6. Отмирание рабства.

По широко распространенному воззрению, христианство уничтожило рабство. Ничего не может быть ошибочнее такого представления. Возможно, что при своем коммунистическом зарождении христианство принципиально отвергало рабство. Тем не менее, у нас на этот счет не имеется никаких сведений. Что касается древнейших памятников христианства, дошедших до нас, то они, если только упоминают о рабстве, признают его и даже призывают раба к послушанию и добровольному подчинению своему господину.

Впечатление, будто христианство устранило рабство, вытекает из того, что рабство шло на убыль в Римской империи параллельно тому, как учение христианства завоевывало почву. Но мы уже познакомились с причинами убыли рабства. Упадок военной силы, следствие обеднения и обезлюдения империи, в свою очередь стоявших в связи

с рабовладельческим хозяйством, — вот что было причиной крушения военного счастья, а вместе с тем сокращения числа военнопленных и, следовательно, добывания новых рабов. Таким образом, раб становился все более дорогим предметом роскоши и переставал быть об'ектом прибыльной эксплоатации.

В результате рабство почти уже исчезло в Римской империи, когда германцы в эпоху переселения народов наводнили и захватили ее. Германцы завладели частью завоеванной земли, сделались оседлыми, и их несломленная крестьянская сила обновила государство,—или, вернее, государства, которые возникли на развалинах мировой Римской империи.

Но этой новой силе не надо было опять создавать новое рабовладельческое хозяйство. Едва германские племена сделались оседлыми и приняли христианство, т.-е. до некоторой степени познакомились с остатками римской культуры и римского способа производства, как на них со всех сторон устремились полчища беспокойных, легко передвигающихся народов, кочевников и мореплавателей: аваров и венгров с востока, норманнов с севера, сарацин с востока и юга. Непрерывные вторжения этих хищников терзали западноевропейский христианский мир с VIII по XI столетия и часто угрожали самому его существованию. Далекий от того, чтобы эксплоатировать рабов, христианский мир сам становился об'ектом широкой и прибыльной эксплоатации для охотников за рабами и работорговцев. У „язычников" было множество рабов-христиан; напротив, у христиан язычники-рабы становились все более редкими и дорогими.

Вполне они не исчезли на рынках христианского мира. Даже для XIII и XIV веков приводятся примеры торговли рабами в Италии. В 1307 году Амадей VI Савойский купил в Константинополе двух рабынь. В 1384 году одна рабыня-татарка, „свободная от всех тайных болезней" (magagnis), стоила в Генуе 1049 лир, в 1389 году другая — 1312 лир. Работорговцы получали свой товар обыкновенно из Каффы. В городских уложениях этого времени все еще содержатся

многочисленные постановления о рабах (*Jul. Krone*, Fra Dolcino und die Patarener, historische Episode aus den piemontischen Religionskriegen. Leipzig 1844, стр. 16).

Эти рабы были только рабами для роскоши. В то же время сделалось невозможным построить производство на рабском труде. Новый способ производства, развившийся в германских государствах из воспринятого римского способа производства, должен был с самого начала устраиваться без рабов.

Конец рабству положила необходимость, недостаток материала для рабства, а не мучения христианской совести. Это видно из того, что когда христианство усилилось и снова перешло в наступление против „неверных", как раз передовые борцы христианства первые обратились к эксплоатации рабов и работорговле. Крестоносцы точно так же, как позже испанцы и португальцы в Африке, с величайшим усердием эксплоатировали рабов и занимались работорговлей. Папа Николай V в булле от 8 января 1454 года без всяких недомолвок заявил, что позволительно „всех сарацин, язычников и других врагов Христа приводить в вечное рабство", а Климент V (1523—1534) распространил это „право" и на всех еретиков (*Ludw. Kelfer*, Die Reformation und die älteren Reformparteien, Leipzig 1885, стр. 480). Но развитие способа производства приняло тогда такое направление, что рабский труд сделался для Европы излишним.

Раб стал предметом роскоши. Это изменилось, когда европейские государства завоевали и основали заморские колонии: там они не нашли предпосылок для европейского способа производства, там было выгодно пользоваться рабским трудом. С этого времени охота за рабами, торговля рабами и истязания рабов опять играют видную роль в промышленной жизни европейско-христианского мира, и опять ни Римская, ни какая-либо из крупных протестантских церквей не видят в этом ничего отталкивающего.

Производство, основанное на рабском труде, сделалось невозможным в христианско-германских государствах, возникших после переселения народов, как оно сделалось невозможным в Римской империи; и как в Риме на место его

выступил в земледелии *колонат*, так теперь возникли аналогичные отношения, иногда стоящие в прямой преемственной связи с римскими образцами.

Согнать разорившихся крестьян с их мест было бы тогда великою глупостью. Ощущался большой недостаток не в земле, а в людях. Богачи и знать в христианско-германских государствах, епископы и аббаты, короли и герцоги со своими свитами и фаворитами и не помышляли о том, чтобы крестьянское хозяйство заменить хозяйством, основанным на рабском труде; напротив, они старались использовать нужду крестьян, приводя их в зависимость от себя, обязывая отбывать оброки и барщины. Зато они снимали с крестьянина те тягости, которые убивали его, делали невозможным правильное крестьянское хозяйство,—снимали прежде всего тяжесть службы в войсках.

Крестьяне один за другим отдавались под защиту какого-нибудь сильного человека и обязывались впредь доставлять ему ежегодно определенное количество продуктов своего хозяйства и работать на него определенное количество дней. Отбывая повинности, крестьянин освобождался от военной службы, которую впредь исполнял его патрон-землевладелец со своей дружиной и слугами.

Существовал и другой путь для развития крестьянской зависимости. От римской эпохи в христианско-германских государствах сохранились многочисленные латифундии (огромные имения), в особенности латифундии церкви, которая превосходно умела блюсти свои интересы. Новое крупное землевладение было создано благодаря королевским пожалованиям. Постоянные войны то и дело похищали у земли ее господ. Много земли высвобождалось и вследствие прогресса земледелия. Население определенной величины, живущее земледелием, „требует для своего пропитания значительно меньшую площадь земли, чем в том случае, если оно живет скотоводством или в особенности охотой. Неизмеримые леса, дававшие пропитание населению, прежде были общинной собственностью общины-марки. Теперь они потеряли для нее прежнюю ценность. Короли захватывали их, равно как и прочие пустоши, дарили своим фаворитам и знати, в особен-

ности епископам и монастырям, или отдавали в ленное владение. Чтобы извлечь пользу из собственности, новый землевладелец старался привлечь крестьян в качестве колонистов, раздавая им, под условием выполнения определенных повинностей, крестьянские наделы,—разумеется, с общинными выпасами и общинными лесами, без чего крестьянское хозяйство было немыслимо.

Стараясь привлечь как можно больше новых крестьян, землевладелец еще больше заботился о том, чтобы крестьян не сманивали от него. Для прикрепления крестьян он употреблял все доступные для него средства: нравственные и безнравственные, законные и противоречащие всякому праву. Свободные до того времени крестьяне впредь должны были не только нести определенные платежи, но и теряли *личную свободу, становились вассалами.*

Но как бы ни были угнетены крестьяне, они все же высоко стояли над рабами. Раб—чужеземец для страны, в которой он живет, чужеземец даже для остальных рабов; у него нет никаких прав, он—простая вещь; ему совсем не на что опереться, чтобы стойко вести борьбу за освобождение своего класса. Конечно, нам известны восстания рабов; но это—преходящие вспышки, которые при наиболее благоприятных условиях могли доставить свободу участникам восстаний, но не оказывали никакого влияния на самое учреждение рабства. Это были попытки убежать от рабства, но не уничтожить его. Отмена рабства нигде не была результатом стойкой классовой борьбы самих рабов.

Совсем иначе обстояло дело с феодально-зависимыми крестьянами средних веков. Они не были бесправными, их барщины и оброки были точно определены и не повышались по первому требованию феодала: повышение приходилось вынудить или выторговать у крестьян. Зависимый крестьянин—и вассал, и свободный—принадлежал к общине, которая была солидарна с ним, как и он с общиной. В этой организации он всегда находил сильную опору. Опираясь на нее, крестьянин мог оказать—и часто оказывал—серьезное сопротивление своему сеньеру. Через все средневековье проходит классовая борьба крестьян с сеньерами. При налич-

ности благоприятных условий, она часто заканчивалась освобождением крестьян не только от феодальной зависимости, но и от повинностей,—заканчивалась, следовательно, устранением сеньериального господства.

Но еще благоприятнее, чем для крестьян, сложились условия для городских *ремесленников*. В конце-концов они повсюду стряхнули с себя зависимость от сеньеров.

Ремесленники, пользуясь свободой, в христианском культурном мире с XII века, когда он отразил наступавших на него врагов, быстро развили технику, которая стояла выше техники древнего мира и дала им благосостояние и положение, послужившие источником новой силы для борьбы с несвободой.

Таким образом, христианских государств в Европе не затронуло рабство,—то общественное отношение, которое делало возможным прогресс древнего общества лишь до известного пункта, после которого он превращался в регресс.

Благодаря этому пролетарские и коммунистические движения приобрели иной характер, чем в древности. Тогда пролетариат не был низшим из всех классов. Он видел, что ниже его стоят рабы, и часто стремился жить за их счет, т.-е. их, а не своим собственным трудом. Поскольку же пролетарии древности были не пролетариями-паразитами, а работниками, ремесленниками, они заметно заражались этими босяцко-пролетарскими настроениями. Общий характер всего пролетариата в древнем мире определялся пролетариатом босяков, ведущим паразитическое существование в обществе, живущим на его счет.

Иначе в средние века. Пролетариат становится теперь низшим из всех классов. Ниже его нет ни одного класса, эксплоатацией которого он мог бы существовать. Уже благодаря этому паразитическая его часть, пролетариат босяков, не могла так сильно количественно вырости, как в некоторые времена в некоторых городских центрах древнего мира. Для него не существовало надежды сделаться силою в государстве, какой был, напр., пролетариат босяков в древнем Риме; но не было и надежды вести, опираясь на свою силу, такое беззаботное существование, какое иногда вела боль-

шая часть этого пролетариата в Риме. Жалкое нищенское существование,—вот все, чего он мог достигнуть при таких обстоятельствах.

Но если пролетариат босяков в средние века был несравненно малочисленнее и много слабее, чем в древнем мире, то, с другой стороны, над ним возникло сословие свободных ремесленников и наемных рабочих, которое пользовалось значительно большей силой и влиянием в обществе, чем его предки в древнем мире. Из труда оно почерпало свою силу и свое положение, труд был его жизненной стихией. Не на труде других, а на своем собственном труде оно стремилось построить свое благополучие. Возможно, что в этих кругах были некоторые совершенно пролетарские слои, склонявшиеся по своему экономическому положению к коммунизму, подобному коммунизму первоначального христианства,—коммунизму потребления, а не производства. Однако, пусть этот коммунизм ссылался на первоначальное христианство, пусть он внешне походил на последний: чем дальше шло время, чем больше развивалось ремесло и наемные рабочие становились сильнее, тем более коммунизм пролетарских элементов, все еще оставаясь коммунизмом потребления, становился коммунизмом, извлекавшим свои доходы из *труда*, из труда *сотоварищей*. В городах, где господство принадлежало мелкому ремесленному производству, этот коммунизм потребления не мог повлечь за собою коммунистического производства. Иначе складывались отношения в деревне, в земледелии, где домашнее хозяйство и производство еще не обособились друг от друга, где коммунизм домашнего хозяйства вел за собою и коммунизм производства, и где крупное производство, объединявшее земледелие и промышленность, издавна представляло сильно распространенную форму производства.

Таков был базис, на котором возник монастырский коммунизм.

Если первоначальный христианский коммунизм был крупно-городским явлением, то монастырский коммунизм,—как раньше у древних евреев коммунизм ессеев—возник сначала в деревне.

Но как бы велики ни были различия средневекового коммунизма в городе и деревне, обычно это был коммунизм, построенный на *труде*. Этим он отличается от первоначально-христианского коммунизма. От современного же он отличается тем, что, подобно первоначально-христианскому коммунизму, за исходный пункт для себя берет общее владение и общее пользование не *средствами производства*, а средствами потребления.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Наемные рабочие в средние века и в эпоху Реформации.

1. Возникновение ремесла.

Как первоначально была организована промышленность в средние века? Каждое хозяйство само производило все, в чем оно нуждалось. Каждое крестьянское хозяйство—мы должны представить его не в форме карликового хозяйства, но в форме домашней общины, большой семьи, об'единявшей несколько поколений: отца с его женатыми сыновьями и внуками, а иногда и с правнуками,—каждое такое хозяйство не только производило сельско-хозяйственные сырые продукты, но и перерабатывало их в муку и хлеб, в пряжу и ткани, в орудия и утварь и т. д. Крестьянин для своего хозяйства служил архитектором и плотником, столяром и кузнецом.

Потребности сеньеров вообще были много обширнее, чем потребности крестьян; но и для помещика все, что ему требовалось, производилось в его дворе, в его усадьбе (Fronhof) или в хозяйствах зависимых крестьян. В его распоряжении было больше рабочих сил, чем у крестьян: средствами существования, которые должны были отдавать ему крестьяне, он мог прокармливать многочисленную, обыкновенно, несвободную дворню, кроме того, он мог располагать каждым крестьянином в течение определенного количества дней в году (барщинные дни). Поэтому он мог организовать известное разделение труда: одни занимались исключительно или преимущественно строительными и плотничьими работами, другие делались кожевниками, третьи выковывали оружие и т. д.

Так складывались зародыши средневекового режима.

В Италии и южной Франции, где сохранились города от римской эпохи, сохранились и остатки городского, свободного ремесла. Но в Германии по сравнению с ремеслом при поместьях они не имели почти никакого значения.

Когда рабочий приобретал особенное искусство в своем ремесле, становилось неразумным употреблять его на другие работы. Если поместье не требовало всей его рабочей силы, он начинал работать на других, на соседние крестьянские хозяйства или на поместья, которые были слишком малы, чтобы держать или выработать такого мастера. Конечно, рабочий не мог работать на сторону, не получивши разрешения от своего сеньера и не вознаграждая его оброком.

Мы видим здесь зарождение *работы на заказчика*.

Рядом с нею скоро выступает и *работа на рынок*.

Некоторые усадьбы—резиденции императоров, королей и епископов—в особенности привлекали население из ближних и отдаленных областей. Там собирались военные люди, дружина, чиновники, туда же по временам направлялись толпы всякого люда: к праздникам и увеселениям и для судебных разбирательств и торжеств разного рода. В этих местах сосредоточивались все богатства страны. И купцов—в Германии на первых порах обыкновенно иностранцев, итальянцев, и евреев,—тоже привлекали такие усадьбы. Купцы легче всего находили здесь сбыт для своих товаров; ремесленники тоже скорее всего могли ожидать, что здесь они скорее всего обменяют свои продукты на другие.

Места, связанные с такими поместьями, сделались рынками. Население и богатство их возрастало; поэтому у них раньше, чем в других местах, явились средства для возведения укреплений; и подумать об этом им пришлось очень рано, так как они больше всего привлекали жадность грабителей. Благодаря укреплениям, эти места сделались *городами*.

Если большое население и богатства побуждали возводить укрепления, то укрепление и обезпечиваемая им безопасность в тогдашние беспокойные времена, в свою очередь, служили новою причиною роста городского населения и богатств.

Таким образом в Германии с VIII века, а в других странах западно-христианского мира в более раннее или позднее время, возникает сеть городов.

Только немногие города с самого начала были свободны. Большинство развилось из феодальных деревень, их обитатели стояли под властью одного или нескольких сеньеров. Но чем больше возрастали богатства и население городов, тем легче могли они обойтись без защиты сеньеров, тем более оброки и службы, исполнявшиеся для поместий, превращались в ненужные тягости, и тем больше возрастала сила городов, необходимая для освобождения от феодальной зависимости. Горожане все решительнее выступали против своих сеньеров, пока им не удалось, наконец, повсюду добиться свободы.

Развитие городов, конечно, отразилось и на положении ремесленников. Составляя очень значительную часть городского населения, ремесленники принимали живое участие в борьбе против сеньеров и извлекали свою долю пользы из успехов в этой борьбе.

Города не только открывали рынок для продуктов ремесленного производства, но и давали защиту ремесленникам. Рядом с ремесленниками поместья, в городе стали селиться и другие ремесленники, как свободные, уже занимавшиеся ремеслом или впервые обращавшиеся к ремесленным занятиям, так и бежавшие из усадеб феодально-зависимые и крепостные крестьяне. Тогда еще не было избытка ремесленников. Напротив, города были довольны, если их население возрастало: благодаря этому возрастало их благосостояние и сила. Они давали защиту беглым крепостным и феодально-зависимым. Беглецы становились свободными, если они оставались в городе неотысканными в течение года. Сами ремесленники смотрели на вновь прибывающих товарищей по профессии не как на конкурентов, а как на товарищей по борьбе, и потому радушно встречали новых горожан. Наряду с зависимыми и крепостными ремесленниками возрастало число свободных ремесленников. Первые объединялись со вторыми, влияние и сила их увеличивались, и несвободные становились все самостоятельнее. Службы и

натуральные оброки заменялись денежными оброками. На несвободных ремесленников распространялась „свобода рынка"—право свободной, беспрепятственной купли-продажи. Наконец, получил всеобщее признание тот принцип, что всякий живущий в городе уже в силу этого становится лично-свободным.

Ремесла одно за другим исчезают в поместьях, и одно за другим становятся исключительно городскими. Помещикам приходится теперь покупать в городах, как товары, продукты, которые прежде производились в их поместьях.

Ремесло окончательно перестало быть областью для деятельности несвободных людей. Когда его развитие завершилось, мы встречаем среди ремесленников уже только свободных людей; ремесло процветает и пользуется большим уважением.

В разных местах и для различных ремесл это развитие совершалось в разное время. Вообще же можно сказать, что оно начинается в XI и заканчивается в XIV веке.

Золотых дел мастера уже к концу XI века, кроме барщиной работы для поместья, начали выполнять работы на рынок. Их труд уже тогда настолько потерял подневольный характер, что и свободные занимаются им (*Hans Meyer*, Die Strassburger Goldschmiedezunft von ihrem Entstehen bis 1681. Leipzig 1881, стр. 154). С другой стороны, в Бонне еще в XIV веке право ткать было своего рода службой, стоявшей в зависимости от поместья (*Maurer*, Geschichte der Städteverfassung in Deutschland. Erlangen 1870 II, стр. 328).

2. Цехи.

Средневековым ремесленникам пришлось вести борьбу не только против городских сеньеров. Не меньшую важность для них представляла борьба против городских патрицианских родов.

Как мы видели, город первоначально был не что иное, как обнесенная стенами деревня. Деревня же была организована в общину-марку. Такое устройство сохранилось и в городе. Территория города, городская марка, подобно территории деревни, деревенской марке, распадалась на две

части: поделенную и общинную марку (выгоны, леса, воды). Все жители марки, ведущие собственное хозяйство, были совладельцами земель марки, совокупность их составляла автономную, управляющуюся собственными законами общину. Там, где в марки проникло феодальное право, сеньеры получили всевозможные привилегии: они были постоянными представителями марки; постановления собрания марки нуждались в их утверждении. Так сложился особого рода конституционный режим.

Сначала община марки охотно принимала, как товарища, всякого новаго переселенца. Земля была в изобилии, и не доставало людей, которые обработали бы ее. Это изменилось прежде всего в городах благодаря быстрому возрастанию их населения. Здесь скоро исчез излишек земли, и старые, коренные жители в конце-концов стали бояться повредить себе, предоставляя новым переселенцам пользоваться угодьями марки. Община марки превратилась в замкнутое общество, которое уже не принимало новых сочленов или принимало их только в исключительных случаях,— когда это сулило ему особые выгоды.

Рядом со старинными родами в городской марке образовался второй слой жителей,—слой позднейших поселенцев; они были совсем устранены от пользования общими городскими землями или пользовались ими лишь в ничтожной мере; они не принадлежали к общине марки, и потому не принимали никакого участия в управлении ею. Но управление маркой было тожественно с управлением городом. Поэтому новые горожане оказались политически безправными. Старые же образовали городскую аристократию.

На первых порах новых горожан просто терпели в городе, как людей, нуждающихся в защите. Но с течением времени численность и богатства их увеличивались. В их рядах оказались очень многие купцы, к ним же принадлежало большинство ремесленников. Они начали приходить к самосознанию и требовать участия в городском управлении. Раньше или позже, в некоторых городах в XIII, в других в XIV веке, новые горожане начинали борьбу против патрицианского строя, и в заключение, в XIV или XV веке, им

почти везде удалось свергнуть его и добиться участия в управлении.

Общинная земля не была отобрана у патрициев. Где таковая еще сохранилась и оставалась неподеленной, община марки продолжала существовать в пределах городской общины, как замкнутое товарищество. Таким образом городская община теперь уже не совпадала с общиной марки. В основе городского устройства лежал—по крайней мере в Германии — уже не строй марки, а *цеховое устройство*.

Продолжительная борьба многолюдных масс невозможна без организации. Должны были организоваться и ремесленники. Прообраз организации они нашли в *общине марки*. Уже в богатых усадьбах, где было много ремесленников, рабочие каждой профессии организовались в товарищества, руководимые мастером. Правда, товарищества эти сложились не для борьбы, а для производства и управления; но когда открывалась борьба зависимых рабочих против сеньеров, товарищества служили и военным целям. Освободившись от феодальной зависимости, ремесленники продолжали поддерживать свои организации. Но из зависимых ремесленных учреждений последние превратились в свободные *цехи*.

Свободные ремесленники в городах в свою очередь нередко основывали для взаимной защиты организации, которые с самого начала были свободными и самоуправляющимися. Эти свободные цехи оказывали влияние на зависимые и поддерживали их во время борьбы. Постепенно оба вида товариществ становились тожественными, и по уничтожении в городах феодальной зависимости мы находим только свободные цехи.

В большинстве городов свободные цехи образовались уже в XII или XIII веке, в других—несколько позже. С другой стороны, не все ремесла в одно и то же время приступили к организации в цехи. В первых рядах шли наиболее богатые и такие, которые насчитывали наибольшее количество членов. Самыми старыми были, кроме купеческих цехов, цехи шерстоткачей и портных. За ними следуют цехи башмачников, пекарей, мясников и т. д. Случалось и так, что отдельные ремесла были слишком слабы, чтобы

организоваться в самостоятельный цех. Чтобы воспользоваться защитой организации, им приходилось примыкать к цеху какого-нибудь другого ремесла. Так, банщики, напр., входили в Рейтлингене в цех мясников, а в Эсслингене в цех скорняков.

Всякий горожанин при первой же возможности вступал в какой-нибудь цех. Даже проститутки организовали свои цехи, напр., во Франкфурте, Женеве, Париже, где они под покровительством св. Магдалины занимались своим „горизонтальным ремеслом“ (*Maurer*, ранее цитированная работа, II, стр. 471). Но не у всех была счастливая возможность организоваться в цехи, как и в настоящее время не все пролетарии могут организовать профессиональные союзы. Всегда оставались многочисленные профессии, которые обезпечивали занимавшимся ими слишком скудное существование или считались слишком презренными; они не могли ни сорганизоваться в самостоятельные цехи, ни добиться приема в какой-либо из существующих. На эту „жалкую чернь“ цеховые ремесленники взирали с такой же надменностью, как патриции—на них самих; у цеховых ремесленников не было и мысли о том, чтобы выступить за эти низшие слои населения.

Так рядом со старинными гражданами в городах поднимался второй слой привилегированных.

Но чем больше принадлежность к цеху вырождалась в привилегию, тем сильнее развивался внутри ремесла новый классовый антагонизм: противоположность *между мастерами и подмастерьями*.

3. Возникновение подмастерьев.

Массу наемных рабочих в городах составляли *ремесленные подмастерья*. Довольные, мирно жили они, „без темной зависти, которая с неудовольствием смотрит на жизнь выше стоящих“, гордые своим званием, в „полной зажиточности“, получая „справедливую часть продуктов своего труда“. Чего бы еще, кажется, требовать им? Подобно мастерам, они стояли под „защитою цеха“, который разбирал споры между ними и мастерами и отстаивал „все их права“: они

принадлежали к семье мастера, ели за его столом, стояли в одном положении с его детями и приучались к честному, нравственному образу жизни, чтобы сделаться достойными чести быть возведенными в звание мастера, на которое смотрели, как „на Богом дарованную должность". К этой чести подмастерье приближался с таким же благоговением, как духовный — к посвящению во священники, или дворянин—к возведению в звание рыцаря. „Ремесленники в цехах все еще жили во взаимной братской любви и верности" и работали „не просто ради заработка, а по заповеди Божией"; принципы „равенства и братства" сохраняли еще свое значение в цехах.

Так изображают друзья цехового устройства и поклонники средневековья положение подмастерьев в эпоху процветания цехового ремесла. А из этих изображений известные круги в настоящее время сделали тот вывод, что стоит лишь возродить цеховое устройство,—и классовые противоречия рабочих и предпринимателей будут устранены, и водворится социальная гармония. Цехи, говорят, как нельзя больше пригодны для того, чтобы защищать интересы не только мастеров, но и подмастерьев.

Иоганн Янсен—самый молодой из выдающихся немецких историков, которые так идиллически рисуют положение ремесленных подмастерьев на исходе средних веков [1]). Выше мы приводили отчасти его подлинные слова. Но нельзя не задуматься над тем обстоятельством, что в качестве доказательства благосостояния подмастерьев он между прочим и даже в особенности приводит *жалобы* властей, мастеров и буржуазных писателей на несносную *роскошь и высокомерие* подмастерьев. Если бы такие жалобы обладали доказательной силой, то ничего не стоило бы показать, что наемные рабочие во все времена находились в счастливейшем положении.

---

[1]) *Johannes Janssen*. Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters, I, стр. 315—342. (Часть первого тома переведена на русс. язык: *I. Янсен*. Экономическое, правовое и политическое состояние германского народа накануне Реформации. С.-Пб. 1898 г. О положении средневековых подмастерьев см. стр. 52—83 этого издания Янсена. И. С.).

Если поближе исследовать факты, то откроется совершенно иная картина, чем идиллия, нарисованная Янсеном [1]).

Первые сообщения о ремесленных подмастерьях или „кнехтах“ (слугах), как они раньше назывались, относятся для Германии к XIII веку. Раньше ремесленники держали подмастерьев только в единичных случаях, так что не было никакого повода упоминать о них. У страсбургских шерстоткачей даже в XIII веке нет и речи о подмастерьях, и даже в XIV веке подмастерья и мастера выделяются очень слабо (*G. Schmoller*, Die Strassburger Tucher—und Weberzunft. Страсбург 1879 г., стр. 383, 451).

[1]) Не многие из новейших исторических сочинений привлекали такое внимание, как работа Янсена; это, в известной мере, заслуженное внимание. Янсен нанес сильный удар либеральной протестантской легенде о Реформации; он показал, что за религиозными фразами Реформации скрывались очень материальные интересы. Конечно, научный социализм указал на это раньше Янсена, притом без его односторонности, так как он вскрыл действие материальных интересов не только на протестантской, но и на католической стороне. Однако для большой публики это было новостью. Точно так же поразилась она, когда было показано, что люди, так чтимые современными апостолами порядка, Лютер и его товарищи, были *революционерами*, стремились к революционным целям с революционными средствами. Многое в работе Янсена представит интерес для исследователя, уже знакомого с эпохой Реформации. В этом—заслуга Янсена. Но мы очень остерегались бы рекомендовать его работу большой публике, как соответствующее истине изложение. Мы не знаем ни одного современного исторического сочинения, которое могло бы сравняться по *тенденциозности* с работою Янсена. Он дает двоякое изложение социальных отношений в начале Реформации. Сначала он показывает только *хорошие* стороны этих отношений, действительные или воображаемые; так счастлива, думает он, была Германия при господстве католицизма. Потом изображаются *темные* стороны общественных отношений в начале XVI века; смотрите, восклицает Янсен, до чего довели Германию неверие позднейших гуманистов, римское право и протестантизм!

К этому надо прибавить еще особенный способ «изложения источников». Янсен извлекает из источников не *характерное*, а *подходящее* для его целей; он сообщает не просто *факты*, но—и даже главным образом—*суждения* и *пожелания*, которые он смело превращает в факты, если это соответствует его целям. Один статут католического цеха рекомендует «цеховым подмастерьям» жить «в братской любви и верности», один католический трактатец заявляет, что ремесленник работает не ради заработка, но ради заповедей Божиих: разве это не «документальные

До XIV века условия для образования особого сословия подмастерьев были в высшей степени неблагоприятны. Как мы уже видели, ремесленники отчасти еще были феодально-зависимыми в усадьбах крупных сеньеров, отчасти свободными, но не полноправными гражданами. Только землевладельцы, общинники городской марки, обладали политическими правами; организации ремесленников едва признавались законом и были прежде всего *организациями борьбы*. В каждом приходящем извне ремесленнике или во вновь обращавшемся к ремеслу приветствовали товарища по борьбе, подкрепление для цеха; не было никаких оснований исключать его из цеха: напротив, прилагались всевозможные усилия для его привлечения. Такой смысл имело в эту эпоху

доказательства» честности и верности католиков? Один католический поп пишет, что реформация церкви необходима: разве это не ясное доказательство, что церковь могла быть реформирована без насильственного переворота, без разрыва с папством, притом так, что Германия осталась бы единой и счастливой? К чему, напротив, привел протестантизм? Протестантские священники в своих проповедях и сочинениях жалуются — такова уж должность пастора,—что мир становится изо дня в день безбожнее: не ясно ли после этого, как Реформация испортила людей? Это подтверждают, ведь, стоящие выше всяких подозрений—протестантские «источники».

Пусть даже цитаты Янсена правильны: благодаря особому способу их сопоставления и использования построенное на них изложение становится *фальсификацией*. Оно не становится лучше благодаря манере, вошедшей в моду среди германских историков со времен Момсена, отношения прежних времен называть современными именами и таким способом буквально принуждать читателя к тому, чтобы он отрешился от исторических особенностей старого времени и начал мерять его нашею меркой. Как Момсен, говоря о древних римлянах, оперирует словами и понятиями современного капиталистического способа производства, так и Янсен делает по отношению к средним векам и эпохе Реформации. «Церковное право», говорит он в одном месте (т. I, стр. 412), «заявляет, что *только труд создает стоимость*». Но это положение доказывается у Янсена только благодаря тому, что действительное его значение остается в полном тумане для автора. Точно так же он любит говорить о «праве на труд», которое будто бы гарантировали цехи. Для кого и каким способом, это мы еще увидим.

В конце-концов нельзя рекомендовать работу Янсена тому, кто искал бы действительных, чуждых тенденциозности знаний.

положение, что только принадлежащие к цеху имеют право на занятие ремеслом. (Сравн. *G. L. v. Maurer*, ранее цит. раб., II т., стр. 393). Еще в 1400 году страсбургские ткачи постановили: без всякого промедления, *не требуя отбытия срока ученичества*, принимать в цех всякого, кто, по мнению пяти членов цеха, был честного происхождения (*Schmoller*, стр. 402).

Техника ремесла все еще оставалась до крайности примитивной и не требовала сотрудничества многих, или кооперации. Всякий ремесленник легко мог приобрести себе инструменты и другие средства производства. Во многих ремеслах сырые материалы доставлялись тогда еще заказчиком, и ремесленник перерабатывал их обыкновенно в доме заказчика. Большинство ремесленников были слишком бедны для того, чтобы держать подмастерьев. Никого из ремесленников не принуждали работать в качестве подмастерья: ни технические, ни экономические условия, ни законодательство ни для кого не служили препятствием работать самостоятельно. Откуда могли бы при таких условиях явиться ремесленные подмастерья?

Все это изменилось с XIV века. Развилось особенное сословие подмастерьев с особенными правами; ученичество приняло определенные формы. Маурер полагает (цитир. работа, II, стр. 367), что рыцарство послужило прообразом для новой организации ремесла: как рыцарство различало пажей, оруженосцев и рыцарей, так цеховое ремесло—учениковъ, подмастерьев и мастеров; но, разумеется, и другие обстоятельства могли оказать важное влияние на подразделение ремесленников.

В XIV веке ремесло сделалось важнейшим промыслом для городов: ремесло по своему значению все более поднималось не только над *земледелием*, но и над *торговлей*. Ремесленники становились все более зажиточными, цехи—все более сильными и влиятельными; их роль в городском управлении становилась все более важной.

Благодаря зажиточности, у отдельных ремесленников явилась возможность держать подмастерьев. Цехи завоевали для себя право на участие в законодательстве и, следова-

тельно, завоевали возможность поставить свои особые интересы под защиту общества. И те самые условия, которые лежали в основе этого развития, создали элементы, из которых ремесленные мастера могли набирать подмастерьев.

Прогресс ремесла и торговли и в деревенском мире вызвал переворот в общественных отношениях. Когда нам придется говорить о причинах крестьянских войн, мы подробнее остановимся на этом перевороте. Здесь же просто заметим, что он не только привел к крестьянским войнам но и создавал постоянный прилив к городам оторванных от земли деревенских жителей, которые искали защиты, свободы и благосостояния.

Исследования *Бюхера* в его превосходной работе о населении Франкфурта на Майне в XIV и XV веках, ясно показывают, насколько силен был приток в (сравнительно) крупные города извне, т.-е. из деревень, местечек и мелких посадов [1]).

Так, прирост мужского населения Франкфурта выражается в следующих цифрах новых граждан христианского исповедания (исключены сыновья местных граждан):

Годы:	Прирост.	Средний прирост в годъ.
1311—1350	1293	32
1351—1400	1535	31
1401—1450	2506	50
1451—1500	2537	51

Следовательно, чем более мы приближаемся к XVI веку тем сильнее становится приток населения.

Все более расширяется и область, из которой выходят новые граждане. Из каждых 100 горожан Франкфурта пришло из окрестностей, находящихся от него на расстоянии:

	до 2 миль	2—10 миль	10—20 миль	свыше 20 миль.
1311—1350	54,8	35,5	6,5	3,2
1351—1400	39,4	42,9	11,1	6,6
1401—1450	22,9	54,4	12,6	10,1
1451—1500	23,2	51,2	11,3	14,3

[1]) Сравн. также интересную рецензию Карла Лампрехта на эту книгу Бюхера в «Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik», Tübingen 1888, I, стр. 485 и сл.

Не все прибывавшие извне принимались в число граждан чем сильнее преобладали среди устремлявшихся в города пролетарские элементы, тем быстрее возрастали ряды беспокойного населения. У нас нет никаких данных, чтобы статистически установить численность таких элементов, и потому приходится довольствоваться простым указанием, что в германских городах конца XV и начала XVI века число *бедных* увеличилось невероятно. В 1451—1538 г. они составляли, пожалуй, до 16—24% населения Гамбурга; в 1520 году в Аугсбурге было, вероятно, до 2,000 круглых бедняков. Откуда явились они, мы можем только догадываться: но всевозможные соображения говорят за то, что пролетаризация деревенского населения сыграла большую роль в изумительном росте числа городских босяков.

Новые поселенцы, конечно, искали прибежища прежде всего в ремесле или по меньшей мере стремились обучить ремеслу своих детей. У ремесленных мастеров теперь оказалось достаточно подмастерьев и учеников,—даже больше, чем хотелось бы им. Подмастерья, конечно, старались при первой же возможности сделаться самостоятельными мастерами: число ремесленников возрастало быстрее, чем спрос на продукты их труда. Если раньше цех с открытыми объятиями принимал каждого нового товарища по ремеслу, так как это увеличивало силу цеха, то теперь он видел в каждом новом пришельце нежелательного конкурента с товарищами, и без того уже слишком многочисленными. Основою силы цеха были теперь уже не кулаки, а кошельки, которыми обладали члены; а кошельки раздувались тем больше, чем меньше была конкуренция внутри ремесла. Дух исключительности все более возрастал в цехах; они все усерднее пользовались своей политической и экономической силой, чтобы затруднить доступ к ремеслу чужим, в особенности *деревенским* элементам и превратить звание мастера в привилегию, достигаемую все с большим и большим трудом. Мѣры направленные к этой цели, принимались не только в эпоху „закостенения“ цехового устройства. Они начинают слагаться еще в XIV веке, а в XVI их развитие в существенных чертах завершилось. Следующие столетия не принесли

ничего значительного в этом смысле. Следовательно, эти меры—продукт цехового устройства в эпоху его процветания: в ту самую эпоху, которая, как идеал, привлекает к себе взоры многих современных энтузиастов цехового устройства.

4. Ученик, подмастерье, мастер.

Уже при приеме учеников обнаруживалась замкнутость цехов. Началом ей послужило устранение *женщин* из области ремесла. Учеником мог быть только мужчина.

Мужчинам далеко не с самого начала принадлежала монополия на ремесло. Относительно этого предмета для Германии не сохранилось безусловно достоверных документов; зато для Франции дело ясно. Там еще в XIII веке женщины в принципе не были исключены из ремесла. „Из сотни ремесл, статуты которых содержит работа Буало [1]), женский труд решительно не допускается только в двух, да еще в одном—не допускается по отношению к определенным работам. Как видно из самых статутов и постановлений этих трех цехов, в них во всех в предшествующий период дозволялся женский труд и ведение дела женщинами. В восьми ремеслах прямо упоминается, что женщины по отношению к ремесленному труду совершенно равноправны с мужчинами. В шести дальнейших ремеслах дело ведут исключительно или преимущественно женщины, которые, как и во всех других ремеслах, разделяются на три ступени: ученицы, работницы и мастерицы; эти ремесла обладают вообще всеми характерными признаками ремесла; руководство и наблюдение в них возлагается отчасти на женщин, отчасти на женщин и мужчин. Относительно остальных ремесл нет прямых указаний, чтобы они допускали к работе и чужих женщин, кроме жены и дочерей мастера; но из их статутов нельзя вывести и прямого запрещения женского труда“ [2]).

Впрочем и для Германии сохранились некоторые указания на то, что еще в XIV веке женщины или образовали

---

[1]) Réglements sur les arts et métiers de Paris.

[2]) *Fr. W. Stahl*, Das deutsche Handwerk. Gissen 1874, стр. 68.

собственные цехи, как размотчицы в Кельне, или же входили в один цех с мужчинами и самостоятельно вели ремесло.

В уставе 1377 года портных во Франкфурте на Майне говорится: „если незамужняя женщина хочет заниматься ремеслом, она должна быть прежде всего гражданкой и заявить совету; когда это сделано, она должна уплатить 30 шиллингов ремеслу на общую пользу и четверть вина на пропой ремесленникам. Когда это сделано, она со своими детьми имеет право на занятие ремеслом". Такие же требования предъявлялись и к мужчине [1]).

И другие ремесла еще в XIV веке были открыты для женщин; так, напр., в Кёльне мясники и ремесленники, изготовлявшие кошельки и портупеи и вышивавшие гербы, принимали в свои цехи женщин на равных правах с мужчинами. Вообще же *чужие* женщины с XIV века уже исключены из ремесла. Только за женами и дочерями мастеров в большинстве ремесл до XVI века сохранилось право принимать участие в ремесленных работах. Потом и оно исчезает. Исключение женщин из области ремесленного труда становится принципиальным и безусловным.

Учеников мужеского пола начинают принимать тоже с известным выбором, и один слой населения за другим лишается права отдавать сыновей в ремесло. В конце-концов в разных ремеслах дошли до того, что стали требовать от учеников *свидетельства о предках*. Мастеру предоставлялось принимать в ученики только тех мальчиков, которые могли засвидетельствовать известный ряд *свободных, честных предков, рожденных в брачном союзе*. Во многих городах требовались даже доказательства, что ищущий доступа в ремесло зачат матерью именно от мужа. Само собою понятно, что это требование открывало возможность величайших придирок к неугодным лицам. Требование представить доказательства не внебрачного происхождения в ряду поколений исключало из ремесла большую часть пролетариев. Требование происхождения от свободных предков делало невозможным вступление в какое-либо цеховое ремесло для сы-

---

[1]) *Stahl*, ранее цитир. работа, стр. 80.

новей феодально-зависимых крестьян. Наконец, „нечестными" считались преимущественно профессии, в которых скорее всего находили прибежище крестьяне, устремлявшиеся в города; сюда же относились не имевшие цеховой организации ремесла, которыми занимались в деревне, и, дальше, те профессии, к которым обращались главным образом деклассированные из городского населения. Маурер (II т., стр. 447) называет из таких „нечестных" профессий: овчаров, мельников, ткачей полотна, потом прислугу при городских управлениях и судах, полевых сторожей, могильщиков, ночных сторожей, нищенских старост, метельщиков, ассенизаторов и палачей, а также таможенных, флейтистов и трубачей, иногда цирюльников и банщиковъ.

Льно-ткачество большею частью было деревенским домашним производством. В XV веке льно-ткачи массами переселялись в города. В 1488 году, напр., 400 деревенских ткачей переселились из Швабии в Ульм. Неудивительно, что принимались оборонительные меры против такого наплыва конкурентов.

Древнейшим документом, который предписывает устранять из ремесла такие элементы, можно, повидимому, считать свиток цеха башмачников 1300 года (он, правда, сохранился только в копии XVII века, в которой, быть может, приняты в рассчет потребности этого времени). В этом документе воспрещается обучать ремеслу сыновей *льно-ткачей и носильщиков* [1]).

Срок ученичества растягивался до крайней возможности. Сначала относительно этого пункта не было никаких предписаний и вообще никакого принуждения к отбыванию периода ученичества. Древнейшие из дошедших до нас статутов, устанавливающих такое принуждение, относятся к 1304 году, в котором оно вводится в Цюрихе для мельников, шляпочников и кожевников. И только в XV веке оно делается всеобщим.

Самое время учения было различно. Мы встречаем слу-

[1]) *V. Böhmert*, Beiträge zur Geschichte des Zunftwesens. Leipzig 1862, стр. 16, 68.

чаи, где оно простиралось от одного года (напр., у стригальщиков сукна в Кельне в XIV в.) и до восьми лет (в это же самое время у золотых дел мастеров в Кельне). Чаще всего—трехлетний срок ученичества. В Англии время ученья очень продолжительно, до двенадцати лет (обычным же сроком сделался, наконец, семилетний); зато по окончании времени учения перед учеником уже не стояло никаких законных препятствий, чтобы сделаться мастером.

В этом, вероятно, одна из причин, почему в Англии не встречается следов организаций подмастерьев такого типа, как германские.

В Германии срок ученичества не растягивался до такой степени. Зато между ученичеством и званием мастера стоял период, когда работник был подмастерьем; этот срок удлинялся, насколько возможно, для чего в особенности служили годы странствований.

Об *обычае* подмастерьев странствовать упоминается уже в XIV веке; однако тогда еще нигде не было *принуждения к странствованиям*, но были *запрещения странствовать*. Первое упоминание о принуждении к странствованиям, известное нам, относится к 1477 году: шерсто-ткачи в Любеке требуют, чтобы *сын мастера* пропутешествовал год и один день, прежде чем сделаться мастером. *О подмастерьях* здесь нет еще речи. В XVI веке принуждение к странствованиям начинает делаться более частым. В Англии его никогда не было.

Предписываемое время странствований составляло от одного до шести лет, в большинстве же случаев определялось в три-четыре года.

Дальнейшим средством воспрепятствовать переполнению ремесла служило ограничение числа учеников и подмастерьев, которых разрешалось держать мастеру. Впрочем этим способом достигали и еще одной цели: препятствовали богатым мастерам обращаться в настоящих капиталистов, и таким образом защищали мелких мастеров от непосильной для них конкуренции.

Такие ограничения числа учеников и подмастерьев начинаются уже в XIV веке.

Так, в *Констанце* бургомистр и мастера цеха портных издали в 1386 году постановление, в котором высказывается жалоба, „что некоторые мастера держат много слуг, что для других вредно и опасно. Поэтому запрещается всем мастерам *держать больше, чем по пяти подмастерьев и по два ученика*“ [1]).

В XV веке такие ограничения получили всеобщий характер [2]).

Теперь уже далеко не всякий подмастерье мог сделаться самостоятельным. В усадьбе наступил конец барщинным работам феодально-зависимого ремесленника; и в области свободного ремесла совсем исчезла или исчезала работа в доме заказчика. Ремесленники перерабатывали теперь собственные сырые материалы в собственных мастерских, им приходилось быть домовладельцами и покупать всяческие припасы. Для правильного ведения дела во многих ремеслах уже требовалась известная самостоятельность. Отныне зажиточность является не следствием, а условием самостоятельного ремесленного производства. Неудивительно, что все более возрастало число подмастерьев, которые не могли достигнуть самостоятельности, и которым суждено было всю жизнь оставаться подмастерьями.

Несмотря на то, число подмастерьев, которые превращались в мастеров, возрастало все еще быстрее, чем хотелось бы мастерам. Поэтому на помощь тенденции экономического развития выступили с законодательными мерами: получение звания мастера, еще в XIII веке не связанное ни с какими обременительными условиями, теперь все более затруднялось. Большинство помех возникло в XV веке.

Чтобы сделаться мастером, подмастерье должен был получить в городе права гражданина: когда это условие было

---

[1]) *G. Schanz*, Zur Geschichte der deutschen Gesellenverbände, Лейпциг 1877, стр. 9.

[2]) *Schmoller*, выше цит. работа, стр. 453. *K. Bücher*, op. cit., I, стр. 607. *K. Werner*, Die urkundliche Geschichte der Iglauer Tuchmacherzunft, Лейпциг 1861, стр. 17, 29. *F. Ruby*, Das Iglauer Handwerk urkundlich dargestellt. Брюнн 1887, стр. 114.

выполнено, подмастерью все же приходилось ждать, часто годами, получения прав мастера.

Так, напр., в статуте ткачей Ульма от 1403 г. говорится: „Граждане, которые живут в Ульме в течение *пяти лет* в качестве домовладельцев, могут отдавать своих детей в обучение ткацкому ремеслу и по окончании лет ученья покупать для них право на вступление в цех. Но если пришлый ткач, прибыл ли он из деревни или других городов, хочет сделаться гражданином, то он не должен заниматься ткацким ремеслом в течение пяти лет и цеховые права может получить не ранее того же срока. Однако, если *подмастерье* ткацкого ремесла живет здесь в течение пяти лет, это не имеет для него никакого значения,—цеховое право может быть предоставлено ему лишь после того, как он в *течение пяти лет* пользовался правами гражданина" (*Schanz*, op. cit., стр. 8).

Дальнейшим условием было изготовление *шедевра*, пробной, образцовой работы. Удовлетворительна ли работа, об этом решали, конечно, цеховые мастера, следовательно, будущие конкуренты. Испытание по части предков при приеме в мастера было, если возможно, еще придирчивее, чем при приеме в ученики. Дальше, следовало уплатить высокую сумму за прием в цех и устроить для мастеров, сотоварищей по цеху, дорогое угощение, банкет.

Не особенно легко было подмастерью удовлетворить всем этим требованиям. Романтики-фантазеры хотят уверить нас, что такие меры направлены были просто к охране потребительских интересов, к созданию ручательства за солидность, доброкачественность работы. В действительности эти стремления играли ничтожную роль. Это ясно видно уже из различных заявлений заинтересованных лиц. Так, цех суконщиков в своем прошении в городской совет Иглау (1510 г.) совершенно определенно заявляет, что он требует удлинения времени ученичества до четырех лет; „чтобы никто так легко не доходил до ремесла" (*K. Werner*, Die urkundliche Geschichte der iglauer Tuchmacherzunft, Лейпциг, 1861, стр. 30). Архиепископ Майнцский в 1597 г. рекомендовал кожевникам и шорникам различных городов устано-

вить долгие сроки ученичества и странствований, „чтобы и кожевники и шорники сохранили за собою цветущее состояние, и чтобы не допустить неопытных кропателей *вырвать у них изо рта кусок хлеба*“ (*Stahl*, op. cit., стр. 40, 41). Следует также отметить, что упомянутые ограничения совсем отпадали или ослаблялись и сводились к простой формальности, когда в цех принимался сын мастера или лицо, женатое на вдове или дочери мастера. Перед ними изумительным образом совсем исчезала боязливая заботливость о „поддержании сословной чести“. И все это выступило далеко не в эпоху „вырождения“ цехов, как рассказывают нам энтузиасты цехового устройства. Уже в XIV веке к ремеслу мясников во Франкфурте и башмачников в Бремене находили доступ только сыновья и дочери мастеров (*Schanz*, op. cit., стр. 14); больше того,—уже в XV веке мы встречаемся с попытками *закрыть доступ* в цехи, раз навсегда установить число мастеров. В 1468 году рыбаки в Гамбурге обратились к совету с просьбою понизить их число с 50 до 40; там же в 1469 году число золотых дел мастеров ограничено двенадцатью, в Вормсе в 1463 году число содержателей винных погребов—44-мя. Тогда же мы встречаемся и с *наследственностью* звания мастера.

Ограничения прежде всего приводили к двум важным результатам: с одной стороны, они обостряли последствия усиливающейся пролетаризации сельского населения и ускоряли возрастание *городского пролетариата*, который стоял вне цеховой организации; с другой—вносили в самое цеховое ремесло антагонизм между *мастерами* и *подмастерьями*. По сравнению с числом подмастерьев, количество мастеров все убывало; все с большею строгостью преследовали „кропателей“, „вахлаков“ и т. д., т.-е. тех, кто пытался сделаться самостоятельным, не записываясь в цех; запрещали заниматься ремеслом и вне города,—в предместьях, даже в более или менее отдаленных деревнях, иногда на расстоянии многих миль, чаще же на одну милю вокруг города (так называемая Bannmeile, заповедная миля. Так, напр., в 1500 году в Цвиккау постановлено, что льно-ткачи не должны селиться в деревнях „заповедной мили“, за исключением

больших деревень, в которых допускается по одному ремесленнику. Подобные же ограничительные постановления были изданы уже в 1421 и 1492 годах. Конечно, такие меры проводились не без сопротивления (*E. Herzog*, Chronik der Kreisstadt Zwickau, Цвиккау 1845, II т., стр. 154, 162). Понятно, эти постановления служили причиною ожесточенной борьбы между цеховыми мастерами городов и вне цеховыми ремесленниками деревень и предместий; антагонизм между ними нашел отражение и в крестьянских войнах. В то время, как сельское население массами устремлялось в города, и все более возрастало количество желавших попасть в подмастерья, в это самое время для подмастерья все трудней становилось сделаться мастером или достигнуть самостоятельности вне цеховой организации. Число тех, кому суждено было всю жизнь оставаться подмастерьями, все увеличивалось; из простой переходной ступени от ученичества к званию мастера, как было раньше, звание подмастерья начало превращаться в постоянное для многочисленных ремесленных работников. Подмастерье скоро почувствовал в себе уже не будущего мастера, а человека, эксплоатируемого мастером; его интересы все чаще приходили в конфликт с интересами мастера.

5. Борьба между подмастерьями и мастерами.

Антагонизм между мастерами и подмастерьями обостряется по мере приближения к концу средних веков. Пока главным работником был мастер, который только в исключительных случаях приглашал помощника, у него не было особенных побуждений к чрезмерному удлинению рабочего времени: от продолжительного рабочего дня больше всех пострадал бы сам мастер. Подмастерье ел с ним за одним столом; не стоило приготовлять особую пищу для одного подмастерья. Хорошо жилось мастеру—и подмастерье жил хорошо; у обоих были в значительной мере тожественные интересы. Кроме того, на заре товарного производства заработная плата в денежной форме играла ничтожную роль; мастер и подмастерье нередко просто делили выручку от труда.

У ткачей в Страсбурге было в обычае, что подмастерье работал с мастером из третьего или второго пфеннига, т.-е. получал треть или половину общего заработка (*Schmoller*, op. cit., стр. 416). То же самое мы встречаем и в Ульме, в уставе (1364 г.) золотых дел мастеров (*Stahl*, op. cit., стр. 332).

При таких условиях едва ли встречались поводы к распрям, которые не носили бы чисто личного характера, а вытекали бы из классовых противоречий.

Все это изменялось по мере того, как возрастало число подмастерьев в каждом ремесленном производстве. Наблюдать за работою четырех или пяти подмастерьев не так просто, как за одним. Из главного рабочего мастер все более превращался в *подгонялыцика*, который старался выжать из подмастерьев как можно больше труда. В той мере, как для подмастерьев возрастала тяжесть труда, для мастера она облегчалась. Если в предприятии работало очень много подмастерьев, одного их труда было достаточно не только на их собственное содержание, но и для того, чтобы доставить мастеру хороший доход. Иногда даже труд понукания становился слишком тяжелым для мастера, который тогда избавлялся от него, вводя *поштучную заработную плату*; эта система развивается с конца XIV века и, как можно проследить, в особенности прогрессирует в ткацком ремесле [1]). И уже в следующем, XV веке находили иногда необходимым запрещать тот порядок, при котором сам мастер уклоняется от работы.

Чем меньшее участие принимал мастер в работе, чем больше он стремился к тому, чтобы его подмастерья создавали для него прибавочную стоимость, тем усиленнее старался он увеличивать их рабочее время. Рабочее время в *день*, можно думать, едва ли подвергалось колебаниям; но тем настойчивее проявлялось стремление уничтожить *понедельничанье* и превратить в рабочие дни многие праздники, даже воскресенья.

В 1522 году, непосредственно перед началом крестьянской войны, герцог Генрих издал в Саксонии суровый при-

[1]) *Schanz*, Gesellenverbände, стр. 109.

каз, в котором он запрещал работы по праздникам и в то же время заявил, что подмастерьям не подобает устраивать „свободный“ или „добрый понедельник“. (*C. W. Hering*, Geschichte des sächsischen Hochlandes. Лейпциг 1828, II т., стр. 31). В 1503 году, когда в Везеле забастовали подмастерья портных, бургомистр констатировал в камере цеха, что подмастерья портных—очень безпокойный народ, но что „и на мастерах много вины, потому что они не хотят три раза в день подобающим образом кормить подмастерьев, чего последние, понятно, могут требовать, и навьючивают на них слишком много работы“. Бургомистр угрожал мастерам наказанием, если они и впредь будут заставлять работать „по воскресным и праздничным дням с утра до обедни“ и „драть учеников за волосы или бить их даже кулаками“. Речь бургомистра отмечена Янсеном. (*Янсен, Экономическое, правовое etc., стр. 75 — 76.* Плохо подходит она к его цеховой идиллии.

Рука об руку со стремлением к увеличению тяжести работы развивались стремления к ухудшению стола и уменьшению заработной платы подмастерьев. Когда приходится продовольствовать от четырех до пяти подмастерьев и двух и более учеников, тогда уже стоит стряпать отдельно для них. Таким образом открылась возможность „сберегать“ кое-что на их столе, ничуть не затрагивая продовольствия семьи мастера. Принадлежность подмастерья к семье мастера, в чем Янсен и его товарищи по складу мышления видят так много трогательного и сердечного, стала средством эксплоатации подмастерьев.

Разумеется, „бережливые“ мастера старались урезывать денежную плату еще больше, чем стол. При прочих равных условиях стремление к урезке заработной платы тем сильнее, чем больше число наемных рабочих. Если нанят только *один* рабочий, для хозяина не имеет большого значения платить на две копейки в день больше или меньше; но если он эксплоатирует сотню рабочих, ежедневная разница составит пару рублей, а в год она выростает до сотен. В меньшем масштабе влияние этого условия обнаружилось уже к концу средних веков. Конечно, далеко еще было до того,

чтобы промышленный предприниматель нанимал сотни рабочих. Нанимая шесть-семь подмастерьев, мастер, вообще говоря, уже очень сильно переступал меру обычного и дозволенного. Но и этого было достаточно, чтобы вызвать более сильное влечение к урезкам заработной платы, чем в то время, когда ремесло еще не „процветало", и когда вообще лишь немногие ремесленники были в состоянии нанять хотя бы *одного* подмастерья.

Но одновременно возрастало, в Германии в особенности благодаря революции цен, и стремление подмастерьев к повышению заработной платы. Упомянутая революция цен началась в XV веке вследствие быстрого роста производительности серебряных и золотых рудников и предшествовала много более мощной революции цен, вызванной в XVI веке открытием сокровищ Америки и распространившейся на всю цивилизованную Европу. Кроме переворота в производстве благородных металлов, в повышении цен свою роль сыграли и монополии торговых обществ. В то же время во *всех* сословиях, не исключая и ремесленных мастеров, росла роскошь, росли потребности. Неудивительно, что подмастерья, которые жили с мастерами и еще так недавно считали себя почти равными им, тоже стремились к повышению жизненного уровня.

Вопросы *заработной платы* в XV и начале XVI века все более обостряли антагонизм между мастерами и подмастерьями.

В связи с другими противоречиями, на которые мы уже указывали, это приводило к тому, что борьба между мастерами и подмастерьями, начавшаяся уже в XIV веке, с приближением к XVI веку становится все ожесточеннее.

Наши романтики и поклонники цехового устройства охотно противопоставляют капиталистической промышленности цеховое ремесло, как такой способ производства, который был Эльдорадо для рабочих и ничего не знал о классовой ненависти. Только капитализм, или, как обыкновенно выражаются полуазиаты, „еврейство" изгнало „этику" из экономической жизни и посеяло драконову жатву классовой ненависти. Но уже в XIV и XV веке цеховые мастера

и немлевладельцы фактически были очень далеки от пресловутой райской невинности докапиталистического времени; о следующих же столетиях лучше вовсе не упоминать, потому что в эту эпоху, говорят романтики, уже успели обнаружиться последствия капиталистического грехопадения. На самом деле уже „процветание" ремесла основывалось на эксплоатации наемных рабочих и порождало ожесточеннейшую классовую борьбу.

Шанц в своей превосходной книге, которая наносит сильный удар „исторической" школе, „этически" разукрашивающей положение подмастерьев, вполне справедливо говорит следующее: „надо бы задуматься над этим фактом (над безпощадной эксплоатацией труда), когда, как Шенберг (в „Zunftwesen", стр. 76), распространяются о великом подъеме промышленных рабочих и всеобщем благостоянии ремесленников в XIV и XV столетиях: потому что едва ли можно сомневаться, что мастера в большой мере были обязаны этим благосостоянием неполной оплате труда подмастерьев, которые, несмотря на весь пот лица своего, не могли избавиться от тяжелой тревоги за будущее" (Gesellenverbände, стр. 21).

Как сильны ни были цехи и как ни гордились они своей автономией, своей самостоятельностью, они не стыдились однако пользоваться „помощью государства" для подавления подмастерьев. Уже в XV веке (а в Англии даже в XIV) городские власти, советы городов, а если города еще не достигли свободы, то сюзерены издают многочисленные *таксы заработной платы*. Тогда же подобные таксы создавались для целой страны, как для ремесленников, так и для сельских рабочих. Мы приведем только одну таксу,—введение к ней очень характерно. Она составляет часть „земского устава" (Landesordnung), изданного в 1482 году герцогами Эрнстом и Альбертом для Саксонии. Там говорится: „От прелатов, сеньеров, рыцарства и городов дошли до нас многие жалобы, что подданные находятся в большом упадке, изнеможении и испорченности, каковые проистекают от тяжеловесной монеты, *неумеренной заработной платы слуг и ремесленников* и от растущих во всех сословиях излишних расходов

на пищу, напитки и одежду, а в городах в особенности оттого, что их гражданские занятия,—соложение, пивоварение и пивоторговля,—из коих в наибольшей части проистекает их пропитание, отбиваются у них некоторыми прелатами и дворянами, каковые принимаются за эти дела [1]), а также *ремесленниками в деревнях*, что всем им не приличествует, чему быть не должно и что в старину и не было в обычае. Посему, по зрелом рассуждении, подобает прежде всего изготовлять и выпускать *неполновесную мелкую монету* для выдачи заработной платы слугам и ремесленникам [2]). Далее, никто вперед не должен одевать своих слуг в другие одежды, кроме изготовленных внутри страны; исключая сукна на штаны, фуражки, воротники и жилеты, каждый может покупать таковые, какой доброты он хочет. А если бы хозяин или дворянин давал своему слуге не обувь и платье, а деньги, то пусть он дает опытному слуге 300 и конюху 240 новых грошей". Потом доходит очередь до таксы заработной платы в деревнях. „Рабочему со столом в неделю 9 новых грошей, без стола—16 грошей. Ремесленным людям для их обеда и ужина *только четыре блюда*,—на скоромный день суп, *два мясных кушанья* и одно из овощей; на пятницу и другие дни, когда не едят мясного, суп, кушанье из свежей или вяленой рыбы и два из овощей; а когда должно поститься, *пять блюд*,—суп, два блюда из рыбы и два из овощей, а кроме того, 18 грошей. а простым ремесленникам 14 грошей заработной платы в неделю; а если эти люди пользуются собственным столом, то полировщикам не подобает давать более 27 грошей, а простым каменщикам и т. д. более 23 грошей в неделю" [3]).

---

[1]) Следовательно, уже тогда саксонское дворянство начало увеличивать свои доходы при помощи сельской промышленности. Оно набросилось на пивоварение, так как картофельная сивуха тогда была неизвестна.

[2]) Это простое средство, применявшееся сюзеренами для обсчитывания рабочих при выдаче заработной платы, может вызвать зависть и почтительное изумление у многих современных биметаллистов.

[3]) *Hunger*, Geschichte ber Abgaben, стр. 22. Сравн. таксы заработной платы для ремесленников, изданные фрейбергским советом (1475 г.).—*Hering*, Geschichte des sächsischen Hochlandes, т. II, стр. 17.

Какой рабочий века пара и электричества не разлакомился бы при мысли о принудительно декретированных „постах“ конца „мрачного“ Средневековья? Начальственные ограничения заработной платы и продовольствия, конечно тоже принадлежат к фактам, из которых Янсен и К° с торжеством выводят, как счастливо и привольно жили рабочие докапиталистического времени.

Такие постановления, во всяком случае, являются уничтожающими для либеральной легенды о благословениях, которыми современная цивилизация будто бы осыпала пролетариев. Но они отнюдь не доказывают, что средневековый наемный рабочий *чувствовал* особенное довольство. Если мы изучили условия жизни какого-нибудь класса, обособивши его от других, этого в сущности совсем мало, чтобы понять его положение; для этого надо сравнить его с положением *других* классов, с *общими потребностями* времени. В настоящее время вообще замечается меньшая роскошь в одежде, особенно в мужской, и едят теперь в общем меньше. Обед и ужин, предписанные саксонским земским уставом 1482 года, кажутся нам в высшей степени изобильными. Однако, в сравнении с колоссальными массами пищи, которые обыкновенно потреблялись тогда, они окажутся несколько скудными.

Средние века много заботились о качестве и обилии пищи и питей. Приведем только некоторые из многочисленных примеров, дошедших до нас. В 1246 году на Дунае близ Вены было отпраздновано бракосочетание Кунигунды, племянницы Оттокара Пржемысля II, с принцем венгерским Бела; по этому случаю „из Австрии, Штирии и Моравии доставлены были невероятные количества всяких припасов: навьючили пять стогов сена, каждый с величайшую церковь, крупный и мелкий откормленный скот покрывал весь остров Дуная и близ лежащую степь; дичи и птицы в особенности доставлено было бесчисленное множество; до 1,000 мут пшеницы для хлеба и вина,—столько, что его хватило бы на многие дни для населения двух провинций“ (*F. Palacky*, Geschichte von Böhmen, Прага 1866, II т., стр. 188). Это напоминает описание пиров у Рабле. В 1561 году на

свадьбе Вильгельма Оранского было потреблено: 4,000 шеффелей пшеницы, 8,000 шеффелей ржи, 13,000 шеффелей овса, 3,600 ведер вина, 1,600 боченков пива. В 1509 году на пышных поминках по смерти Альбрехта Баварского было не менее 23 перемен. В 1569 г. (близ Гельмштедта) на свадьбе одного аббата, перешедшего в протестантизм, 110 человек потребили 72 быков, 3 свиней, 10 телят, 10 ягнят, 60 кур, 120 карпов, 10 щук, ушат селедок, четверть тонны масла, 600 яиц, два пресных сыра и т. д. Эта пирушка считалась особенно скромной. (*A. Schlossar*, Speise und Trank vergangener Zeiten in Deutschland, Вена 1877, стр. 33, 35).

Стремясь понять положение известного класса, недостаточно просто сравнить его с положением других классов того же времени. Характер общества меньше определяется его *состоянием* в известный момент, чем *направлением его развития*. Не нужда сама по себе вызывает недовольство, а нужда, до которой человек принижается или в которой он вынужден *оставаться*, не видя никаких перемен, в то время как окружающие его *поднимаются* до зажиточности. Чем быстрее совершается развитие, тем болезненнее сознается его направление, тем энергичнее реагируют против него обездоливаемые, тем сильнее общественные столкновения. Накануне французской революции нищеты в Германии было больше, чем во Франции, и, однако, исходным пунктом переворота в общественных отношениях послужила Франция: в ней экономическое развитие совершалось быстрее. С 1870 года из всех европейских государств в Германии наблюдается наибольшая быстрота общественного развития,—и в ней же, а не в Англии, быстрее всего прогрессирует социал-демократическое движение. Конечно, в Англии социальные противоречия много глубже; но вот уже несколько десятков лет, как они возрастают сравнительно медленно. Теперь с наибольшею быстротою совершается экономическое развитие в Соединенных Штатах Америки: возможно поэтому, что через один-два десятка лет центр тяжести социалистического движения перенесется в Соединенные Штаты, хотя положение рабочих, в общем, там лучше, чем в какой-либо другой стране.

Наши историки культуры очень мало рассказывают нам о *развитии*. Наши либеральные историки с непреложною убедительностью доказывают трудящимся массам, что они имеют все основания чувствовать себя счастливыми, позволяя себе благодаря машинам такую роскошь, как чулки и носовые платки, чего прежде лишены были даже сильнейшие государи. Консерваторы предъявляют нам меню, таксы заработной платы и уставы об одежде, относящиеся к XV или XVI веку, и говорят: так счастливы были рабочие и крестьяне в доброе старое время, когда процветали цехи, и церковь господствовала над общественной жизнью. Но получилась бы совсем иная картина, если бы либеральные и консервативные историки задумали показать нам, в каком *направлении* совершается теперь развитие и совершалось за 400 лет. Они должны были бы тогда сказать нам, что тогда, как и теперь, стремления эксплуататорских классов должны были все более принижать рабочие массы и доводить до нищеты. Конечно, некоторым частям трудящихся классов, поставленным в особенно благоприятные условия, тогда, как и теперь, иногда удавалось не только задержать принижающее действие этих стремлений, но даже добиться *улучшения* условий жизни и труда. Но все же их жизненный уровень возвышался далеко не в той мере, как уровень жизни *эксплуататорских* классов: попов, высшего дворянства, купцов и мастеров. Их доля в продукте их труда и в завоеваниях культуры все понижалась.

Вопреки жаркому и бархатным кафтанам ремесленных подмастерьев, мы совсем не находим в их рядах того „процветания, зажиточности и довольства", того отсутствия „зависти и неудовольствия по отношению к выше стоящим", той спокойной удовлетворенности, о которых повествует нам Янсен: мы находим полную противоположность всему этому.

6. Союзы подмастерьев

Борьба широких масс, следовательно, и классовая борьба невозможна без *организации*. И от подмастерьев обстоятельства требовали создания организации.

Для них она была тем более необходимой, чем кровавее становилась та классовая борьба, которую им приходилось вести. Еще в 1385 году у забастовавших в Данциге подмастерьев были отрезаны уши (*Schmoller*, op. cit., стр. 453). Янсен ничего не рассказывает о таких вещах. Они слишком плохо подходили бы к его идиллии. И, однако, они происходили в то время, когда члены цехов еще оставались добрыми католиками и были преисполнены христианского духа „братской любви".

Первоначальные соединения подмастерьев отличались преходящим характером и возникали для достижения каких-либо временных целей. В Германии первый из известных нам союзов этого рода относится к 1329 году: подмастерья в Бреславле, изготовлявшие портупеи, сговорились начать забастовку и не приниматься за работу в течение года (Stahl, op. cit., стр. 390).

Но скоро мы встречаем и более прочные организации подмастерьев.

Те самые обстоятельства, которые привлекали ремесленных подмастерьев в города, служили толчком для организации союзов и оказывали влияние на характер последних. В средние века случаи для собраний чаще всего давали *харчевня* и *церковь*, иногда также *война*. Некоторые общества светского характера могли возникнуть таким образом, что ремесленные мастера освобождались от военной службы и посылали вместо себя подмастерьев, которые получали вознаграждение из кассы цеха. Подмастерья сохраняли свою военную организацию и в мирные времена. Однако, до нас не дошло примеров такого происхождения организаций.

Преобладающею формой организаций подмастерьев были церковные *братства* и *организации при харчевнях*. Первые служили преимущественно задачам вспомоществования, харчевни же были очагами сопротивления против мастеров и властей. Однако, функции того и другого видов союзов не были строго разграничены, и церковные братства часто становились кассами борьбы.

Первые братства подмастерьев в Германии мы находим у *ткачей*, — в начале XV, быть может, даже в конце XIV

века. Уже в 1389 году в Шпейере идет речь о *заведующем кассою* у подмастерьев-ткачей; а это предполагает наличность кассы взаимопомощи. Уже в 1402 году у подмастерьев-ткачей в Ульме было организовано братство, которое содержало в госпитале две койки для беднейших подмастерьев и, кроме того, организовало похоронную кассу.

Для характеристики таких братств мы приведем здесь статьи из устава страсбургских подмастерьев полотняно-ткачей, получившего утверждение в 1479 году. Они гласят (*Schmoller*, раньше цитир. работа, стр. 93):

„Мы, Ганс Герботт, мастер, и пять выборных от ткацкого ремесла в Страсбурге объявляем всем тем, кто увидит и прочтет это письмо, что к нам явились почтенные Ганс Блезинг и Мартин Шустер из Висгорна, состоящие в настоящее время кассирами подмастерьев-льноткачей в Страсбурге; они предъявили нам требование и выражают желание, чтобы мы выполнили его и утвердили нижеследующие обозначенные здесь пункты, статьи и постановления...

„Подмастерья-ткачи на вечные времена учреждают свое братство при большом страсбургском госпитале и нигде более; там же оно должно оставаться и на будущее время. Каждые полгода они выбирают себе двух кассиров: двух на Рождество и на смену им двух новых на Духов день. Когда кассиры назначены, они должны дать клятву в том, что будут стараться о пользе казны нашей дорогой госпожи (т.-е. братского имущества) и будут отвращать от нее всякий вред, по мере своих сил и возможности. Кто будет избран в кассиры, но станет отказываться от этого, тот должен уплатить полфунта воску штрафа, и все же его надо оставить в должности, как бы он ни упирался, если только, конечно, получено согласие мастеров. Если кассирам придется даже целых две недели ходить для того, чтобы собрать с членов еженедельные взносы, то и тогда они не должны ничего брать из общей кассы. Но если какой-либо подмастерье задолжал братству 2 пфеннига и не отдает их кассирам, когда те требуют у него долг при обходе, то он должен заплатить 2 пфеннига штрафа. Точно также на будущее время из братской казны не следует выдавать никаких ссуд, кроме

лишь того случая, когда кто-нибудь заболеет, но и тут ссуда выдается только с согласия мастеров и, при том, под залог, стоящий больше, чем деньги, выданные в ссуду. Каждый праздник всякий подмастерье должен давать в братскую казну один пфенниг, должен жертвовать один добрый страсбургский пфенниг; если же случится, что какого-либо подмастерья в это время нет в городе, то он все-таки должен отдать свой пфенниг, когда вернется назад". Далее следуют постановления о церковных процессиях, об освященных свечах и т. д.; затем статуты гласят: „Подмастерье, который только что прибыл в город и никогда раньше здесь не работал, может одну или две недели работать беспрепятственно. Если же он остается дольше, то он должен уплатить 2 пфеннига вступительного взноса и затем продолжать свою службу вместе с членами братства, согласно их правилам. Если подмастерья вознамерятся привлечь мастеров к суду, то они должны покрыть издержки из своего собственного кошелька, а не из братской казны". Потом идут новые постановления о свечах, и, наконец, назначаются следующие наказания за отступление от правил союза: „Если подмастерье не отдаст кассирам вступительного взноса или недельного пфеннига, то он не должен более работать здесь, пока не уплатит долга или пока не найдется какой-либо добрый подмастерье, который внесет за него деньги; в противном случае его имя записывают и на каждом собрании объявляют о нем всем членам братства.

„Кассиры дают отчет о своих действиях перед собранием подмастерьев и, согласно присяге, не могут брать из казны более одного шиллинга. Равным образом кассиры присягают, что будут справедливо собирать взносы, с одного брата столько же, сколько и с другого. Каждый праздник Тела Господня надлежит устраивать обедни для всех братьев и сестер, при чем, следует молиться как за мертвых, так и за живых. Если же случится, что какой-либо брат заболеет, от чего упаси Боже, и попадет в госпиталь, то ему следует ежедневно выдавать 1 пфенниг из братской казны. Если с каким-либо подмастерьем приключится смерть, от чего упаси Боже, и если он скончается в доме мастера или где-либо в

другом месте, но не в госпитале, то кассиры должны требовать от всех подмастерьев, под угрозою 2 пфеннигов штрафа, чтобы они проводили его до могилы.

„*Все* холостые подмастерья-льноткачи должны отныне нести свою службу в братстве".

Итак, в существенных чертах братство было *обязательной* больничной и похоронной кассой.

Для цехов и городских властей братства были, как бельмо на глазу. Вследствие церковного характера братств неудобно было подавить их. С другой стороны, чем сильнее возрастало число подмастерьев и увеличивалось значение страхования их на случай болезни и смерти, тем необходимее делались братства. Кассы цехов были бы тяжко обременены возложением на них задач страхования. Поэтому борьба против братств обыкновенно выливалась в такую форму, что старались ограничить их деятельность простой взаимопомощью и подчинить контролю цехов и городских властей.

Рядом с братствами развивались *товарищества при харчевнях*. Пример этого учреждения подмастерья заимствовали у мастеров. У каждого цеха была своя харчевня. „В этих харчевнях подготовлялась борьба между цехами и патрициями; они были очагами демократической агитации" (Stahl). Подмастерья сначала пили в одних харчевнях с мастерами. Но чем резче обострялись противоречия обеих сторон, чем более выростало высокомерие мастеров по отношению к подмастерьям, тем более обособлялись подмастерья, отчасти добровольно, отчасти по необходимости, и организовали собственные харчевни. Харчевни подмастерьев начали играть по отношению к цехам ту самую роль, какую харчевни цехов играли в борьбе против патрициев. Неудивительно, что к концу средних веков в городах разыгрывается ожесточеннейшая борьба из-за харчевен. Городские власти стремились к полному прикрытию их. Иногда—в тех случаях, когда еще существовал антагонизм между цехами и городским управлением, и городской совет все еще носил патрицианский характер,—запрещались и харчевни ремесленных мастеров, часто не всех, а лишь тех ремесл, которые входили

в цеховую организацию. Гонения же на харчевни подмастерьев в XIV и XV веке мы встречаем повсюду. Снова и снова повторяются запрещения харчевен подмастерьев-ремесленников.

Несколько раз упоминавшиеся работы Шмоллера и Бюхера содержат многочисленные указания на поход против харчевен в Страсбурге, во Франкфурте и в других городах. „В Майнце, Вормсе, Шпейере и Франкфурте в 1421 году сделали попытку запретить подмастерьям все харчевни и вынудить у них присягу, что они будут собираться только с церковными целями; в Констанце в 1390 и 1423 годах преследовалась всякая товарищеская организация подмастерьев; то же самое повторялось и во всех городах. Своего высшего пункта эти преследования достигли в страсбургском уставе о подмастерьях (1465 г.). Он был составлен после переговоров между различными городами и обнародован не только в Страсбурге, но и в других городах, вступивших во взаимный договор; страсбургский устав должен был раз навсегда положить конец беспорядкам" [1]).

Этот „устав о прислуге", этот „закон против социалистов", проведенный нашими предками за 400 лет, заслуживает воспроизведения в его существеннейших частях. В нем говорится:

„Таково мнение посланников из городов горных стран и равнины, которые собрались в Страсбурге с воскресенья на понедельник Юбиляты (третье воскресенье после Пасхи) ради суждения о ремесленных подмастерьях и других слугах, и согласились, что подобает держаться нижеизложенного:

„Во-первых, ремесленные мастера или подмастерья не должны впредь вступать в союзы, соединения и соглашения, устраивать общества и устанавливать между собою заповеди или запреты без позволения и разрешения мастеров и совета того города, в котором они живут.

„И, далее, все слуги, служат ли они рыцарям, слугам или

---

[1]) *Schmoller*, op. cit., стр. 525. О борьбе против товариществ подмастерьев в Нюрнберге подробно трактует работа Бруно Шенланка: «Soziale Kämpfe vor dreihundert Jahren». Лейпциг, 1894.

гражданам, живущим в городах, относительно которых должны быть сделаны распоряжения, а также все ремесленные подмастерья, которые служат в городах, должны дать обет и присягу, что они будут послушны бургомистру и совету города, станут подчиняться его суду и не будут искать права где-либо в ином месте.

„Ремесленные подмастерья впредь не должны запрещать мастерам своего ремесла нанимать каких-либо подмастерьев и не должны воспрещать подмастерьям брать какую-либо работу". Переводя на современный язык, запрещаются стачки, объявление мастеров бесчестными или бойкотирование их, и опала на штрейкбрехеров (подмастерьев, вставших на работу, вопреки постановлению товарищей продолжать забастовку). Тот же параграф требует дальше, чтобы подмастерье докладывал о своих столкновениях с мастером или другими подмастерьями мастерам города и подчинялся их приговору, если дело не подлежит ведению городского совета. Каждый мастер, принимающий подмастерья, должен в восьмидневный срок представить его цеховому старшине, а тот должен принять от подмастерья присягу, что он всегда будет подчиняться суду мастеров. Тогда имя нового подмастерья вносится в особую книгу. Мастер, который не представит подмастерья в предписанный восьмидневный срок, платит за каждый день промедления пять шиллингов штрафа. Так развивался полицейский надзор за подмастерьями.

Подмастерья держались с тем большею независимостью, что они редко были обременены женой и детьми. Женатые подмастерья являлись исключением, во многих ремеслах таких совсем не было. Они принадлежали, ведь, к „семье" мастера; а мастер думал, что, отказывая подмастерьям в браке и удерживая их у себя дома, он гораздо успешнее подчинит их „отеческому" назиданию, удержит вдали от харчевен, установит за ними более действительный надзор и сумеет с большим успехом эксплуатировать их, (сравнительно) ухудшая пищу и прибегая ко всяким прижимкам. Кроме того, женатый подмастерье уже слишком был бы охвачен стремлением добиться самостоятельности, если не законными способами, как цеховой мастер, то незаконными,

как „кропатель“ или „störer“ (бродячий ремесленник) при-города или деревни.

Но как раз благодаря безбрачию подмастерья обладали чрезвычайною силою сопротивления. Безбрачие, вероятно, в несравненно большей степени, чем странствования, благоприятствовало развитию тех свойств и преимуществ у подмастерьев, которые изображены Шмоллером в только что цитированном отрывке: упорства, беспечности и самосознания.

Насколько тяжелее условия борьбы для современного пролетария! При всякой стачке, при всяких выборах, каждый раз, когда ему лично приходится выступать за свое дело, на жену и детей распространятся последствия его действий. В мелких городах, где рабочие легко могли бы договориться между собою, без помощи газет и собраний, соображения о семье заставляют их подчиняться предпринимателю. Напротив, в больших городах рабочие не знают друг друга; чтобы договориться, им требуются газеты, большие собрания и союзы. Чисто личные переговоры уже недостаточны для того, чтобы создать ту сплоченность и солидарность, которые по отношению к мощному централизованному капиталу требуются в несравненно большей степени, чем по отношению к мелким ремесленным мастерам. Понятно, что экономическая борьба рабочих в настоящее время все более превращается в *политическую* борьбу, что свобода означает для них хлеб, что, отнимая у них политические права, отнимают у них хлеб, что условия повсюду *принуждают* их борьбу за повышение заработной платы и сокращение рабочего времени расширять в борьбу за политическую *власть*.

Напротив, движения подмастерьев в конце средних веков и на протяжении значительной части нового времени не обнаруживали политических тенденций, которые были бы характерны для них. Подмастерья, опираясь исключительно на свои профессиональные организации, добивались таких успехов и завоевывали такое общественное положение, как в настоящее время, и то лишь при исключительно благоприятных условиях, удается, несмотря на обладание

широкими политическими правами, только немногим рабочим организациям, да и то лишь на короткое время. Само собою понятно, не во всех ремеслах условия были одинаково благоприятны для подмастерьев. Поэтому их организации различались по средствам, влиятельности и силе. Многочисленные слои таких пролетариев, которых в случае забастовки легко заменяли другими, не могли создать профессиональных организаций и стояли в абсолютной зависимости от произвола эксплуататоров. По отношению к неквалифицированным рабочим не обнаруживался ни тот „корпоративный дух", ни та „идея любви к ближнему", которые, как уверяют, проникали весь общественный строй средних веков.

Бывало и так, что союзы, организованные в XIII или XIV веке, впоследствии опять распадались. Так было с союзами необученных рабочих, поденщиков; прилив из деревни нецеховых конкуррентов разрушал их союзы. Возможно, что это явление было до известной степени обусловлено упадком в городах земледелия. Но гибли союзы не одних только сельскохозяйственных батраков. Так, напр., подмастерья плотники, виноделы и носильщики во Франкфурте еще в XIV веке (1387 г.) были организованы в цехи. Но рядом с ними мы находим уже и нецеховых поденщиков: 16 подмастерьев виноделов, 4 носильщиков, 10 пильщиков и 6 плотников. В 1440 году цеховые подмастерья - плотники более не существуют, организация подмастерьев-виноделов в XV веке еле влачит жалкое существование, организация носильщиков дотягивает до первой половины XVI века; напротив, нецеховые элементы все больше усиливаются.

Положение городских неорганизованных пролетариев все ухудшалось, часто абсолютно и всегда относительно,—по сравнению с подмастерьями, организованными в союзы. Пропасть между организованными и неорганизованными становилась все глубже.

7. Рабочая аристократия городов.

Чем больше были успехи организованных „ремесленных слуг", тем больше они сознавали себя привилегированным

классом, аристократией, и с таким же презрением смотрели на стоящих ниже их пролетариев, как на „бесчестных людей", как и сами мастера. Подмастерье, который приводил с собою в харчевню „бесчестных людей", подвергался наказанию. Выше уже показано, кого надо разуметь под „бесчестными". Скоро самомнение организованных рабочих так возросло, что они протестовали, когда их называли одинаковым именем с другими пролетариями. Во второй половине XV века имя „слуга" („Knecht") повсюду с негодованием отбрасывается и заменяется именем „подмастерье" („Geselle"). В этом некоторые увидят, конечно, пробуждение „демократического духа", попытку подмастерьев поставить себя в одинаковое или, по меньшей мере, в сходное с мастерами общественное положение. Но мы не можем согласиться с таким пониманием. Как раз в то время, когда наемные рабочие назывались „слугами", а не „подмастерьями", они в социальном отношении более приближались к мастерам. Несомненно, организованные подмастерья поднимались над крестьянами и пролетариями, но не так быстро, как мастера, которые теперь-то и становились эксплуататорами и хозяевами подмастерьев. В XIV веке „слуги" пили еще вместе с мастерами в одних и тех же харчевнях. Напротив, в XV веке мастера уже считали ниже своего достоинства сидеть за одним столом с подмастерьями. Подмастерья были изгнаны из харчевен мастеров; им пришлось вести долгую борьбу за собственные харчевни. И тогда-то, говорят, они с большею силой, чем прежде, почувствовали в себе таких же людей, как мастера.

Нет, организованные подмастерья просто считали позорным для себя, если их сваливали в одну кучу с другими подмастерьями, на которых совсем не распространился общий подъем, и которые часто даже оттеснялись все ниже и ниже. Подобную ограниченность, которая заставила подмастерьев отбросить название слуг, мы встречаем иногда и в настоящее время,—в тех отраслях производства, в которых рабочие достигли особых успехов, посредством своих профессиональных организаций. В большинстве случаев это—квалифицированные рабочие, которым не грозит вытесне-

нием ни машина, ни труд женщины. Еще очень недавно многие из наших наборщиков, напр., чувствовали себя оскорбленными, если их называли „рабочими". Они были „художниками".

Чем более преуспевали профессиональные товарищества подмастерьев в различных ремеслах, тем сильнее суживался кругозор организованных рабочих. Их исключительным стремлением становилось—видеть свое товарищество самым сильным и мощным, по отношению не только к мастерам, но и к подмастерьям других профессий. Их организации развивали не классовое сознание, а узкий кастовый дух, преисполненный зависти и мелочного тщеславия.

Первоначально в союзы подмастерьев какого-нибудь ремесла принимались рабочие и других ремесл и даже лица из других сословий, сочувствующие подмастерьям. Впоследствии этому наступил конец. Напр., в братство подмастерьев-слесарей во Франкфурте было принято:

В 1402—1471 г.	1096	членов,	из них 27 не были подмастерьями.
„ 1472—1524 „	1734	„	„ „ 6 „ „ „
„ 1402—1471 „	35	подмаст.,	которые не были рабоч. по металлу
„ 1472—1496 „	6	„	„ „ „ „ „ „

С 1496 года уже совсем не принимались подмастерья, которые не были рабочими по металлу [1]).

Пожалуй, эти числа объясняются и тем, что наряду с братствами слесарей образовались другие организации, так что для подмастерьев не-слесарей уже не было необходимости искать опоры в организации слесарей. Но какой степени достигла взаимная зависть различных товариществ подмастерьев, об этом свидетельствуют бесконечные столкновения между ними. Скоро дошло до того, что едва ли существовала более чувствительная вещь, чем „сословная честь" подмастерьев; она была так же нежна и чувствительна, как в настоящее время у какого-нибудь офицера или корпоративного студента. Не высокое чувство чести, а высокая степень ограниченности лежала в основе этой тонкой чувствительности.

[1]) *Bücher*, op. cit., стр. 619.

Достаточно известен тот вызов, который лейпцигские подмастерья-башмачники отправили в 1471 году университету, чтобы защитить свою оскорбленную честь [1]). Такое же самосознание обнаружили пекари и слуги маркграфа баденского Иакова, которые в 1470 году послали объявление войны имперским городам Эсслингену и Рейтлингену. В 1477 году даже повар господина Эппенштейна в Мюнценберге со своими кухонными помощниками сделал вызов графу Зольмсу [2]). Борьбу групп рабочих между собою мы открываем уже в XIV столетии. Так, в Страсбурге в 1350 году подмастерья ткачей борятся с подмастерьями шерстобитов, в 1360 году первые же подмастерья—с подмастерьями льноткачей. Но самыми настойчивыми оказались, конечно, подмастерья пекарей в Кольмаре: в 1495 году они начали стачку, потому что другим товариществам подмастерьев, которые доставляли такие же дорогие свечи, как и они, городским советом было позволено, подобно пекарям - подмастерьям, выходить в праздник Тела Господня за св. дарами. Десять лет продолжалась забастовка, пока, наконец, подмастерья пекарей не одержали победы над городом и своими сотоварищами [3]). И подобных случаев существует великое множество.

В виду такой ограниченности, антагонизм между мастерами и подмастерьями, как бы часты и сильны ни были вытекавшие из него столкновения, не порождал движения, направленного к общей для всех подмастерьев цели, к преобразованию строя общественных отношений. Как раз в наиболее сильных и счастливых успехами организациях подмастерьев развивалось не сознание солидарности с другими рабочими, не классовое сознание, а скорее антагонизм, с одной стороны, к другим преуспевающим организациям, на завоевания которых смотрели завистливыми глазами, а с другой—к возрастающей массе пролетариев, которым не удавалось организоваться, и которые все глубже и глубже затягивались лишениями и нищетой. Только капиталистический способ производства разложил организации подма-

[1]) *Янсен*, Экономическое, правовое etc. С-Пб., 1898, стр. 70.

[2]) *C. W. Hering*, Geschichte des sächsischen Hochlandes, стр. 176.

[3]) *Янсен*, Экономическое, правовое etc., стр. 74—75.

стерьев, социально понизил их и поставил на одну ступень с другими пролетариями. Только капиталистический способ производства создал предпосылки для развития единого классового сознания, охватывающего весь рабочий класс. И если он иногда выдвигает новую рабочую аристократию, то лишь на очень непродолжительное время. Тенденции его ведут к нивеллированию всех рабочих. Один из величайших переворотов, над которым теперь работает этот способ производства, заключается в том, что уничтожается привилегированное положение и *умственного труда*, „нового среднего сословия“: оно социально приравнивается к рабочим физического труда. Это нивеллирование имеет столь колоссальное и широкое значение, что оно представляется многим мудрецам нелепой утопией, хотя оно уже началось на их глазах.

Ремесленное производство средних веков не оказывало такого революционизирующего действия. Организованные подмастерья были беспокойные, упрямые люди, привычные к оружию, щепетильные по отношению к своему праву и сословной чести. Они в несравненно большей мере, чем современные рабочие, собственными силами добивались своего права и, не долго задумываясь, приостанавливали работы, производили беспорядки, а где это казалось необходимым, прибегали к силе оружия. По своим приемам они были много радикальнее, чем современный пролетариат. Большинство наших анархистов—кроткие агнцы по сравнению с отчаянными, необузданными подмастерьями на исходе средних веков. Но это—только внешняя сторона их выступлений. Их *стремления* отличались в высшей степени невинным характером. „Добрый понедельник“ (право „понедельничать“) был самым радикальным из их требований. Они не могли стремиться к перевороту во всем строе общественных отношений: они сами принадлежали к привилегированным в этом обществе; общество делилось с ними своими успехами, хотя и не в той мере, как с мастерами и в особенности с купцами и монархами. Пусть доля их в пользовании этими успехами сравнительно сокращалась, пусть для ее увеличения требовалась настойчивая борьба,—все же они не ста-

вили под вопрос самое существование того общества, в котором они жили. Конечно, в революционные времена организованные подмастерья могли соединяться с революционными элементами, которые шли значительно далее; к ним могли примыкать и цеховые мастера, когда они были в споре с патрициями, членами городских марок или купцами. Но и организованные подмастерья и мастера были одинаково ненадежны и отличались отсутствием постоянства. Первого сопротивления, одного поражения было достаточно, чтобы они покинули восставших, цели которых очень мало трогали их и которыми они хотели воспользоваться просто в видах своих преходящих особенных интересов. В этом одна из причин, почему революционное восстание 1525 года окончилось таким быстрым крахом.

Таким образом, у товариществ подмастерьев конца средних веков не было социального идеала, их целью не являлось создание нового общества.

8. Марка и горное право.

Из *горнорабочих* складывался совершенно иной тип, чем из городских ремесленных подмастерьев. В древности горнорабочими были, насколько мы знаем, исключительно несвободные—рабы и осужденные за преступления. В средние века они сменились *свободными людьми*, на первых порах *членами марок*.

Мы уже указывали, что область общины-марки распадалась на две части,—*поделенную и общинную*.

Каждая семья общины-марки получала в деревне в *отдельную собственность* участок земли, на котором стоял ее двор (дом, хозяйственные постройки и сад). Кроме того, из общинной марки выделялась *пахатная земля, полевая марка*, и на известных основаниях распределялась между семьями. Выгоны, леса, воды и дороги оставались в общинном владении и составляли нераздельную полевую марку. С течением времени область ее сокращалась: отчасти, благодаря возрастанию населения, что вело к основанию новых деревень и выделению для них из общинной марки новых полевых марок; отчасти, благодаря вытеснению охоты и ското-

водства земледелием, что вело к расширению поделенной полевой марки на счет нераздельной.

Первоначально все члены общины имели равные доли как в поделенной полевой марке, так и при пользовании общинной маркой. Условия же пользования определялись совокупностью членов марки. Они регулировали пользование выгонами для скота, собирание валежника в лесах и дерева для построек и отопления и, наконец, *добывание минералов*. Каждый член марки имел право, соблюдая известные установленные общиной условия, ломать и применять для своих нужд камень из каменоломен общинной марки.

В большинстве общин-марок добывание минералов играло второстепенную роль; за него принимались только в исключительных случаях. Иначе было в странах, где были открыты соль, железо, медь и особенно серебро или золото, или, что, пожалуй, случалось еще чаще, в странах, где вторгшиеся германцы овладели рудниками, раньше заложенными кельтами или римлянами: там труд отыскания минеральных сокровищ, а потом извлечения их из земли скоро выступил на первое место. В перечисленных минералах нуждались повсюду, повсюду отыскивали их, но находили только в немногих местах. Поэтому общины, которые владели горными округами, богатыми такими минералами, рано начали эксплуатировать свои минеральные сокровища свыше того, что требовалось бы для их собственного потребления: излишек продуктов поступал к соседним общинам в обмен на другие продукты. Перечисленные минералы принадлежали к первым объектам товарного производства и товарной торговли.

Горно-промышленные округа в большинстве случаев лежали в горах, где земледелие с самого начала играло скромную роль. Чем более развивалось горное дело, тем больше ступевывалось перед ним земледелие. Теперь уже не требовалось столько полей, как прежде, потому что жизненные средства можно было выменять на продукты горного дела. Кроме того, от земледелия—а также от скотоводства—отвлекалось все более рук, потому что члены марки все больше обращались к горному делу, если оно становилось

доходным. Производство для собственного потребления находит естественные границы в потребностях производителя. Границы товарного производства определяются потребностями рынка; рынок же для продуктов горного дела фактически был безграничен, потому что немногие места, где отыскивались соль и металлы, не в состоянии были покрыть потребности рынка, который был способен к расширению больше, чем можно бы предполагать. Из рук в руки, из деревни в деревню, драгоценные металлы проходили громадные расстояния; в особенности легко пересылались металлы, переработанные в оружие, орудия и украшения.

Уже в каменном веке мы открываем следы обширной торговли между ордами оружием и украшениями или материалами, служащими для изготовления этих предметов. Во Франции, на половине пути между Туром и Пуатье, встречаются массы хорошего ровнозернистого кремня цвета меда. Близ Pressigny-le-Grand д-р Leveillé открыл остатки мастерской, которая снабжала широкую область инструментами из этого камня. Во всей Франции и Бельгии, а также и в Швейцарии, находят кремневые орудия из этой области; их легко узнать по своеобразному цвету. В *Америке* в могильных курганах первобытных обитателей долины Миссисипи находят лежащими рядом медь с Верхнего озера, слюду из Аллеган, раковины с Мексиканского залива и обсидиан из Мексики (Lubbock, Die vorhistorische Zeit. Jena 1874, I, стр. 74, 77, 187). (*Леббок*. Начала цивилизации и доисторические времена. С.-Пб. 1892).

В настоящее время только благородные металлы, часто только одно золото, являются товарами, которых требует каждый, которых никогда нельзя иметь слишком много; в начале товарного производства ту же роль играло и железо, и медь, иногда даже соль. Поэтому побуждение к добыванию их было безмерным. Неудивительно, что повсюду, где земля была богата полезными минералами, горное дело становилось преобладающей отраслью экономической деятельности. Перед ним ступевывалось земледелие, которое еще долго велось для удовлетворения собственных потребностей а не для производства товаров.

Первоначально шахты закладывались только в общинной марке. Но как быть, если горное дело расширялось, и ценные металлы находили в поделенной полевой марке? Полевая марка была поделена для земледельческих целей; и если участок поля отвлекался от такого употребления, не обрабатывался регулярно, то распоряжение им опять принадлежало общине марки. Так оно и бывало, когда принялись отыскивать руду в поделенной части марки. Но так как везде, где горное дело развивалось, оно сделалось предпочтительнее земледелия, то скоро стало достаточным найти в поделенной полевой марке минеральные богатства, чтобы поля и луга снова присоединялись к общинной марке. Больше того,—все усилия употреблялись на поощрение поисков за минеральными сокровищами, и потому уже простая *вероятность*, что в поле есть рудные залежи, превращала его в составную часть общинной марки. Наконец, возрастание спроса на ценные металлы уничтожило отдельную собственность даже на *усадебную* землю. Каждый член марки получил право отыскивать рудоносные земли и закладывать шурфы *на всем протяжении марки*, где только может оказаться руда; если это повредит кому-нибудь, потерпевший может потребовать вознаграждения за вред, но *не сопротивляться*. „Потому что сильно горное право, и ни король, ни герцог, ни графы не могут противиться, если кто-нибудь захочет искать руду в саду и вплоть до спального помещения какого-либо человека", говорится в одной старой книге Штейнфельдского аббатства [1]).

В той мере, как увеличивалось значение земледелия по сравнению со скотоводством и охотой, развитие марки вообще обнаруживало тенденцию к расширению области частной собственности на счет общинной марки. Напротив, в горнопромышленных округах, где, благодаря горному делу, значение земледелия уменьшалось, мы видим противоположную тенденцию. Горное дело урезывало права частной соб-

---

[1]) *H. Achenbach* Das gemeine deutsche Bergrecht in Verbindung mit dem preussischen Bergrecht etc dargestellt. Бонн 1871, т. I, стр. 71.

ственности и в известных пунктах снова приравнивало последнюю к общинной марке.

Но участки с шахтами входили в область общинной марки, для того только, чтобы тотчас же быть снова выделенными из нее. Первые рудники отличались в высшей степени примитивным характером: разработка производилась только на поверхности, при помощи простых ям, из которых доставали руду. Для разработки такой шахты достаточно было одного или, во всяком случае, очень немногих рабочих. Общинное пользование, как пользование, напр., выгонами, к шахтам было не применимо. Различные участки с шахтами приходилось передавать в пользование отдельным членам марки, как то делалось и с отдельными жеребьями в полях. Но разные шахты доставляли различный доход, и число шахт нельзя было увеличить по произволу, подобно жеребьям в полях; поэтому, в интересах всей общины, шахты передавались только под условием выплаты общине определенной доли дохода. Дальше, как обработка поделенных полей, так и разработка шахт подлежала наблюдению и руководству общины, и, как необрабатываемые жеребьи в полях, так и покинутые шахты снова возвращались к общине. Когда пользующийся шахтой прекращал разработку, он утрачивал всякое право на нее.

Право пользования рудными залежами принадлежало, конечно, прежде всего, тому, кто отыскивал их, а не тому, кто до того времени владел рудоносным участком,—если он уже перешел в частную собственность. Такая привилегия отыскавшего рудные залежи сохранилась и до нашего времени.

Разработка некоторых, сравнительно малоценных, минералов долгое время, иногда даже в девятнадцатом веке, оставалась на примитивной ступени (напр., каменно-угольные и железно-рудные копи). Добывание же благородных металлов, как мы увидим, рано поднялось на высокую техническую ступень. Рудники становились все более обширными, сложными и опасными. Все меньше было возможности предоставить всякому „старателю", всякому члену общины, получившему рудоносный участок, вести дело на свой собственный страх, как ему было удобнее. Различные шахты приходили

все в большую зависимость друг от друга, составляли все более единое целое. С какою бы боязливостью ни следили различные „старатели“ за тем, чтобы их шахты или „цехи“ оставались раздельными, и за каждым сохранялись права на его область, *ведение дела*, вследствие технической необходимости, становилось все более общим. Служащий общины марки, *горный мастер*, который сначала должен был просто наблюдать за закладкою шахт, сделался руководителем всего производства; к нему перешла обязанность планомерной организации всего дела.

Рудники, которые дошли до такой технической высоты, были настолько богаты, что доходы с них все более освобождали от горных работ „старателей“ или членов марки,— последние два понятия в таких округах вообще покрывали друг друга; наконец работу в копях стали вести исключительно „слуги“ или подмастерья. „Приискатели“ мало-помалу становились *капиталистами*.

В богатых рудниках число подмастерьев все увеличивалось. К ним присоединялись рабочие при горнах, в которых из руды выплавлялись металлы. Кроме этих рабочих, в горные округа переселялись многочисленные ремесленники,— для производства горных орудий, переработки добытых металлов или для удовлетворения потребностей растущего населения. Хороший заработок находили там и купцы, торгуя добытыми сокровищами; поэтому число их тоже быстро росло. Таким образом, около копей возникал город, „горный город“; члены марки, „господа гор и доменных печей“, вместе с купцами, которые отчасти выходили, конечно, из их же среды, образовали в таких городах меньшинство, аристократию.

Несмотря на всю своеобразность строя горных общин, в них все-таки легко открыть черты общины марки. Земледелие и скотоводство, конечно, потеряли свое прежнее значение. После рудников величайшую важность получили леса: они доставляли горючий материал для плавильных печей, в которых из руды добывались металлы. Поэтому в тех случаях, где еще сохранялось старинное устройство марки с членами-приискателями, последняя принимала форму *лесной общины*.

Гирке, описавший „большую горную общину Гарца с центром в Госларе", дает вам наглядное представление об устройстве старинных горных общин [1]).

„По отношению к городскому устройству", — говорит он,—„община господ гор и плавильных печей" (община горцев и лесников, montani и silvani) „была корпорацией, стоявшей между купцами и гильдиями (монетчиков, мелких торговцев и ремесленников); как таковая, она принимала участие в городском управлении, посылала депутатов для подписания статутов, и совет должен был запрашивать ее при всяком изменении права; по городскому праву она пользовалась также свободою от залога и широким правом самопомощи против своих слуг (подмастерьев). По отношению к лесам Гарца, лесники в то же время составляли особую марку общину, которая собиралась для трех важных в лесном хозяйстве вещей: кроме шахт и печей, она регулировала пользование лесом и охоту с рыбною ловлей. По отношению ко всему горному делу, совокупность всех горцев и лесников составляла самостоятельную автономную общину: ей принадлежал верховный надзор и высшая юрисдикция, возлагавшиеся первоначально на имперского фогта, а позднее на город Гослар,—на специальную коммиссию городского совета, состоявшую из шести человек. Поэтому горцы, под руководством избранного ими горного судьи или горного мастера, сами управляли горным делом; на своих общих собраниях в Госларе, хотя бы и под влиянием совета, они вырабатывали горный устав, устанавливали горный мир и горное право; они в качестве шеффенов применяли закон в суде горного мастера, бывшем первою инстанцией в делах о долгах и в собственно горных делах; но и во всех делах montanus (горец) должен был обращаться прежде всего к этому суду".

Однако, строй независимой марки едва ли где-нибудь достаточно долго сохранил свою чистоту у горно-промышленных общин. Как и у крестьян, он был стеснен выступлением крупного феодального землевладения.

[1]) *Otto Gierke* Das deutsche Genossenschaftsrecht. Берлин. 1868, т. I, стр. 443.

Конечно, у богатых горно-промышленных общин были совсем иные средства защиты от угнетателей, чем у бедных общин крестьян; нам неизвестно ни одного примера, чтобы на горцев средних веков распространились вассальные отношения или крепостное право. Но богатства рудников делали заманчивым для феодалов обложить их феодальными повинностями. Феодалы объявили, что горное дело, подобно охоте, составляет их привилегию. Во многих „Правдах" по левую сторону Рейна горное дело прямо приравнивается к ловле дичи, и „милостивому сеньеру" предоставляется „ловля дичи *на* земле и *в* земле". Королю, как самому крупному из феодалов, раньше других удалось захватить ряд рудников; скоро он заявил притязания и на рудники, захваченные дворянством, монастырями или епископами. В конце-концов короли и император Германии заявили, что никто не может вести горное дело, не получив от них рудников на ленном праве. Горное дело—прежде всего добывание золота, серебра и соли—было объявлено *регалией*.

Сначала императорам удалось, по меньшей мере, отчасти, добиться признания своих притязаний. В своей книге, упомянутой раньше, Ахенбах приводит несколько примеров этого рода. Так, в XII веке Фридрих I заставил многих епископов принять от него свои рудники в качестве ленов. Но уже в следующем столетии начинается упадок императорской власти, между тем, как власть крупных сеньеров развивается в княжескую. Горная регалия переходит к князьям, а последние скоро стали достаточно сильными, чтобы осуществить эту регалию в ущерб мелким феодалам и отдельным товариществам и общинам.

Уже Карл IV был вынужден признать в своей Золотой Булле горную регалию курфюрстов (1356 г.). Наконец, Карл V в своем договоре по случаю избрания в 1519 году вообще гарантировал имперским сословиям их регалии.

К этому времени общинный строй марки уже разрушился в горнопромышленных округах, особенно в округах с более крупными рудниками. На место свободно избранных общинами служащих выступили чиновники сюзеренов; независимые от членов марки и приискателей, они руководили

разработкою рудников, производили суд и решали, кто может и кто не может получить шахту в ленное владение. Наступил конец и исключительности марки по отношению к рудникам. Разработка рудников все больше приходила в противоречие с ограничениями, вытекающими из строя марки. Горное дело нуждалось все в больших массах рабочих, которых приходилось привлекать издалека, потому что в пустынных горных странах, где было заложено большинство рудников, жило очень редкое население. С другой стороны, чем дороже и обширнее становились рудники, тем больше требовали они притока больших капиталов; отсюда стремление сделать обладание рудниками доступным крупному купечеству городов. Крупные купцы вообще стояли в хороших отношениях с князьями, которых они так часто выводили из затруднений, устраивая для них займы; это тоже могло послужить мотивом, почему сюзерены пользовались своей силой, чтобы сломить монополию членов марок на эксплуатацию рудников. Рудники были выделены из марок, а горы, на которых лежали они, объявлены „свободными". На свободных горах заниматься горным делом позволялось всякому—при условии согласия сюзерена. Таким образом были устранены препоны для проникновения чужих элементов; к рудникам, особенно к серебряным и золотым, скоро устремилась, в поисках за счастьем, пестрая толпа купцов, ростовщиков, авантюристов, рабочих и нищих. Благодаря этому сделалось возможным быстрое развитие больших рудников.

Всякая связь рудника с маркою прекратилась. Неудивительно, что впоследствии романисты (лица, изучавшие римское право), которые и вообще-то не понимали строя марки, не могли понять и вытекавшего из него немецкого горного права. Только сделавшие эпоху исследования Маурера об устройстве марки дали ключ к пониманию германского горного права, как и многих других общественных форм.

9. Крупное капиталистическое предприятие в горном деле.

Германский рудник в начале XVI века представлял странную картину для человека, воспитанного на нормах римского права.

У эксплуататора шахты было не право полной собственности на нее, но всего лишь право пользования. Оно предоставлялось чиновником князя, горным мастером. Получивший право пользования концессионер организовал товарищество с четырьмя, а позже и с большим числом паев или кукс (от чешского Kus - часть). Известное количество этих кукс доставалось князю. Куксы поступали в продажу.

Число четыре играет большую роль в идеальных долях рудника. Судя по куттенбергскому горному уставу, кажется несомненным, что право на разработку рудников первоначально разделялось на 4 идеальные части, если в пользовании им принимали участие несколько человек. Позже из этих частей получилось 8, 16, 32, наконец, 4×32=128 кукс, и последнее число обратилось в общее правило. Первый намек на него мы находим в документе 1327 года; но в Фрейберге только с 1698 г. добыча разделяется на 128 кукс (сравн. Achenbach, loc. cit., стр. 231).

Владелец одной или нескольких кукс назывался пайщиком („Gewerke"). Следовательно, горное дело велось, акционерными обществами. Однако, кукса давала право не на рудник, а только на *чистый доход* с рудника, распределявшийся между владельцами кукс. Между ними же раскладывались и расходы по руднику. Если расходы в течение некоторого времени превышали доход, и пайщик не мог сделать требуемые от него приплаты, он терял свою куксу, и его сотоварищи передавали ее кому-либо другому. Если шахта совсем не разрабатывалась, товарищество теряло всякое право на нее, и князь мог передать ее другому товариществу.

Но этим не исчерпываются нормы, опрокидывающие все представления римских юристов о собственности. Пайщики принимали чрезвычайно ничтожное участие в ведении рудника, руководство принадлежало чиновникам князя, который узурпировал права общины-марки.

Горный устав Августа, герцога и курфюрста Саксонского (напечатанный в 1574 г.), перечисляет в третьей статье следующих горных чиновников, назначенных князем: два *горных советника*, которые каждое полугодие должны по-

сещать рудники вместе с *гауптманом, главным горным мастером и управляющим рудниками*. „Кроме того, в каждом горном городе, сообразно его условиям и величине рудников, мы назначили *горного мастера* и достаточное количество *присяжных*, сведущих в горном деле людей, *десятинщика, раздельщика, контролера, горного писца, заведующего печами, печника, писца для записи домов и описи печей, серебреника и землемера* (*маркшейдера*)".

Пайщики назначают (статья 42) штейгеров и шихтмейстеров, но только по желанию и с утверждения гауптмана, главного горного мастера, управляющего рудниками и горного мастера соответствующего места. Согласно статье 44, этим чиновникам принадлежит право увольнять штейгеров и шихтмейстеров. Шихтмейстер нанимает и увольняет рабочих, но только с разрешения горного мастера и двух присяжных.

Агрикола, из книги которого [1]) мы заимствовали последние сведения, сообщает следующие подробности о функциях отдельных чиновников.

Все должны повиноваться горному *гауптману*, он—верховный судья. За ним следует *горный мастер*. По средам он с присяжными производит судебные разбирательства. В другие дни он осматривает шахты и показывает, что надо делать в них; по субботам выслушивает отчеты от штейгеров.

Горный писарь изготовляет „билеты для тех, которые домогаются шахт"; он ведет особые книги о приходах и расходах шахт, каждую четверть года составляет отчеты для пайщиков. *Десятинщик* получает денежную выручку с шахт и из нее выдает штейгерам необходимые деньги для ведения дела. *Раздельщик* передает чистый доход пайщикам. Если же вместо прибыли получился дефицит, горный писарь вносит сумму полученных убытков на плакат, который, по утверждении горным мастером и присяжными, прибивается к двери соответствующего пайщика (или его представителя).

Штейгер заведует шахтами и выдает заработные платы, высоту которых он определяет при участии присяжных.

---

[1]) „Vom Bergwerk XII Bücher" etc., Базель, 1557 г., стр. 73.

„Своевременно они (присяжные) со штейгером нанимают рудокопов, чтобы прорыть ход в несколько сажен, за большую или меньшую плату, смотря по тому, крепка каменная порода или мягка" (стр. 71). Если рабочие наталкиваются на неожиданно крепкую породу, их заработная плата соответственно повышается, а если камень оказывается более рыхлым, чем ожидали, она понижается.

Наконец, *шихтмейстер* руководит и наблюдает за работами в шахте.

Как видим, пайщикам приходилось заботиться разве только о *коммерческой части*; да и та не отличалась сложностью на серебряных рудниках, добыча которых шла на монетные дворы. Вообще же пайщик едва ли делал что-либо другое, кроме уплаты денег, если дело шло плохо, и получения денег, если оно шло хорошо. Конечно, Агрикола полагает (стр. 31), что пайщики должны жить около рудников, чтобы лично наблюдать за своими рабочими. Они не должны полагаться на штейгера. „Глаз господина утучняет его лошадей". Но это напоминание Агриколы просто доказывает для нас, что уже в то время пайщики предпочитали жить вдалеке от мест, где добывались богатства для них; они стали излишними для производственного процесса, руководство которым взяла в свои руки бюрократия сюзеренов.

В той мере, как *личность* пайщика делалась излишнею для предприятия, возрастали требования на его *капитал*. Скоро возможность успешно и счастливо эксплуатировать рудник стала привилегией крупных городских капиталистов, крупных купцов и банкиров.

К концу средних веков и в начале нового времени техника горного дела развивалась с поразительной быстротой, особенно в *Германии*, которая по богатству золотом и серебром была „европейским Перу".

По мере углубления шахт, быстро возрастали труды и опасности, а также расходы, сопряженные с горным делом. Поэтому, как уже замечено, добывание многих минералов, напр., железа и каменного угля, долгое время велось очень примитивными способами. Например, добывание бурого каменного угля близ Рудных гор до средины XIX века обе-

шало слишком малую прибыль, чтобы привлечь крупных предпринимателей. Там устраивались только мелкие копи, иногда просто открытые ямы, в которых каменный уголь добывал сам пайщик с женой и детьми; работа в копях обыкновенно производилась только зимою, по окончании сельско-хозяйственных работ. Пайщиками по большей части были крестьяне (сравн. Braf, Studien über nordböhmische Arbeiterverhältnisse. Прага 1881, стр. 4). На возвышенностях Мейнингена шифер и теперь добывается самым примитивным способом... „Дело заключается в заложении многочисленных шурфов в тех пунктах, где можно добывать наилучший и легко обрабатываемый шифер в возможной близости от поверхности. Там подходят к столбам этого камня лучшего качества, складывают щебень как можно ближе от места добывания и бросают работу, если залежи шифера прерываются какой-нибудь из многочисленных помех, или же шурф затоплен водою, благодаря несовершенству или полному отсутствию стоков". Производства ведутся небольшими обществами рабочих-арендаторов, которые сами работают в каменоломнях (E. Sax, Die Hausindustrie in Thüringen. Jena 1882, т. I, стр. 70). В сходном виде мы можем представлять себе и все старинные горные производства.

С простыми орудиями нельзя проникнуть за определенную глубину. Доставать массы горной породы становится слишком трудным; приток воздуха в шахты начинает останавливаться, так что нет возможности углубить разработки; шахты затопляются подземными водами.

Но алчность до благородных металлов сумела победить все эти препятствия: она принуждала служить себе дух исследования практиков и ученых, она ставила перед только что зарождавшейся научной техникой новые, все разраставшиеся задачи и толкала ее от одного изобретения к другому, чтобы подчинять силы природы, создавать все более совершенные орудия, возводить все более величественные сооружения.

Таким образом уже в XVI веке мы находим горное дело Германии, с ее серебряными и золотыми рудниками на изумительной технической высоте.

Тот, кто желает познакомиться с этим предметом, найдет превосходного путеводителя в уже упоминавшейся книге *Георга Агриколы* из Хемница.

Нашим целям, однако, более соответствует не так богатое подробностями и специальными указаниями, но за то более живое и наглядное описание технических приспособлений, которых требовало ведение серебряного рудника в XIV веке; это описание дано пастором *Маттезиусом* из Иоахимсталя, в его книге „Сарепта“ [1]).

Наука уже поступила на службу к горному делу. Теоретически образованные инженеры должны были устраивать рудники и управлять ими. Этот труд далеко превосходил силы простых, необразованных горнорабочих.

Конечно, даже они умели пользоваться компасом. „Это прекрасный инструмент, достойный благодарности и хвалы. Потому что он указывает дорогу не только путешественникам на суше и морякам в открытом море, но и вам, горнорабочим, когда вы находитесь под землею, показывает, в какую сторону горизонта должны вы пролагать ходы и где подниматься на поверхность“. Из того, что горнорабочий нуждался в компасе, чтобы ориентироваться, видно, насколько сложное, далеко разветвляющееся сооружение уже тогда представлял рудник. Компас, разумеется, служил и инженерам при их тригонометрических измерениях для определения границ отдельных шахт (Markscheiden—размежевание), устройства шахт-вентиляторов и т. п. „Но в особенности служит он в благородном маркшейдерском искусстве (размежевании), без которого нельзя обойтись в рудниках, если не хотят построить их во вред пайщикам (владельцам рудников) или очень скоро дойти до пересечения с другими рудниками, если хотят удалять воду, доставлять воздух и защищать и признавать за каждым справедливое... Миряне должны обучаться Эвклиду и принципам геометрии и, кроме своих старинных инструментов, масштабов и межевальных

---

[1]) *Johann Mathesius*, Bergpostilla oder Sarepta... Sampt Joachimsthalischen kurtzen Chroniken biss auffs 1576 Jar“. Нюнберг 1578. Книга представляет собрание проповедей, произнесенных в 1553—1562 г.г.

лент, должны более обучаться употреблению многих новых инструментов и лент и измерениям. Но кто искусен в употреблении наугольника и занимается пропорциями, тот мастер в этом деле" (стр. 143).

Мы видим, как уже здесь развивается характерная черта капиталистической крупной промышленности. Рабочие распадаются на две группы: на одной стороне „рабочие руки" необразованных, от которых требуют высшей степени физической силы, а на другой—умственный труд образованных, к интеллектуальным способностям которых предъявляются величайшие требования.

В XVI веке еще не было „перепроизводства интеллигенции"; если оно и наблюдалось, то не в технической области, а скорее в области богословия. Тогда инженеры далеко еще не встречались повсюду, как в настоящее время, и потому ценились высоко. Так, Маттезиус восклицает: следует „прославлять труды и работу художников и почитать таких чудесных людей, входящих в общение с истиной, выше других горнорабочих, которые могут постигнуть и выдалбливать только старую шахту. И некоторые князья и сеньеры умеют по достоинству ценить этих искусных людей, которых Бог и природа предпочли другим. Император Максимилиан очень хорошо относился к своим художникам; потому что, когда тот художник, который возвел сооружения в Инсбруке и заложил водяные сооружения в Куттенберге, спустил и совсем осушил большое озеро одним орудием, как насосом,—когда этот художник пришел к государю императору с жалобою, что некоторые дурно относятся к нему, благочестивый император сказал: „эти люди не умеют обращаться с художниками".

„Но, слава Богу, в наше время эти и другие свободные искусства вместе с Евангелием опять вошли в школы, и многие добрые люди знают, для чего они служат, и как можно употреблять четыреугольники и треугольники для землемерия; и потому таким утонченным головам, которые способны от природы и имеют склонность, страсть и любовь к математике и художествам, владельцы рудников и горные города должны помогать и содействовать, чтобы они поняли истин-

ные основы маркшейдерского дела и устраивали полезные и прочные инструменты, которые изо-дня в день с небольшими издержками поднимали бы воду и каменные породы".

Следовательно, в горном деле уже в начале XVI века наука сделалась полезной для производства; традиции, обычаю предков, игравшему такую роль в ремесле, был положен конец; на его место выступил революционный фактор: методическое, научное исследование. Задача его—постоянные перевороты в производстве, изобретение все более совершенных орудий, т.-е. таких, которые требуют меньших издержек, сберегают больше труда. Все это—характерные черты современной крупной капиталистической промышленности.

Насколько широко применялись тогда при таких обстоятельствах машины в горном деле, видно из следующего описания Маттезиуса: „Труд горнорабочего—лошадиная работа; некоторые поднимают тяжелыми приводами горные породы и откачивают воду, при чем, они не только доходят до кровохаркания, но и сламывают себе шею на этом,—они стоят целый день в чем мать родила, и должны удалять воду и отбывать свою положенную смену. Но милосердие и щедроты Божии таковы, что Бог помог посредством полезных инструментов и искусств облегчить тот пот лица человеческого, на который греха ради осужден род человеческий: вместо людей запрягают лошадь и заставляют, пользуясь прекрасными искусствами, воду, ветер и *огонь* поднимать и передвигать из недр воду и горные породы, благодаря чему сокращаются расходы и быстрее отыскиваются и добываются сокрытые сокровища.

„За это благодеяние,—что скот и стихии несут барщину и выходят на смену, и многие искусные головы своими изобретениями служат на пользу горному делу, — мы должны благодарить Бога, и мир обязан за него восхвалением и воздаянием. Целый день стоять около тяжелого ворота и за один пфеннig делать много оборотов и подвергаться тому, что иногда отбросит воротом или ударит рукоятью, это—мучительный заработок. Так как их двое должны за смену выкачать много бочек воды, и так как

бадья содержит почти ведро, то это требует много сил и вытягивает жилы из ног и рук. Но вот Бог послал художников, которые измыслили истинное усовершенствование и помощь, создавши маховые колеса, меха с воротами, штанги для маховиков при воротах, чтобы дело шло легче и успешнее. Точно так же устраивают круговые шкивы и колеса, с их веретенами, зубчатыми колесами, гнездовиками, передаточными колесами и колодками, чтобы не только руки и бока, но также ноги и все тело извлекали и поднимали воду и горные породы, и это также достойно благодарности. Также и привод есть прекрасное изобретение, ибо лошадьми поднимают наверх горные породы и воду, и в одну смену можно извлечь больше, чем посредством двадцати воротов. Точно так же конский ворот с шайбой для торможения. Таким образом дело идет легче и с выгодою, созданной искусством, когда вы устраиваете в шахтах валы и стойки, чтобы получать воздух, руду и вентиляцию. Горнорабочие горных областей должны также иметь у себя шланги и кожаные мешки, в которых они зимою свозят руду с высоких Альп к плавильным печам, и собак, которые эти мешки (пустые) опять втаскивают на горы.

„Простая и благоустроенная штольня, снабженная каналами и сооружениями для нечистот, представляет, несомненно, прекраснейший образец искусства в горном деле, ибо здесь удаляется вода и дурной воздух и доставляется хороший воздух и достигается легкое поднимание посредством тележек; а потому горнорабочие должны благодарить Господа нашего и добровольно, быстро и точно должны отдавать налоги, четвертый пфенниг и девятый. А где нельзя устроить штольни, там гидравлическое искусство имеет свою цену, если поднимают воду черпаками, расположенными по окружности колеса, или колесом, которое приводят в движение ходящие в нем люди, или если посредством воды и ветра поднимают воду кверху. Когда вода течет по дну, посредством сооружений можно гнать воду кверху и отвести ее к выходу, наверх, как сделало во многих местах это гидравлическое искусство. Но так как подземные воды должны быть подняты на поверхность, то воды там необхо-

димо отводить в канавы,—как мыслится это гидравлическое искусство в горном деле Пития, каковой богатый приискатель среди страданий умер в камере для водяного колеса. Здесь художники изобрели много превосходных и замечательных орудий, особенно с трубчатыми штангами и насосами, посредством которых, силою людей, воды и ветра грозящая затоплением вода поднимается в штольни или на поверхность [1]).

„Вы, горнорабочие, должны также общим хором возвеличивать того доброго человека, который в равнинах устроил приспособления, чтобы поднимать горные породы и воду посредством ветра,—как теперь, в настоящее время, *следует поднимать* воду посредством огня [2])...

„В заключение, так как я говорю именно о художественных изобретениях, я, как горный проповедник, должен возблагодарить Господа за прекрасное искусство, которое посредством вентиляторов, духовых труб (у Агриколы Lotten, по-латыни canalis longus—длинные трубы), мехов и вееров может вводить в штольни хороший воздух и извлекать или выводить плохой воздух. Имеется такое сооружение: в одной штольне в Фюрсте из досок сколотили трубу, замазали, закрасили или залепили ее посредством глины или ила, чтобы можно было вводить в гору хороший ветер или свежий воздух и вытягивать дурной воздух из места для нечистот; а особенно, когда плохой воздух выкачивают посредством меха, там скоро он замещается хорошим, потому что природа не терпит, чтобы место оставалось пустым, не занятым и без воздуха.

„На Куттенберге плохой воздух, рассказывают, выводят посредством больших труб, как дымоходы, в особенности в тех случаях, когда раскладывают огонь перед местом [3]), и,

---

[1]) В шестой книге своей работы Агрикола описывает три вида сооружений, которые вычерпывают воду *ведрами*, семь видов насосов и шесть видов «сооружений, которые вычерпывают воду посредством штанг», наподобие четок и т. д.,—следовательно, не менее 16 видов водоподъемных машин.

[2]) Не имеется ли здесь в виду впоследствии забытая паровая машина?

[3]) Разжигали огонь перед каменной породой, которая, благодаря этому, разрыхлялась и рассыпалась. Конечно, это было невозможно без хорошей вентиляции.

напротив, с расстояния до пятисот лахтеров [1]) и больше проводят в шахты хороший воздух; также и у нас в Иоахимстале в недавнее время устроили такие приспособления, которыми хороший воздух по трубам посредством мехов доставляют за многие сотни лахтеров, так как там должны были с большими расходами провести две штольни, одну рядом с другой".

Маттезиус говорит здесь только о собственно *горном деле*. Что касается *переработки руды*, книга Агриколы дает возможность представить, какие огромные сооружения служили этой части горного дела: мельницы для размельчения руды, плавильные печи, аппараты для отделения металлов и переработки „твердых жидкостей", как соль, стекло и т. д. И приведенного достаточно для того, чтобы показать, что горное дело, по меньшей мере добывание благородных металлов, в XVI веке уже давно утратило ремесленный характер. Оно уже не состояло из совокупности простых операций, по изучении которых в период ученичества рабочий постигал, в сущности, все дело. Горное дело превосходило понимание простого рабочего; рудник обратился в огромный и сложный организм, который требовал обширных, искусных, в высокой степени дорогих сооружений; ведение его мог уразуметь и направлять только научно образованный техник, „художник", и только более мощные силы, чем человеческие, могли приводить его в действие. Требовался *капитал*, чтобы иметь во владении и поддерживать такой организм.

При этих условиях у пролетария не было надежды на то, что ему удастся когда-нибудь разрабатывать хоть одну шахту такого рудника за свой собственный счет. Разъединенные мелкие капиталисты тоже не были в состоянии покрыть расходы надлежащих сооружений при рудниках.

Конечно, они могли соединяться по нескольку и организовать общество, товарищество приискателей. Часто и делали так. Но паи (куксы) не всегда были доступны для мелкого люда. Во многих копях Иоахимсталя кукса прода-

[1]) Один лахтер—почти *два метра*. Следовательно, уже тогда углублялись в землю более, чем на *один километр*.

валась за *тысячу иоахимсталеров*.—для того времени сумма значительная (*Matthesius*, стр. 18). И результат работ был не всегда благоприятный.

Геология тогда только что зарождалась; поэтому горное дело несравненно чаще, чем в настоящее время, оказывалось особого рода азартной игрой. Добыча из шахт подвергалась совершенно невероятным колебаниям. Иногда забрасывали не только отдельные шахты, но и целые обширные рудники, а потом опять с успехом принимались за них.

В X веке начинается разработка серебряных рудников в Гарце (в Гослare). В первые сто лет добыча была необыкновенно богатая. Потом о них слышно очень мало, пока мы не узнаем, что в 1295 году опять началась их разработка, приостановившаяся перед тем на очень долгое время.

В XII веке началась эксплуатация саксонских серебряных рудников, в XIII веке—богемских. В 1295 году Венцель II Богемский утверждал в своем горном уставе, будто золотые и серебряные рудники повсюду истощены, и только Богемия изобилует золотом и серебром. В течение XIV века госларские рудники опять приостановились, и снова были пущены в ход только в 1419 году, после чего разрабатывались свыше столетия.

С бо́льшим постоянством разрабатывались мейсенские рудники. Но как колебалась добыча из них!

Добыча из мариенбергских шахт составляла в 1520 году 258 гульденов, 1521 г.—772 гульд., 1522 г.—1,806 гульд., 1523 г.—1,161 гульд., 1529 г.—2,561 гульд., 1530 г.—6,572 гульд.; потом добыча быстро поднимается, достигает в 1540 г. своего высшего пункта 270,384 гульд. и в 1552 г. опять падает до 22,749 гульденов.

В Шнееберге в действующих копях распределено в качестве выручки (излишек над расходами по ведению дела):

Год	Чистого серебра (в марках)	Год	Чистого серебра (в марках)	Год	Чистого серебра (в марках)
1511	6,192	1516	21,156	1521	774
1512	59,340	1517	25,324	1522	6,821
1513	17,673	1518	9,675	1523	1,935
1514	8,127	1519	6,779	1524	253
1515	14,214	1520	10,787	1525	2,515

Итак, распределявшаяся выручка от *действующих* копей колебалась между 59,000 и 250 марок. Сколько приплачивалось в убыточных копях, мы не знаем. Во всяком случае, во многих копях годы кончались с большим дефицитом, так что приходилось или делать большие приплаты или же отказаться от ведения дела (или от участия в нем) и таким образом окончательно потерять капитал, вложенный в копи.

Крупный капиталист, который выдерживал все колебания, в среднем выводе из ряда лет получал, конечно, хорошую прибыль. Но мелкому капиталисту часто угрожало полное разорение. Если же ему улыбалось счастье, и предприятие приносило хорошую прибыль, тогда крупные капиталисты, пользуясь своим влиянием на князей и чиновников, находили многочисленные способы, чтобы отбить у мелких предпринимателей доходные рудники.

Агрикола рассказывает нам, что многие считали горное дело безнравственным делом; причина тому — следующие приемы, применение которых ему не удается опровергнуть. „Если оказывается надежда добывать из земли какой-либо металл, приходит или князь или какой-нибудь начальник и отнимает у старателей собственность на эту шахту [1]); или приходит хитрый своекорыстный сосед и начинает со старыми старателями судебную тяжбу, чтобы отнять у них, по крайней мере, часть шахты. Или горный гауптман возлагает на старателей тяжелые дополнительные приплаты, чтобы они отказались от своих паев, если не хотят или не могут сделать этих приплат, и тогда он, вопреки всякой справедливости, сам захватывает шахты. Или штейгер в конце-концов забрасывает жилу, а потом, спустя несколько лет, когда старатели, полагая, что копи совсем истощены, покидают их, он добывает руду, оставленную там, и насильственно присваивает ее. Кроме того, все толпы горных людей (мы здесь не говорим о наемных рабочих) составлены из изолгавшихся, готовых на обманы и распущенных молодцов...

---

[1]) Статья 1 горного устава Августа Саксонского в 1574 году обещает старателям, что их части впредь не будут подвергаться *конфискации*, как это часто бывало раньше. Ясное оффициальное признание.

Горный человек или ложно, выдуманной похвалой хвалит жилу, чтобы продать пай (куксу) вдвое дороже, чем он стоит, или же, наоборот, изображает жилу гораздо хуже, чем она есть, чтобы купить ее подешевле" (I книга).

Не удивительно, что горное дело пользовалось такою же славой, как в настоящее время биржа, и точно так же привлекало капиталистов. Как в наши дни биржа, так в то время горное дело служило средством экспроприировать мелких капиталистов, стремившихся к быстрому обогащению, в пользу крупных. Никто, конечно, не отваживался пускать в ход приемы надувательства, в роде только что упомянутых, по отношению к таким крупным капиталистам, как, напр., Фуггеры, которые арендовали швацкие золотые рудники [1]), или купцам Ремерам из Цвиккау, которые забрали львиную долю из Шнеебергских серебряных рудников и, благодаря этому, довели свои богатства до колоссальных размеров.

„Кто хочет разрабатывать рудник",—говорит Маттезиус (6-ая проповедь), „тот должен иметь *деньги* или *готовые к труду руки*, потому что только *совсем богатый* или *совсем бедный* должны приниматься за дело, закладывать шурфы и т. д.".

Другими словами, только *крупные капиталисты и пролетарии* могли расчитывать, что они удержатся в горном деле.

10. Горнорабочие.

Параллельно тому, как прежние члены марок в горнопромышленных округах обращались в капиталистических пайщиков, „слуги" или подмастерья, с которыми члены марок раньше вели горное дело, обращались в пролетариев, живущих наемным трудом. Они уже не работали вместе со

---

[1]) «Аугсбургские Фуггеры из одних швацких рудников в Тироле, полученных ими в качестве заклада, ежегодно извлекали 200,000 флоринов; общество аугсбургских Гохштеттеров между 1511 и 1517 годами добывало из этих рудников не менее 149,770 марок серебра и 52,915 центнеров меди» (*Janssen*, Geschichte des deutschen Volkes, т. II, стр. 390).

своими хозяевами, не жили в их доме, семье, деля с ними радость и горе. Старым патриархальным отношениям наступил конец. Часто рудокопы едва ли даже знали нанимавшего их капиталиста, на которого они работали,—какого-нибудь богатого купца, жившего в далеком городе и не имевшего никакого представления о горных работах.

Там, где горно-промышленный округ был выделен из общинной марки и объявлен „свободным", это, разумеется, всякому, даже и бедняку, в теории открывало возможность сделаться пайщиком. Но после сказанного в предыдущей главе ясно, что даже для менее состоятельных горожан это было рискованно, а для неимущих—фактически невозможно. При благоприятных условиях только у штейгера иногда являлась надежда докарабкаться до такой высоты.

Исходя из современных условий, мы никак не можем назвать неблагоприятным положение горнорабочих к началу XVI века. По Агриколе (4-ая книга), рабочее время, продолжительность смены, составляло обыкновенно 7 часов в день. Первая смена начиналась в 4 часа утра и продолжалась до 11 часов; вторая продолжалась от 12 до 7 часов. Ночная работа (с 8 часов вечера до 3 часов утра) допускалась только в случаях настоятельной необходимости. Работать две смены подряд, одну за другой, запрещалось, потому что иначе горнорабочий заснет на работе, „ибо он истомляется от больших и тяжелых трудов".

Не работали не только по воскресным и праздничным дням, но и *по субботам*. Субботою горнорабочий должен был воспользоваться, чтобы закупить на неделю необходимых припасов. Следовательно, рабочее время составляло 35 часов в неделю; оно было еще меньше, если на неделе выпадал праздничный день,—а в них тогда не было недостатка. Иногда устанавливались и еще более короткие смены, напр., *шестичасовые*, как в Куттенберге и на Гарце [1]).

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы не содер-

---

[1]) Сравн. очень поучительную статью *Ахенбаха*: „Die deutschen Bergleute der Vergangenheit" в „Zeitschrift für Bergrecht". Бонн, XII Jahrgang, 1871, стр. 110.

жат достаточно обстоятельных данных *о заработной плате* горнорабочих. Но примем во внимание, что к началу XVI века положение рабочих, насколько дело идет о материальном благосостоянии, вообще, было более благоприятным, чем в настоящее время; примем также во внимание, что горнорабочие занимали выдающееся положение среди рабочего населения,—и мы можем предположить, что они получали сравнительно хорошую плату.

Но в положении горнорабочих, как и всех вообще наемных рабочих, уже обнаруживалась тенденция к понижению. Мы видели выше, как в XVI веке в горном деле выступило разделение умственного и физического труда. Это пошатнуло положение и доходы тех, на долю которых односторонне выпал только физический труд. Их легко было заменять, им менее приходилось знакомиться с делом, расходы по производству их рабочей силы были относительно незначительны. *Разделение труда* шло все дальше и понижало уровень горнорабочих.

Хороший горнорабочий должен понимать очень многое, но теперь уже редко кто-нибудь понимает все искусство,—жалуется Агрикола (I книга): „Очень немногих можно найти, которые вполне понимали бы рудниковое дело. Потому что обыкновенно один опытен в закладке шурфов, другой — в промывке руды, третий только в искусстве плавления, четвертый хранит маркшейдерское искусство, пятый делает искусные постройки, а есть и такие, которые хорошо изведали горное право".

При различных машинах существует ряд операций, которые без долгой выучки может совершать каждый сильный человек. При обработке руды, особенно при отборке и промывке, уже в то время часто применялся женский и даже детский труд, как мы видим из восьмой книги Агриколы.

В горном деле все более возрастало число таких работ, которым без подготовки легко и быстро выучивался каждый, и которые были доступны каждому здоровому человеку.

Выделение горных рудников из общинной марки юридически, а техническое развитие — фактически открыло для всех доступ к горным работам.

Теперь горные округа не испытывали недостатка в

людях. Сюда потянулись разорившиеся, экспроприированные крестьяне и городские пролетарии, которые не сделались ни бродягами ни ландскнехтами и стремились к золотым и серебряным рудникам Саксонии, Богемии, Зальцбурга и Тироля с таким же жаром, как с 1849 года разорившиеся и экспроприированные отправлялись в золотые россыпи Калифорнии. Большинство горнорабочих, думает Агрикола, ничего не смыслят в горном деле. „Потому что в рудники обыкновенно бегут те, которые много задолжали и не могут расплатиться; или разорившиеся купцы; или бегут от плуга, чтобы отделаться от труда".

Отец Лютера, рудокоп в Мансфельдском руднике, тоже был разорившийся крестьянин.

В тех пунктах, где началась разработка серебряных рудников, скоро сосредоточивались огромные массы людей. Так, в 1471 году, когда на Шнееберге в Саксонии открыли богатые жилы серебра, здесь, как по волшебству, вырос целый город. В 1516 году, когда началась разработка Иоахимстальского рудника, там собралось, вероятно, боле 8,000 рудокопов.

Следовательно, в рабочих силах, ожидающих применения, не было недостатка. Неудивительно, что заработная плата падала или, по меньшей мере, не поднималась, вопреки быстрому повышению цен в начале XVI века.

Пайщики и княжеские чиновники, где только можно усиливали тенденцию к понижению заработной платы. Они не только по мере возможности уменьшали денежную плату, но и из нее урезывали у рудокопов добрую долю при помощи разных обманных приемов: при помощи расплаты испорченною монетой, при помощи trucksystem („система прижимки", расплаты продуктами).

Так, напр., из Шнееберга в конце XV века сообщают: „Когда добыча серебра в Шнееберге увеличилась настолько, что нельзя было весь металл перечеканить в монету, пайщики начали вывозить выплавленное сырое серебро и продавать его за неполновесную монету, которой потом расплачивались с рудокопами, или, вернее, обманывали их" [1]).

---

[1]) *E. Herzog*, Chrok der Kreisstadt Zwickau. T. I, стр. 201.

Уже не раз цитированный горный устав Августа Саксонского (1574 года) считает необходимым предписать в особой статье (47), чтобы плата рабочим выдавалась доброкачественной монетой. Статья 43 запрещает штейгерам и шихтмейстерам принимать рабочих на харчи.

Против „системы прижимки" вообще издавались бесчисленные указы, — признак того, как сильно распространялась она. В большинстве случаев запрещалось, конечно, только *принуждение* забирать товары. Так, в Тирольском горном уставе 1510 г. говорится: „Пусть никакого рабочего не заставляют и не вынуждают брать товары в счет его заработной платы, и пусть это стоит в доброй воле каждого; а если рабочий не хочет брать товара и принесет жалобу относительно заработной платы, ты, как наш горный судья, должен оказать ему содействие на основании горного права и, согласно уставу, позволить жалобу и восстановить право".

Однако эти уставы, кажется, вообще оставались мертвой буквой. Не забудем, что княжеские чиновники оказывали решающее влияние на высоту заработной платы и на отношение к рудокопам, и что, следовательно, без их согласия были бы невозможны понижения и урезки заработной платы.

Поэтому рабочие видели в князьях и княжеских чиновниках таких же врагов, как в пайщиках. Даже больше: с *мелкими* пайщиками у них было много точек соприкосновения, которые объединяли их между собою. Идеал горнорабочего заключался, разумеется, в том, чтобы самому когда-нибудь сделаться пайщиком. Но мы видели, как князья, их чиновники и крупные капиталисты эксплоатировали и обманывали мелких пайщиков, затрудняли, часто делали невозможным для них доступ к богатым шахтам. Таким образом они уменьшали и без того слабую надежду горнорабочих, когда-нибудь подняться из рядов пролетариев. У мелких пайщиков и рабочих были одни и те же враги в том же смысле, как в настоящее время у ремесленников и пролетариев. Благодаря этому они иногда *сообща* выступали против своих общих противников, князей и крупных капиталистов. В альпийских рудниках мы особенно часто встречаем такие союзы.

Теснее всего эта связь между рабочими и пайщиками была в тех рудниках, где сохранилось мелкое производство, как, напр., в железных. Там работал сам пайщик; нередко у него в шахте совсем не было наемных рабочих; работал только он и члены его семьи. Но даже и при такой организации производства нередко развивался антагонизм между рабочими и капиталистами. Хотя в *железных копях*, вообще говоря, и сохранилось мелкое производство, но *железоплавильные печи* были уже крупными сооружениями с капиталистическими чертами; железные шахты скоро попадали в полную зависимость от заводов, так что владельцы шахт, разрабатывавшие их и считавшиеся самостоятельными, становились наемными рабами *горнозаводчиков* в такой же степени, в какой в настоящее время „самостоятельные" производители грифелей на возвышенностях Мейнингена являются рабами скупщиков.

Наиболее острый антагонизм между горнорабочими и пайщиками существовал в золотых и серебряных копях. Они же больше всего подвергались гнету княжеской бюрократии. Но именно в таких рудниках и рабочие были больше всего способны к сопротивлению.

В средние века горнорабочие были единственными рабочими, которых самый процесс труда соединял в *обширные массы*; в этом отношении, как и в некоторых других, горнорабочих можно было бы сравнить с рабочими современной крупной промышленности. Уже в средние века крупные рудники считали рабочих тысячами,—особенно серебряные рудники, как, напр., в Гарце, Фрейберге, Иглау и Куттенберге [1]), а позже и Мансфельдские рудники и т. д. „Горнорабочие мансфельдских рудников", — говорит Биринген.— „обыкновенно получают каждые две недели надлежащую им плату в горном присутствии в Эйслебене, где исстари раздается в каждый день получки 18—20 тысяч талеров горнорабочим, угольщикам, горным служащим и т. д.". (*Johan Alberti Bieringens* S. S. Theol. Cultor und Mannsteldischen

---

[1]) *Achenbach*, Die deutschen Bergleute der Vergangenheit.

Landes-Kindes Historiche Beschreibung des sehr alten und löblichen Mannsfeldischen Bergwerks. 1743, стр. 8).

В отличие от современных рабочих, горнорабочие того времени носили *вооружение*. Еще в 1530 году в Шваце (в Тироле) Карла V встречали 5,600 хорошо вооруженных горнорабочих, которые маневрировали перед ним.

Шпангенберг рассказывает, что в 1519 году производился смотр мансфельдским рудокопам (они играли выдающуюся роль в тюрингенском восстании): „Граф Гебгарт Мансфельдский, когда его брат, граф Альбрехт, отсутствовал, ибо был у герцога Генриха в Брауншвейге, от себя и Альбрехта и своих двоюродных братьев приказал горнорабочим, чтобы каждый собрался и был готов явиться со своим лучшим оружием, как только их потребуют. Они мирно и охотно приготовились, и горный фогт Эислебена, Бастиан Мецельвиц, 21 сентября расположил их вдоль Виммельбурга для парада и там произвел с ними смотр войск и нашел их не плохо вооруженными [1]).

Среди этих батальонов вооруженных рабочих господствовал дух настойчивости и упорства; они были готовы силой сопротивляться всякому нарушению своих прав. Чем более обострялся в горном деле антагонизм между рабочими, с одной стороны, и капиталистами и князьями—с другой, тем чаще повторялись восстания. Кроме собственно горнорабочих особенно большую стойкость обнаруживали, кажется, горные кузнецы. Изстари селились они близ важных горнозаводческих пунктов и изготовляли инструменты для горнорабочих и всевозможные железные орудия для шахт. Уже изданный в 1300 году куттенбергский горный устав (I. 16) подробно говорит о горных кузнецах, отзывается о них, как о главных подстрекателях к беспорядкам на рудниках и рекомендует кузнечным мастерам старательно выбирать таких подмастерьев, „которые не принимают участия ни в собраниях, ни в заговорах, ни в опасных для государства

---

[1]) *Cyriacus Spangenberg*, Sächsische Chronica. Франкфурт на Майне 1535 г.

стремлениях" (contra nostram rempublicam aliquibus machinationibus) (*Achenbach*, Das deutsche Bergrecht, I, стр. 204).

В хрониках того времени как раз в последние десятилетия и годы перед началом крестьянской войны сообщается о необыкновенно многочисленных восстаниях горнорабочих,—признак напряженности положения.

Для примера можно указать на столкновения из-за заработной платы, имевшие место около этого времени в саксонских рудниках.

В 1478 году герцоги Эрнст и Альбрехт Саксонские писали в совет Фрейберга: „Дорогие верноподданные! До нас дошло, что рабочие на Шнееберге и повсюду в наших землях и княжестве, где построены рудники, требуют больше заработной платы, чем обыкновенно давалось им до сих пор. Если это допустить, позволить и претерпеть, в будущем может возникнуть и вырасти из этого заметный вред для нас и наших (подданных). Чтобы предотвратить это, мы желаем и полагаем переговорить об этом с сведущими в горном деле людьми нашего княжества, чтобы было принято и установлено общее правило, что́ должно платить всякому по его заслугам и труду. Поэтому мы желаем, чтобы вы явились в Дрезден во вторник после Крестопоклонного воскресенья, и доставили бы и привели с собою двух или трех сведущих в горном деле людей, которые понимают в службе и заработной плате рабочих. На тот же день мы вытребовали к нам и еще других наших сведущих в горном деле людей, чтобы обсудить таковой устав и правила... Дано в Дрездене, в понедельник после Reminiscere (второе воскресенье великого поста). От Р. Х. 1478 г." [1]).

Следовательно, рабочие не были приглашены на совещания. Какой результат имели они, мы не знаем. Во всяком случае, мир продолжался недолго. Уже от 1496 года сообщают: „Тогда они (горнорабочие) в 1496 году прогнали судей и шеффенов (заседателей) *Шнееберга*, так как те хотели уменьшить на грош заработную плату рудокопов; другая же часть в это время с горы отправилась отчасти в Шлет-

---

[1]) *Klotzsch*, Ursprung der Bergwerke in Sachsen, стр. 87.

тау и в Лизниц, отчасти в Гейер, и тамошний гауптман фон-дер-Планиц, собравши крестьян, должен был брать Шнееберг. Однако, уже через четыре дня часть горнорабочих возвратилась к своим обязанностям. Такие же противозаконности повторились опять через два года, так как горнорабочие предложили рабочим при воротах и ученикам последовать за ними, если они не хотят быть изрубленными в куски, и решились идти на жителей Цвиккау и Плау, которые собрались против них. Однако, мирными уговариваньями удалось, наконец, их успокоить" [1]).

В 1496 году у горнорабочих на Куттенберге тоже началось возмущение по причине столкновений из-за заработной платы; они выступили вооруженные и, развернув знамена расположились лагерем на соседней горе. Впрочем, в конце-концов, им пришлось уступить.

Не задолго до взрыва крестьянской войны сообщают о движениях горнорабочих в Иоахимстале.

В 1516 году началось процветание рудника. Маттезиус в своей „Хронике вольного горного города в Иоахимстале от 16-го до 78-го года" сообщает об одном восстании уже через год по открытии рудника: в 1517 году было „первое восстание горнорабочих, когда они выступили в день Маргариты в Бухгольц".

Под 1522 годом сообщается о „другом восстании, когда отправились в Гюркнер".

И в 1524 году снова: „восстание горнорабочих; оно улажено графом Александром фон-Лейссник".

Но из всех этих столкновений, как и у ремесленных подмастерьев, не возникло революционного по своим целям движения.

В XV и XVI столетиях горное дело в техническом и экономическом отношениях достигло много более высокой ступени развития, чем какая бы то ни было другая отрасль производства того времени, и сильнее всего приближалось к капиталистической крупной промышленности; тем не менее, не горнорабочие были вождями и передовыми борцами пролетариата.

[1]) *Benseler*, Geschichte Freibergs und seines Bergbaues. Фрейберг 1843, т. II, стр. 389. Сравн. *Herzog*, Chronik von Zwickau, т. II, стр. 158.

Причины тому лежат в характере самого горного дела. Оно изолировало рудокопов в недоступных горных долинах, вдали от мирового обмена, от возбуждений центров торговли. Многие из старых золотых рудников в Тауэре находились в области глетчеров. Горное дело обособляло рабочих от их сотоварищей по профессии в других областях, оно обособляло их от других эксплуатируемых и угнетенных слоев населения, суживало их кругозор или, по меньшей мере, препятствовало его расширению и ограничивало их интересы мелкими местными и профессиональными делами.

Конечно, горнорабочие подвергались эксплуатации и были недовольны; конечно, они не останавливались перед тем, чтобы с оружием в руках добиваться признания своих прав; конечно, они обнаруживали готовность примкнуть к революционному движению, даже итти в его первых рядах,—но только в тех случаях, когда их обособленные преходящие интересы совпадали с интересами всего движения. Когда же их отдельные мелкие требования — относительно заработной платы и условий труда—получали удовлетворение, горнорабочие, не задумываясь, оставляли движение и покидали вождей.

Благодаря обособленности, *цеховой партикуляризм* развился у горнорабочих, пожалуй, еще сильнее, чем у городских ремесленных подмастерьев; и сохраняли его они дольше всех, пока наше время не положило ему конец. В настоящее время центр тяжести горного дела—уже добывание не золота и серебра, а каменного угля и железа. Месторождения последних—не лежащие в стороне лесистые горы; рельсовыми путями они самым тесным образом связываются со всей промышленностью и с мировым рынком. При таких обстоятельствах все больше должна уничтожаться обособленность горнорабочих.

11. Капитал и труд в ткацком деле.

Неорганизованные пролетарские массы, конечно, в еще меньшей мере, чем ремесленные подмастерья и горнорабочие, могли выдвинуть действительно революционную поли-

тическую линию и итти по ней с настойчивостью и последовательностью. Они сознавали в себе не новый растущий класс, а продукт разложения падающих классов. С последними, в особенности с крестьянами, попутчиками которых они часто являются, они связывались своими симпатиями. Они—разъединенные, гонимые, запуганные,—были неспособны поставить перед собою свои собственные задачи и слишком слабы для того, чтобы собственными силами преследовать эти задачи. Конечно, они были преисполнены глубокого недовольства против существующего, но об этом мы можем судить только по той готовности, с какой они примыкали к революционному восстанию. Они всегда были готовы делать общее дело с крестьянами,—к которым они стояли так близко,—как только те восставали; принимали они участие и в коммунистических движениях, если только последние достигали успеха. Но от них нельзя было ожидать инициативы в движениях этого рода и даже вообще идеи о преобразовании общества.

Носителями зачатков коммунистического рабочего движения не могли быть ни горнорабочие, ни ремесленные подмастерья, ни неорганизованные пролетарии городов. Существовал только *один* слой рабочих, который условия не только сделали восприимчивым к коммунистическим тенденциям, но уму которого эти условия давали необходимый толчок для того, чтобы выработать из этих тенденций новый общественный идеал, и которому они сообщали необходимую энергию для того, чтобы хранить этот идеал в эпохи, когда достижение его представлялось совершенно безнадежным. Это были рабочие *текстильной промышленности*, в особенности *шерстоткачи*.

Разумеется, сказанное следует понимать cum grano salis (с некоторым ограничением). Если в настоящее время мы говорим, — и по справедливости говорим, — что промышленный пролетариат является носителем социал-демократического движения, то это вовсе не значит, что в нем не принимают участия, — часто очень энергичного — члены других классов: мелкие буржуа, литераторы, фабриканты и т. д. Некоторые из этих элементов могут выдвигаться даже

на первый план в движении. Но это не значит также, что всякий промышленный пролетарий—социал-демократ.

С таким же ограничением следует понимать и то положение, что рабочие текстильной промышленности были носителями зачатков коммунистического рабочего движения. Мы наблюдаем, что в нем принимали участие и другие элементы. Точно так же было бы нелепостью утверждать, будто каждый ткач был коммунистом. Однако, насколько мы в состоянии проследить эти движения, насколько до нас дошли о них достоверные сведения, мы всегда находим, что ткачи принимают в них выдающееся участие; а это едва ли можно объяснить простою случайностью.

Объяснение, кажется нам, не представит больших затруднений, если познакомиться с первыми шагами шерстяной промышленности.

Мы можем оставить другие отделы текстильной промышленности: производство льняных, хлопчато-бумажных и шелковых тканей,—потому что по своему значению в средневековой международной торговле они не могут итти в сравнение с шерстяной промышленностью. В тех же случаях, когда производство полотна и плиса развилось в производство для вывоза, как в Ульме и Аугсбурге, оно в основных чертах обнаруживало такие же капиталистические особенности, как и шерстяная промышленность. То же надо сказать и о шелковой промышленности в Италии [1]).

„Среди всех производств Германии шерстяная мануфактура изстари занимает первое место. В средние века она обусловила силу и процветание немецкого городского сословия. На ввозе необходимых сырых материалов и вывозе ее фабрикатов основывалась морская сила Ганзы и прежняя германская мировая торговля. Зажиточности, распространенной этой мануфактурой, отчасти обязана Германская империя своей силой и своим мировым положением в последние столетия средних веков... История развития шерстяной промышленности в Германии охватывает поэтому больше, чем

[1]) Сравн. *Romolo Graf Broglio d'Ajano.* Die Venetianische Seidenindustrie und ihre Organisation bis zum Ausgang des Mittelalters. Stuttgart 1893

развитие какой-то отдельной отрасли производства; она является в то же время и историей экономической культуры Германии. Да, в ней отражается ход нашей национальной жизни".

Такими словами начинается статья Гильдебранда „К истории германской шерстяной промышленности" [1]). С известным ограничением, в сказанном едва ли есть преувеличения; с тем именно ограничением, что положение Германии в мировой торговле обусловливалось не только шерстяной промышленностью, но и горным делом, которое по временам, особенно в начале XVI века, оказывало на экономическую жизнь Германии более сильное влияние, чем шерстяная промышленность.

Но остается фактом, что для Германии и вообще для западно-европейских стран шерстяная промышленность была первой отраслью промышленности, работавшей для экспорта.

На изготовление одежды в средние века, кроме шкур и кож, употреблялось полотно. Шерстяные ткани сначала были роскошью, которую могли позволить себе только наиболее знатные. Льно-ткачество было исконным семейным производством. Женщины в семье и в усадьбе изготовляли необходимое для потребления полотно. Напротив, переработка шерсти, как только это дело развилось до известной степени, перестала быть семейным производством, потому что она требует сравнительно обширных сооружений, как красильни, сукновальни, мастерския для стрижки сукна и т. д. Только более крупные организации, как монастыри, городские общины или цехи, были в состоянии устроить такие сооружения.

Первых мужчин-ткачей мы встречаем в монастырях. Монастыри же больше всего содействовали распространению шерсто-ткачества в Германии; да и вообще монастыри в начале средних веков были носителями технического прогресса в промышленности и земледелии. И в высшей степени ошибочно то „просвещенное" воззрение, будто католический монах добился господства посредством сбора подаяний и переписывания Евангелия.

---

[1]) B. Hildebrand's. Jahrbüchera. Jena 1866. T. VI, стр. 186 и слл.

В Констанцском монастыре уже в IX веке упоминается о сукновалах и портных. Монахи обучали население вокруг Баденского озера ткать из шерсти и одеваться в шерстяные одежды [1]). В XI веке монастырские правила и статуты особо не останавливаются на ткацком деле. Напротив, в XII веке оно получает для монастырей такое значение, что в правилах монастырей этого века торговля шерстью, обработка запасов шерсти и самое ткачество становятся регулярными занятиями монастырской братии; „так стало прежде всего в относящихся к XII веку постановлениях и правилах цистерцианского ордена“ (*Schmoller*, Die Strassburger Tucher- und Weberzunft, стр. 301). Действительно, цистерцианцы сделали фабрикацию сукна своей специальностью. „В начале XII века, основавши центры обширной и знаменитой суконной промышленности в частях Германской империи по западной границе, этот орден быстро распространился к востоку. В цистерцианских монастырях в Брабанте, в Тюрингене (в Альтенцелле), в Силезии, мы встречаем производство сукна *на продажу;* а так как монастыри и мирян принимали в ученики и в подмастерья, то это не могло не повести к тому, что многие преимущества брабантских ткачей были усвоены и во внутренней Германии“ [2]).

Ремесленное шерстоткачество быстро развивалось не только в монастырях, но и в городах, прежде всего в нидерландских городах, где процветание его началось уже в X веке.

Новая промышленность была производством предметов

---

[1]) *C. G. Rehlen*, Geschichte der Handwerke und Gewerbe. Лейпциг 1856, стр. 97.

[2]) *Hildebrand*, zur Geschichte der deutschen Wollenindustrie, стр. 216.—Что римская церковь и вообще старалась распространять полезные светские знания, показывает запрос, направленный преподобным Бонифацием к не менее преподобному отцу в Риме: как лучше всего употреблять сало? Папа, по имени Захария, ответил, что он у церковных отцов не нашел ничего относительно этого вопроса, столь важного для блага грешного человечества. По его мнению, сало можно есть только в том случае, если оно хорошо прокопчено или прожарено. Сырым же его можно есть только после Пасхи (Сравн. *A. Schlossar*, Speise und Trank vergangener Zeiten in Deutschland, стр. 9).

роскоши. Шерстяные ткани долгое время оставались доступными только более знатным и богатым классам населения; в XV веке, когда у ремесленников и крестьян также возник спрос на шерстяные ткани, на это смотрели, как на признак великой роскоши, распространяющейся среди низших сословий.

Тонкое сукно было в особенности предметом роскоши; за него платили высокие цены. Рынком для него служила вся Европа. Не удивительно, что там, где одновременно встречались необходимые для того предпосылки,—где добывались массы особенно хорошего сырого материала, а техника достигла довольно высокого уровня,—производство сукна легко развивалось в производство для вывоза.

Так было прежде всего во Фландрии. Фламандские сукна уже в XIII веке славились во всей Европе. Во Фландрии шерстоткачество развилось очень рано. В распоряжении фламандских ткачей была не только шерсть, которую в большом количестве производила их собственная страна, но и английская шерсть, лучшая из известных в то время. В Англии собственная шерстяная промышленность развилась сравнительно поздно [1]).

---

[1]) Позволим себе одно замечание, которое не стоит в непосредственной связи с нашей темой, но все же кажется нам заслуживающим внимания. Гильдебранд в своей уже упоминавшейся статье указывает на то, что шерстяная мануфактура (позже, в эпоху капитализма) особенно развилась в тех странах, которые наиболее пригодны для овцеводства: в северной Германии, Саксонии, Англии. Напротив, виноделие, как кажется, препятствовало развитию овцеводства и, следовательно, шерстяной мануфактуры,—так было, напр., в юго-западной Германии (loc. cit., стр. 232, 233). Пожалуй, можно было бы пойти дальше и сказать: овцеводство благоприятствует крупному сельскохозяйственному производству в форме пастбищного хозяйства. В странах, где выгодно овцеводство, с расцветом капиталистической шерстяной промышленности явилась поэтому, прежде всего, и возможность крупного капиталистического предприятия в области сельского хозяйства; в этих странах у землевладельцев было больше всего побуждений экспроприировать мелких крестьян и создавать крупные сельско-хозяйственные производства. Напротив, виноделие благоприятствовало мелкому производству. Где виноделие преуспевало, для землевладельцев было выгоднее эксплуатировать крестьян, повышая феодальные повинности, чем увеличивая собственное производство посред-

Во многих городах шерстяная промышленность осталась ремеслом, производившим только на местный рынок, как в общем и другие ремесла. Но даже и там она попала в зависимость от мирового рынка: внутренний рынок оспаривался иноземной конкуренцией и таким образом становился маленькой частью мирового рынка. Поэтому мировой рынок оказывал решающее влияние на шерстяную промышленность и в тех пунктах, где ей не удалось перерости рамки чисто местного производства и сделаться производством для вывоза. И здесь таким образом развилось противоречие интересов между производителями сукна и купцами, которые ввозили сукна и, следовательно, создавали конкуренцию туземным производителям. Это была не традиционная враждебность к купцам масс населения, как *потребителей*, — это был совсем иного рода антагонизм: между *производителями и торговцами*. Массы населения тем враждебнее настраиваются против купцов, чем *выше* назначенные ими цены; недовольство же шерсто-ткачей возрастало тем больше, чем *дешевле* товары — иноземные сукна — доставлялись купцами на рынок.

Но рядом с антагонизмом, вытекавшим из конкуренции, между шерсто-ткачами и купцами развивалась другая противоположность интересов: противоположность эксплуатируемых и эксплуататоров. Там, где шерстяная промышленность стала промышленностью для экспорта, капитал сделался необходимым условием для ее ведения. Теперь, ведь, продавали уже не прямо потребителям. Прежде, чем быть проданными, товары должны были совершать отдаленные путешествия, иногда странствовать с рынка на рынок; в период между производством и окончательным сбытом они подвергались многим опасностям. Проходило продолжительное время до получения выручки за товар. Этого мало: скоро после того, как шерстяная промышленность сделалась экс-

ством экспроприации крестьян. Поэтому мелкие крестьяне сохранились в занимающихся виноделием странах,—в южной Германии, в различных частях Франции и т. д. Следовательно, различие форм землевладения в названных странах объясняется тем, что в них развились различные формы производства.

портной промышленностью, пришлось приступить к ввозу шерсти, сырого материала, из далеких краев. Ближайшие окрестности не могли удовлетворить растущему спросу на шерсть. И чем больше развивалась промышленность, чем больше росла конкуренция, чем большее внимание обращалось на тонкость и доброту сукна, тем тщательнее выбирался сырой материал. Только немногие страны производили достаточно хорошую шерсть Наилучшая привозилась, как упомянуто выше, из Англии. Чем отдаленнее становились пути, по которым привозились сырые материалы, тем дороже становились они, и тем большие запасы их приходилось заготовлять. Капитал, вложенный в сырые материалы, возрастал, и обращение его замедлялось в той мере, как расширялся экспорт. Производитель сукна или сам должен был сделаться капиталистом, или же он попадал в зависимость от купца, который делал ему необходимые ссуды. Развитие совершалось в обоих направлениях. Шерсто-ткач или принижался до положения домашнего производителя в современном смысле этого слова,—до положения домашнего рабочего, с одним подмастерьем или совсем без подмастерьев; сырой материал он получал от купца и купцу же передавал и продукт за соответствующее вознаграждение. Или же производитель сукна становился капиталистом, который нанимал сравнительно большое число подмастерьев и держал в руках не только производство, но и торговлю. До такого положения поднимались не только *ткачи-мастера*, но иногда и другие ремесленники, принимавшие участие в производстве сукна.

Шерсть, прежде чем обратиться в сукно, проходила через различные процессы труда, которые выполнялись все большим числом различных обособившихся ремесл. В Страсбурге, напр., в XIV веке от ткачей выделились прежде всего *шерстобиты;* они очищали, расчесывали и перепрядали шерсть. Потом пряжа шла к ткачам. С ткацкого станка сукно отправлялось в сукновальню; валяние сукна в XIV веке тоже сделалось самостоятельным ремеслом, как и ремесло стрижки сукна,—операция, производимая вслед за сукнованием. Позже всего от ткачества отделилось кра-

шенье шерсти. Только во второй половине XV века крашенье начинает выступать, как самостоятельное ремесло, и до самого XVI века многие мастера-суконщики сами красили свои сукна.

Каждое из этих ремесл находилось в технической зависимости от других и каждое старалось привести эти другие в экономическую зависимость от себя. Особенно горячая борьба разыгралась между шерстобитами и ткачами. Иногда, напр., в Силезии, ткачам удавалось экономически подчинить себе шерстобитов, но обыкновенно бывало так, что ткачи становились подмастерьями у шерстобитов. Из шерстобитов развилась *аристократия торговцев* шерстью; шерсть расчесывалась и перепрядалась или беднейшими мастерами их собственного ремесла или же подмастерьями в их доме и потом поступала к ткачам,—к подмастерьям или „самостоятельным" домашним промышленникам (кустарям). Уже выступали и зачатки мануфактурной системы, наиболее развитые в монастырях, где в одном доме объединялись все частичные работы, необходимые для производства сукна. Но и в ремесле с XV века мы встречаемся с тем явлением, что в домах у суконщиков рядом с подмастерьями-шерстобитами кое-где работали и подмастерья-ткачи. В ткачестве мы находим, далее, широкое разделение труда в той форме, что каждый шерсто-ткач ограничивается одной специальностью: шерсто-ткачество распадалось на 5—6 подразделений. Другой вид разделения труда выступает в шерстобитном деле; здесь различные, следующие одна за другой, операции выполняются различными рабочими. Благодаря этому разрушается цеховое ремесло шерстобитов, и различные его операции поручаются не-цеховым наемным рабочим, отчасти совсем необученным рабочим: *крестьянам, женщинам и детям*. В соответствии с капиталистическим характером суконной промышленности стоит и раннее развитие в ней сдельной заработной платы. Местами дошло до того, что сдельная заработная плата стала оказывать вредное действие и потому отменялась,—в Ульме, напр., постановлением городского совета (1492 года); „потому что торопливость причиняет ущерб добротности". Прекрасная же си-

ль
ни
тема штрафов, которою современный капиталист вынуждает возможно наилучшее качество при самой быстрой работе, была очень слабо развита в эпоху мрачного средневековья.

Кроме сдельной заработной платы, о капиталистическом характере суконной промышленности свидетельствует и то обстоятельство, что, в противоположность большинству ремесленных подмастерьев и подобно современным рабочим, подмастерья-ткачи имели право жениться. Женатый подмастерье уже не принадлежал к семье мастера.

Шерстяная промышленность развивалась в техническом отношении несравненно быстрее, чем какая бы то ни было другая городская отрасль промышленности. Мы уже указывали, что она очень рано нуждалась в сравнительно сложном техническом аппарате. Этот аппарат становился все обширнее по мере того, как развивалось разделение труда; прогрессу же разделения труда сильно способствовало производство для вывоза, массовое производство.

Сырая шерсть прежде всего подвергалась чистке. Для этого требовалась *шерстобитня*. Там *шерстобиты* чистили и размягчали шерсть. После этого ее следовало разделить для пряденья в равномерные хлопья. Это обыкновенно производилось *шерсточесами*,—или самостоятельными ремесленниками или женщинами. Иногда такая операция выполнялась в особых домах—в шерсточесальнях.

Оттуда шерсть поступала к прядильщику. Прядение выполнялось или особым цехом или подмастерьями ткачей, или же наемными рабочими ткачей, стоящими вне цехов, особенно *женщинами*. *Прядильное колесо* в XVI веке было уже во всеобщем употреблении.

От прядильщика пряжа поступала к ткачу, который перерабатывал ее на *ткацком* станке; от него к валяльщику в *сукновальню*. В средние века сукновальни устраивались повсюду. По выходе из сукновален сукна растягивались на рамах для просушки. Для этого требовалось особое место. Потом за сукно принимались *ворсильщики*, которые разрыхляли нити ворсильными щетками; потом новые рабочие *стригли* сукно (т. е. подстригали взрыхленные нити)

Это требовало особых приспособлений для *стрижки сукна*. Потом сукно поступало в *белильни* для отбелки или в *красильни*, а иногда уже и к *набойщикам сукна* (в аугсбургском податном регистре 1490 года упоминается одно такое заведение).

Наконец, мы встречаем упоминания и о *прокатных заведениях* для сукон; следовательно, можно думать, что сукна гладили и прессовали так же, как в настоящее время полотно [1]).

Некоторые из аппаратов суконного дела были настолько обширны и дороги, что отдельный ремесленник был бы не в состоянии приобрести их. Они устраивались городами или цехами. Тогда еще не развилась капиталистическая собственность отдельных предпринимателей на орудия труда их рабочих. Но вследствие прогрессирующего разделения труда дух изобретательности уже стал заявлять о себе именно в области шерстяной промышленности; введение упомянутых выше аппаратов знаменовало ряд *технических революций* и служило толчком к дальнейшим техническим переворотам, к непрерывным улучшениям и усовершенствованиям. Прядильное колесо, напр., введено в конце XV века; сначала оно приводилось в движение *руками*. В 1530 году Юргенс из Ваттенмюля в Брауншвейге изобрел прядильное колесо, приводимое в движение конским приводом. Валяние сукна первоначально производилось ногами. Изобретение суконовальной машины (быть может, в XII в.), приводимой в движение водой, положило конец сукнованью ногами. Последних сукновалов, работавших этим примитивным способом, мы встречаем в XIV веке.

Каждый поступательный шаг техники делал *излишними* рабочие силы. Эта сторона современного индустриализма нигде не выступала так рано, как в области шерстяной промышленности.

Конечно, накануне Реформации шерстяная промышленность еще не развилась до такой близости к крупному капита-

---

[1]) *B. Hildebrand*, Zur Geschichte der deutschen Wollenindustrie. Hildebrand's Jahrbücher, 1866 г., VII, стр. 90—98.

листическому производству, как горное дело. В этом отношении шерстяная промышленность еще оставалась позади горного дела. Но в то время, как последнее развивалось в захолустьях, и горнорабочие оставались обособленными, изолированными от остального мира, далекими от стремлений и борьбы своих товарищей, шерстяная промышленность принимала капиталистический характер по большей части в городах, через которые прокатывались волны мирового обмена, и которые подвергались возбуждениям, шедшим из прогрессивнейших стран Европы: из Италии, Нидерланд, Франции, Германии. Именно, в шерстяной промышленности таких городов с наибольшей быстротой и резкостью развились особенности капиталистического производства,—как в конце XVIII века промышленный переворот в Англии открыло тоже *текстильное* производство. Мастера стремились сделаться капиталистами; они в большей мере, чем мастера других городских ремесл, противостояли своим подмастерьям в качестве эксплуататоров и отделялись от них глубокой пропастью. Если мастеру не удавалось сделаться капиталистом, он сам становился наемным рабом у купца, домашним промышленником и тогда ближе стоял к своим подмастерьям, чем мастера в других ремеслах, и чувствовал себя солидарным с подмастерьями, когда те выступали против общих эксплуататоров. В то же время с подмастерьями все больше сближался не-цеховой рабочий, как товарищ их по труду, стоящий в одинаковом с ними общественном положении.

Таким образом, для шерсторабочих цеховая исключительность быстро утрачивала всякое значение; одновременно расширялся их кругозор, благодаря той важности, какую получал для них мировой рынок. То, что для других граждан было просто одним из праздничных удовольствий:

Ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei,
Wenn hinten, weit, in der Türkei,
Die Völker aufeinander schlagen [1],—

[1] Потолковать о битвах, о войне,
Как где-то в Турции, в далекой стороне,
Народы режутся и бьются.

то же самое для занятых в шерстяной промышленности было самым серьезным делом. Подвоз сырого материала и сбыт товаров зависели от того, будет ли война между Англией и Францией, какую позицию займет в ней Фландрия, в каких отношениях стоят Ганза и Дания, свободна ли дорога к Новгороду, заключит ли император мир с Венецией и т. д. Для того, кто работает на мировой рынок, наступает конец ограниченной „политике прихода", но вместе с тем конец и той беззаботности, спокойствию за будущее, которые сохраняет ремесленник, работающий на кумовьев да на знакомых. К чисто городским столкновениям, в которых участвовали, а иногда играли даже первую роль и шерсторабочие, к цеховой борьбе, разразившейся вследствие отмеченных социальных и технических переворотов, присоединялись еще отраженные действия перемен за границею и торговых кризисов. В результате спокойствие никогда не наступало в шерстяной промышленности, и перевороты в ней сделались непрерывными. Шерстяная промышленность была самой революционной отраслью городской промышленности в конце средних веков, и рабочие этой промышленности были тоже революционны. Поэтому для занятых в шерстяной промышленности общество не представляло чего-то устойчивого, неподвижного; они легче всего могли притти к идее коренного изменения в строе общественных отношений. Они тяжелее всего чувствовали на себе эксплуатацию,—у них было больше всего оснований к вражде против богатых.

Шерстяная промышленность превосходила все ремесла полнотою развития своих сил. Каждый город в то время сам по себе представлял общество. А в зажиточных городах, в тех, которые работали на тогдашний мировой рынок западной промышленности,—а он простирался от Англии до Новгорода и Константинополя,—шерстяной промышленности принадлежала самая важная роль в экономической жизни. От шерстяной промышленности, т. е. в конце-концов от ее рабочих, зависело процветание городов.

Но не только по своему экономическому значению, но и по численности занятых в ней, преимущественно, ткачей, шерстяная промышленность представляла крупную силу для

тех городов, где она процветала. Для нас цифры шерстоткачей покажутся незначительными; но для того времени, для мелких городов средних веков, шерстяная промышленность сосредотачивала в своих главных центрах колоссальные массы людей.

В Бреславле уже в 1333 году ткачи выступили с 900 хорошо вооруженных мужчин. Из Кельна по усмирении одного восстания было изгнано 1 800 ткачей. Но особенно многочисленны были они в Нидерландах. В 1350 году в Льеже насчитывалось 400 ткацких станков, столько же в Иперне и 3 200 в Мехельне. В 1326 году из Гента за один раз было изгнано 3.000 ткачей, потому что они обнаруживали склонность к восстанию против фландрских графов. Во второй половине XIV века в том же городе стояло под оружием 18,000 мужчин, занятых сукноделием. В Брюгге в эпоху процветания ремесла 50,000 человек жило переработкою шерсти [1]).

Из скопления масс ткачей в отдельных местах выростала их великая революционная сила. Не удивительно, что, по словам хроники аббатства Трудо, ткачи характеризуются большею заносчивостью и дерзостью, чем все другие ремесленники.

Если принять во внимание все эти обстоятельства, то будет понятно, что именно шерстяная промышленность сделалась очагом социально революционных стремлений эпохи Реформации; что каждый раз, когда шла борьба против существующей городской или государственной власти, ткачи неизменно оказывались в первых рядах; что они были наиболее восприимчивы к тому направлению, которое выступало войной против всего господствующего общественного строя; что ткачи, как общее правило, оказываются связанными со всеми коммунистическими движениями конца средних веков и эпохи Реформации, поскольку в этих движениях вообще дает знать о себе пролетарский класс. „Не да-

[1]) *Hildebrand*, loc. cit., стр. 83. Срвн. также *Dr. H. Grothe*, Bilder un Studien zur Geschichte vom Spinnen, Weben, Nähen. Берлин 1875, стр. 21 и сл.

ром", говорит Шмоллер, разговорный язык, отожествляя понятия—ткач и заговорщик, до сих пор пользуется образом тканья за станком, чтобы выразить, как тайно и медленно ткутся (anzettelt) политические безпорядки" [1]).

„В глазах некоторых современников", говорит Гильдебранд, „цехи суконделов занимали такое же положение, какое в 1848 году кое-кто приписывал привилегированному(!) классу „рабочих" [2]).

---

[1]) Schmoller, loc cit., стр. 465.

[2]) Выше цитированная работа, стр. 115.

ОТДЕЛ ВТОРОЙ.

Коммунистические секты в Средние века.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общий характер средневекового коммунизма.

1. Монастырский коммунизм.

Из всех культурных христианско-германских стран цивилизация мировой Римской империи глубже всего укоренилась в Италии и южной Франции. Переселение народов здесь меньше, чем где-либо, разрушило и оборвало преемственную связь с этой цивилизацией; здесь же сохранялись и поддерживались наиболее оживленные сношения с такими странами Востока, цивилизация которых стояла на сравнительно высоком уровне: Египтом, Сирией, Малой Азией, Константинополем. В Италии и южной Франции городская жизнь не вполне замерла даже в эпоху самого мрачного варварства, наступившую непосредственно за переселением народов. Города этих стран быстрее всего восстановили свои богатства и силу,—и общественные противоречия, порождаемые товарным производством, из всех средневековых стран прежде всего выступили в Италии и южной Франции, или, пожалуй, средние века восприняли здесь эти противоречия от древности.

В этих частях Европы никогда не исчезал и пролетариат. В городах Италии и южной Франции он раньше всего сделался заметным фактором общественной жизни, и вполне понятно, что среди него зародились первые коммунистические движения средних веков.

Строй итальянских и южно-французских городов того времени обнаруживал большое родство с устройством городов древнего Рима; традиции римской эпохи в южно-европейских странах отличались наибольшей живучестью. В связи с этим возникающий там пролетарский коммунизм обращается к формам, сохранившимся от эпохи упадка Римской империи. Оппозиция пролетариев против буржуазного общества приняла сначала монастырский характер; в Италии и южной Франции она переросла его только в XIX веке.

Но для того, чтобы понять монашество, мы должны еще бросить взгляд на первые века христианства. Мы видели, что стремления первоначального христианства к осуществлению коммунизма оканчивались крушением вследствие тогдашних общественных отношений. Но мы видели также, что те самые условия, благодаря которым коммунизм не мог сделаться состоянием всего общества, снова и снова порождали пролетариат и, следовательно, снова и снова создавали потребность в коммунистических учреждениях.

Чем дальше распространялось христианство, тем откровеннее отказывалось оно от полного осуществления коммунизма. Но с тем большею силой проявлялось стремление создать в христианстве отдельные коммунистические корпорации.

Прообразом таких союзов послужила единственная из коммунистических организаций, основанных на общности имуществ, от которой в то время сохранялись по меньшей мере остатки: *семья*, или, говоря точнее, *домашняя община*. В древности, и даже еще в эпоху империи, каждое сельскохозяйственное производство представляло самодовлеющее замкнутое целое, которое само производило все важнейшие предметы своего потребления и продавало, как товары, только избытки. Первоначально такие производства были исключительно домашними общинами, большими семьями, состоящими из 40—50 членов, которые жили на вполне коммунистических началах и сообща владели и пользовались средствами производства и потребления. Сельскохозяйственные производства еще больших размеров представляли крупные рабовладельческие хозяйства. Только некоторая

часть их являлась плантациями, на которых производился лишь один определенный продукт, напр., пшеница. Большею частью они не только производили продукты земледелия и скотоводства,—в том числе и все средства существования для своих рабочих,—но и перерабатывали, в особенности зимой, сельскохозяйственные сырые материалы в промышленные товары.

Совершенно естественно, что, когда в деревне выступили коммунистические стремления, коммунисты начали по образцу таких самодовлеющих домовых общин устраивать производства. Однако, члены этих производств связывались не узами крови, как семья, и сплачивались не внешним принуждением, а объединялись общностью коммунистических убеждений и общностью интересов и удерживались вместе определенными правилами и обетами.

Такими искусственными коммунистическими образованиями были поселения ессеев, погибшие одновременно с иудейским государством.

Первые христиане жили в больших городах, где ни способ производства—раздробленное ремесло—ни политические условия, принуждавшие христиан к созданию тайных организаций, не благоприятствовали образованию таких домовых коммун. Они сделались возможными лишь с того времени, как христианство (в IV веке) сделалось государственной религией, и христиане повсюду в Римской империи получили возможность организоваться. Тогда быстро возникли многочисленные христианские домовые коммуны, *монастыри*.

Те самые слои населения, из которых рекрутировались первые христиане, доставляли наибольшее число монахов и монахинь, членов новых домовых коммун. С одной стороны, это были богатые люди, которые почувствовали отвращение к богатствам и к тем слоям общества, в которых они вращались, благодаря своим богатствам. С другой стороны это были—и из таких составлялось большинство—бедные люди, искавшие в монастырях убежища, в котором им было отказано „светским", т.-е. гражданским обществом. „Теперь",---жалуется блаженный Августин,—„службе Богу

servitutis dei) посвящают себя, главным, образом рабы или вольноотпущенники, или такие люди, которых ради этого господа отпустили или отпустят на волю, или крестьяне, или ремесленники, или другие плебеи" [1]).

Семья может разнообразнейшими способами добывать средства существования: трудом, прошением милостыни, эксплуатацией. И монастыри изыскивали средства разнообразнейшими способами. В одних преобладали склонности пролетариев бедняков, составлявших большинство членов, они обращались преимущественно к прошению милостыни. Другие монастыри были так счастливы, что нашли богатых членов или покровителей, которые дарили им деньги, имения и рабов или колонов, эксплуатацией которых и жили благочестивые люди. Но подавляющее большинство монастырей представляло союзы бедных людей, которые объединялись потому, что они могли лучше перебиться взаимными силами. Такие монастыри, по крайней мере на первых порах, держались *физическим трудом* своих членов.

Первые монастыри, о которых мы знаем – в четвертом веке, – прямо предписывали физический труд. Его требовали и выдающиеся основатели монастырей того времени: Антоний, Пахомий, Василий (в четвертом веке), Бенедикт из Нурсии, основатель бенедиктинского ордена (в начале шестого века).

Первоначально каждый член по желанию мог выйти из своей общины: он также и по одежде не выделялся из остального населения.

На этой ступени развития монастыри по своему характеру и целям имеют много общего с производительными товариществами пролетариев нашего времени. Как монастыри, так и производительные товарищества пытались разрешить в ограниченной сфере „социальный вопрос" своего времени, пользуясь только собственными силами участников.

Но при всем сродстве этих организаций, между ними существуют и значительные различия, соответственно различиям между обществами современным и римским.

---

[1]) De opere Monachorum, c. 22 Цит. у J. C. L. Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte, 3 изд., 1, стр. 545.

Капиталистический способ производства почти все производство превратил в товарное производство. Поэтому и производительные товарищества рабочих вынуждены производить товары. Они производят предметы потребления не для удовлетворения собственных потребностей, а для рынка; им приходится бороться с риском и весьма деморализующими влияниями, которые приносит с собою система свободной конкуренции и связанные с нею кризисы.

До развития капиталистического способа производства сельско-хозяйственное производство направлялось, преимущественно, на создание предметов собственного потребления. Каждый крестьянский двор, каждое помещичье хозяйство производили все или почти все, что требовалось им, и только избытки шли на рынок, становились товарами. Так было организовано производство и в монастырях. С появлением избытков, которые связывали монастыри с рынком, с внешним миром, выступило на сцену великое искушение, за которым в большинстве случаев следовало грехопадение. Излишки должны были принадлежать бедным; но монастырям было выгоднее пускать их в продажу и употреблять на себя.

В позднейшие столетия средних веков, когда развилась городская промышленность, монастырское производство на рынок могло являться жестоким конкурентом ремесленников. Но главным делом все же оставалось производство для собственного потребления. В монастырях оно дольше, чем где-либо, противостояло влияниям развивающегося капитализма; хозяйство в них дольше всего сохраняло натуральный характер. Этой системе хозяйства монастыри обязаны и своим консерватизмом, и своей устойчивостью, своей способностью к сопротивлению,—качества, которых мы тщетно стали бы искать в современных производительных товариществах.

Второе крупное различие заключается в том, что производительные товарищества нашего времени основываются на общей собственности на средства производства, а не на средства потребления. Напротив, в монастырях на первом плане стояла совместность жизни, совместность домоводства, а общая собственность на средства производства была вто-

ростепенным делом, которое осуществлялось между прочим и только потому, что без этого коммунистическое домоводство не могло бы приобрести достаточной прочности: опыт показал, что общее домашнее хозяйство стоит в противоречии с частной, индивидуальной собственностью на средства производства, и что при сохранении частной собственности совместное домохозяйство удерживалось очень недолго. В деревне домашнее хозяйство и производство тоже неразрывно связаны друг с другом.

Существует и еще одно различие между современными производительными товариществами и монастырями. Первые не уничтожают отдельной семьи. С моногамной семьею очень легко совмещается общая собственность на средства производства. Но этого никак нельзя сказать про общую собственность на средства потребления. Поэтому у монаха или монахини не должно быть семьи,—он должен быть связан только с домашней общиной. Но монастыри этим не ограничились. Первобытная, естественно развившаяся домашняя община не исключает отдельного брака для отдельных ее членов. Но эта община основывалась на узах крови, освященных тысячелетними привычками, а не на составленных в недавнее время искусственных правилах, и существовала в обществе, в котором еще не развились частная собственность и право наследования отдельного индивидуума,—по крайней мере, по отношению к важнейшим средствам производства. Напротив, монастыри существовали в эпоху, когда право частной собственности и наследования совершенно сложилось. И как бы далеко в пустынях ни скрывались монастыри, чтобы жить вне гражданского общества, они все таки оставались в его сфере. С допущением моногамного брака в монастырях наступил бы конец их коммунизму: признание его в первоначальных христианских общинах в свое время уничтожило в них коммунизм.

Монастырям, раз они хотели сохранить коммунизм и самих себя, не оставалось ничего иного, как отказаться от брака. Либеральное просветительство видит в безбрачии монахов и монахинь результат полного идиотизма. Но историк, когда известное историческое массовое явление пред-

ставляется ему непонятным, сделает правильно, если причину тому он увидит в недостатке изучения действительных связей между явлениями и обратится к дополнительным исследованиям, а не станет все объяснять глупостью масс, что, конечно, много удобнее и способствует возвеличению самого историка. Монашеское безбрачие вовсе не доказывает, что основатели монастырей были идиотами: оно доказывает, что при известных условиях экономические отношения могут оказаться сильнее законов природы.

Впрочем безбрачие отнюдь не предполагает необходимо целомудрия. Безбрачие, как мы уже однажды упоминали, может осуществляться при наличности внебрачных половых отношений. Платон искал этого выхода. Но в римском обществе брак имел слишком сильные корни для того, чтобы для монастырей был возможен этот выход. Они тем скорее приспособились к требованию целомудрия, что общее покаянное настроение эпохи благоприятствовало аскетическим тенденциям.

Наше предположение, что безбрачие в монастырях вытекало из их коммунизма потребления, не есть простая догадка; оно подтверждается тем фактом, что, как мы можем наблюдать, оба явления постоянно сопутствуют одно другому. В древности мы заметили это у Платона и ессеев. Кроме того, мы можем обратиться для дальнейших сопоставлений к тем колониям в Соединенных Штатах, которые в последние десятилетия XVIII и в первые XIX века стремились к осуществлению примитивного коммунизма. Они, разумеется, сильно отличались от колоний, которые должны были реализовать идеи новейших утопистов: последние, напр., Р. Овен, Фурье и Кабе исходили уже из познания капиталистического способа производства и потому положили в основу своих опытов коммунизм средств производства.

Отсталость коммунизма первого рода по сравнению со вторым выступает уже из его отношения к религиозным вопросам. Для коммунистических общин, которые мы здесь имеем в виду, религия не была частным делом. Они стоят на той ступени, на которой социальные принципы окуты-

ваются религиозным облачением; поэтому принадлежность к общине обусловливает для них и принадлежность к определенной системе религиозных догм.

Чарльз Нордгоф в своей книге о коммунистических общинах в Соединенных Штатах [5]) описал различные религиозно коммунистические колонии, которые идут по разнообразнейшим путям и возникли при разнообразнейших условиях, без всякой взаимной связи между собою. Тем не менее, среди них *нет ни одной*, которая не относилась бы к браку враждебно. При указанных обстоятельствах это согласие совсем не случайность.

Правда, две секты: община Амана (основана в 1844 г.) и сепаратисты (существует с 1817 года), допускают брак; но и они объявляют безбрачие состоянием высшим и более достойным хвалы. Зоарские сепаратисты сначала запрещали брак, но потом, с 1830 года, допустили. Однако, девятая из двенадцати статей, излагающих принципы сепаратистов, говорит следующее: „Всякое общение полов, которое не необходимо для продолжения рода, мы считаем греховным и противным заповеди Божией. Полное целомудрие много достойнее похвалы, чем брак“ (op. cit., стр. 104).

Другие секты прямо запрещают брак. У раппистов он сначала позволялся (с 1803 года), но в 1807 году они пришли к убеждению, что необходимо безбрачие. В 1832 году 250 раппистов, которым надоело безбрачие, отделились от главной общины и основали собственную. *Эта община скоро погибла*, собственность подверглась разделу между отдельными семьями.

Шэкеры, старейшая из коммунистических сект Америки, основанная еще в XVIII веке, считает коммунизм первым из пяти своих главных принципов, а вторым — безбрачие (целибат).

Только одна из этих сект решилась достигнуть безбрачия, которого она и требует, посредством не целибата, а платоновского выхода, что еще больше противоречит совре-

---

[5]) The communistic societies of the United States, from personal visit and observation Лондон 1875.

менному мышлению и чувствованиям, чем пожизненное целомудрие. Это—перфекционисты Онейды и Валлингфорда, которые соединились в 1848 году. Они полагают, что Христос учил общности не только благ, но и лиц. Никто не имеет права сожительствовать с другим лицом против его воли; но „исключительную, идолопоклонническую привязанность" двух лиц друг к другу перфекционисты считают доказательством греховного эгоизма; а где таковой начинает обнаруживаться, его надо задушить „критикою" и другими мероприятиями. Как в государстве Платона, у перфекционистов зачатие детей регулируется обществом и должно совершаться на „научных основаниях" (op. cit., стр. 276).

Замечательно, что в экономическом и интеллектуальном отношениях перфекционисты стоят много выше других примитивно коммунистических сект Америки. Это—единственная из таких сект, у которой правильно поставлено ведение книг, и которая обнаруживает интерес к искусствам и литературе.

Когда цивилизация надвинулась на них вплотную, им тоже пришлось приспособить свою систему брака к требованиям общественного мнения. Основатель и председатель общины, Дж. Г. Нойес в 1879 году обратился к членам ее с посланием, в котором он предлагает следующее:

„1. Мы должны отказаться от практики коммунистического брака,—но не потому, что усомнились в этом учреждении и его осуществимости, а лишь подчиняясь общественному мнению, которое выступает против этого брака.

„2. Мы становимся на почву не шэкеров (которые требуют целибата для всех) и не мира, а апостола Павла, который допускает брак, но предпочитает безбрачие.

„Если вы согласитесь с таким изменением, община будет состоять из двух различных классов: из состоящих в браке и безбрачных. Оба пользуются правами, но последние предпочитаются.

„После этой перемены от нашего коммунизма остается еще следующее:

„1. То, чем мы владеем, и наши предприятия по прежнему остаются общей собственностью.

„2. Мы по прежнему будем жить общим домохозяйством и есть за общим столом.

„3. Воспитание детей у нас по-прежнему остается общее.

„4. У нас останутся ежедневные вечерние собрания и все способы нравственного и умственного совершенствования, которые уже теперь имеются в нашем распоряжении.

„Очевидно, этого коммунизма достаточно, чтобы сплачивать нас".

Но эта надежда слишком скоро потерпела крушение. Почти никто не захотел оставаться в священном состоянии безбрачия. Общий брак разложился на многочисленные моногамные браки, а вместе с тем ушла почва из-под коммунизма домохозяйства.

Теперешний президент общины, В. А. Гиндс говорит об этом следующее:

„Первый шаг вон из коммунизма был сделан, когда „мое" и „твое" нашло применение по отношению к мужу и жене. За этим, естественно, пробудился исключительный интерес к собственным детям; затем выступило требование, чтобы можно было накоплять собственность для их пользования в настоящем и будущем" [1].

Уже в 1881 году община Онейда из коммунистического союза превратилась в акционерное общество, которое процветает превосходно, но уже бойко занимается эксплуатацией рабочих. На него работает 1500—2000 наемных рабочих, и „его политика определяется тем, что оно избегает организованных в профессиональные союзы" (*Hinds*, loc. cit., стр. 227).

Из этого видно, насколько тесно коммунизм, являющийся в первую очередь коммунизмом потребления, связан здесь с уничтожением брака.

Следовательно, мы можем сказать, что безбрачие в монастырях не было продуктом непонятной прихоти или безумной страсти к самоистязаниям, а коренилось в тех материальных условиях, среди которых возникали эти организации.

---

[1]) *W. A. Hinds*, American communities, Chicago 1908, стр. 213.

И еще одному учит нас знакомство с коммунистическими колониями Америки: коммунизм *порождает чрезвычайное прилежание, необычайное трудолюбие.* Трудно представить себе что-либо более нелепое, чем опасение, что в коммунистическом обществе не будут работать. Оно уже давным-давно опровергнуто *опытом.*

Уже цитированная книга Нордгофа дает, между прочим, ряд доказательств и для этого положения. „Я часто спрашивал",—рассказывает он,—„что делаете вы с лентяями? *Но в коммунистических общинах нет праздношатающихся.* Поэтому я думаю, что люди ленивы не от природы. „Зимние шэкеры" – шатущие люди; когда приближается холодное время года, они ищут приюта у шэкеров и в других общинах, говоря, что хотели бы сделаться членами; они, как сказал мне один старшина шэкеров, к началу зимы приходят „с пустыми желудками и пустыми ранцами, а когда начинают цвести розы, уходят, хорошо наполнив желудок и ранцы". Но даже и эти опустившиеся люди подпадают влиянию планомерности и порядка и без возражений выполняют свою долю работы, пока теплое весеннее солнце опять не начнет манить их к свободе" (op. cit., стр. 395).

Мы можем поэтому признать, что основатели монастырей, поставившие требование физического труда, относились к нему серьезно, и что сообщения о трудолюбии монахов отнюдь не могут быть сведены исключительно к реторике, хотя мы превосходно знаем, что по части выдумок и преувеличений церковная реторика искони оставляла в тени всякую другую,—даже адвокатскую.

Конечно, монахи не возлагали на себя чрезмерного бремени труда; но, ведь, и для других свободных рабочих перед развитием капиталистического производства труд не был чрезмерным. В бенедиктинских монастырях нормальный рабочий день по правилам св. Бенедикта из Нурсии составлял *семь часов* (*Ratzinger*, Geschichte der kirchlichen Armenpflege стр. 100). Такой нормальный рабочий день мы рекомендуем вниманию благочестивых христиан.

И еще одно показывают нам примитивные коммунистические колонии Северной Америки: решительное экономи-

ческое превосходство таких общественных форм над крестьянскими и мелко-буржуазными, среди которых возникли колонии.

Мы слишком уклонились бы в сторону, если бы подробнее исследовали причины такого явления [1]). Для наших целей достаточно, что оно установлено и прекрасно доказывается быстрым ростом благосостояния, наблюдаемым в таких общинах.

В падающей Римской империи не было ни такого сильного крестьянского сословия, ни такой сильной мелкой буржуазии, как в Соединенных Штатах первой половины XIX столетия, и потому экономическое превосходство коммунистических общин обнаруживалось с большею яркостью. Мелкое крестьянское хозяйство было разорено; за ним последовало рабовладельческое хозяйство латифундий, вытесненное в свою очередь жалкой системой карликовой аренды,— колонатом. Последний в экономическом отношении далеко уступал монастырским производительным общинам. Неудивительно, что монастыри быстро распространялись по христианскому миру; они сделались хранителями остатков римской техники и вообще римской культуры.

---

[1]) *Нордгоф* в своей уже несколько раз упоминавшейся книге подробнее останавливается на этом. Но, как уже упомянуто, коммунистические колонии простых крестьян и ремесленников, экономически поднимающихся благодаря коммунизму над уровнем мелкого крестьянства и мелкой буржуазии, не следует смешивать с коммунистическими колониями, которые основываются образованными горожанами, при том, большею частью принадлежащими к либеральным профессиям; задачею колоний второго рода ставится создание такой общественной формы, которая стоит выше не только крестьянской и мелко-буржуазной, но и капиталистической, в ее вполне развитом виде. Такие эксперименты терпят крушение обыкновенно уже с самого начала: в тех случаях, когда дело основано исключительно на труде горожанина, он—плохой пионер культуры в деревне, особенно в девственной стране. Но хотя бы эксперимент, повидимому, и удался, он не может достигнуть своей цели: с каким бы совершенством ни была организована отдельная коммунистическая самодовлеющая община, она в экономическом отношении всегда будет стоять ниже капиталистического общества, которое господствует над мировым рынком. В современном обществе коммунистическая колония может сохранить за собою позицию лишь при том условии, если члены ее омужичиваются и отказываются от всех культурных завоеваний капиталистического общества.

Совершенно понятно также, что после переселения народов монастыри представлялись германским князьям и сеньерам учреждениями, как нельзя более приспособленными для насаждения в их областях высших форм производства, и что они даже покровительствовали основанию монастырей, даже побуждали к их основанию точно так же, как европейские монархи XVIII века делали это по отношению к капиталистическим мануфактурам. К югу от Альп главная цель монастырей заключалась в том, чтобы дать пристанище пролетариям и забитому крестьянству; к северу же от Альп главной задачей монастырей было развитие сельского хозяйства, промышленности, торговли.

Но именно благодаря экономическому превосходству над другими экономическими формами того времени каждый монастырь, раз он не погиб в общих неурядицах эпохи, рано или поздно должен был достигнуть богатства и силы, если уже с самого начала не получил их от какого-нибудь знатного покровителя. Власть же и богатство знаменовали власть над работой других. Монахи и монахини переставали жить собственной работой; для них открывалась возможность существовать трудами других, и, разумеется, они воспользовались этой возможностью. Из *производительных общин* монастыри превращались в *общины эксплуататоров*.

Это — конечная судьба всякого удачного опыта осуществить коммунизм для небольшой корпорации, поставленной среди общества, построенного на частной собственности и эксплуатации. Осуществляет ли корпорация коммунизм средств производства, или средств потребления, или же и тех и других, ее ожидает такая судьба. Многочисленные доказательства относительно первого случая доставляет история производительных товариществ, а относительно последних — история примитивно коммунистических колоний Америки.

Если корпорации всех указанных видов процветают и расширяют свое производство, они, обыкновенно, предпочитают принимать наемных рабочих вместо новых равноправных сочленов, с которыми старым пришлось бы делиться сделанными приобретениями.

Освобождение от физического труда не стоит в необходимой связи с отказом от всяческого труда. Оно открывает возможность заниматься умственным трудом, и монастыри сыграли в этом отношении тоже очень важную роль.

Конечно, монастыри сначала не имели решительно никакого значения для наук и искусств. Производительные товарищества, устроенные бывшими ремесленниками, крестьянами, рабами и недавними босяками, и, по возможности, расположенные вне городов, в отдаленных областях, куда не мог бы достигать гнет гражданского общества и государства,—монастыри не представляли благоприятной почвы для занятий искусствами и наукой. Последние в Римской империи даже когда христианство сделалось господствующей религией по-прежнему сосредоточивались в городах.

Но одновременно с исчезновением рабства, доставлявшего огромные избытки продуктов, постепенно исчезала не только роскошь, но и науки, искусства, ремесла, цивилизация вообще. Сельское хозяйство все более падало, переходя в примитивное арендное хозяйство грубых колонов, приносившее лишь незначительные доходы, местами оно совсем погибало. За упадком сельского хозяйства следовал упадок городов, в которых все быстрее уменьшалась численность населения и размеры зажиточности. Переселение народов окончательно разрушило одни города и привело к полному ничтожеству другие.

Тогда-то наступило время для монастырей, которые в предыдущий период достигли благосостояния. Они сделались лучшими, даже почти единственными приютами для наук и искусств. Начало монастырской жизни относится к четвертому веку; но только с шестого центр тяжести умственной жизни постепенно переносится в монастыри, и такое положение дел сохранилось до возрождения городов.

Конечно, те лица, которые поступали в монастыри, чтобы воспользоваться приобретенным там досугом для занятий искусствами или науками, всегда составляли меньшинство обитателей монастырей. Подавляющее большинство употребляло раздолье и праздность, созданные для них эксплуата-

цией, на самые грубые наслаждения; леность, разврат и пьянство монахов вошли в поговорку.

Рука об руку с этим развивалось другое явление. Когда монастырское производительное товарищество начинало процветать и делалось состоятельным, оно поднималось над массами остального населения. Оно могло сохранить за собою свое привилегированное положение лишь таким способом, что оно изолировалось от масс населения, стремившихся к участию в его экономических выгодах. Как в прежнее время, общины марок и цехи, а в XIX веке некоторые преуспевающие коммунистические колонии и производительные ассоциации,—точно так же и монастыри, сделавшись состоятельными, проникаются духом исключительности. Бедняков, просивших о принятии, держали, по возможности, подальше от монастырей. Напротив, охотно принимали людей, положение или имущество которых сулило монастырю крупные выгоды. Мы уже видели, что с возрастанием богатств монастыри перестали быть *производительными товариществами* и становились *товариществами эксплуататоров*; теперь мы видим, что они перестали быть *прибежищами для бедных* и угнетенных. Они сделались *учреждениями для призрения* младших сыновей *дворянства* и его оставшихся незамужними дочерей.

Но потребность в производительных товариществах, с одной стороны, в пристанище для бедных и угнетенных—с другой, сохранялась и самым настоятельным образом давала знать о себе на всем протяжении средних веков. Монастыри же для того времени были единственной формой, которая могла удовлетворить эту потребность. И вот через всю эпоху, наряду с непрерывными жалобами на падение монашеской дисциплины и нравов, проходят такие же непрерывные попытки помочь злу реформой уже существующих орденов и отдельных монастырей или основанием новых.

Методы реформы отличались величайшим разнообразием. Самый простой и наиболее выгодный для реформаторов заключается в конфискации у монастырей всех излишних имуществ. В этом отношении особенно отличился германский император Генрих II (1002—1024 г.) (ср. *К. Лампрехт*, История Германского народа. Москва 1894 г., I т., стр. 522

и сл., и *Giesebrecht*, Deutsche Kaiserzeit, II, стр. 84 и сл.). Этот великий конфискатор монастырских имуществ был причислен к святым. Факт, вливающий бодрость в благочестивых католиков.

Но реформация не всегда удавалась, потому что воинственные монахи того времени часто силою защищали свою шкуру. Некоторые падкие на реформу аббаты были или убиты монахами, или устранены с дороги при помощи наемных убийц.

Если же реформация удавалась, толку от нее было немного. По истечении короткого времени мы опять встречаем прежнее положение.

То же было и с попытками основать новые монашеские ордена. Чтобы изгнать всякую светскость из монастырей, основатели орденов становились все изобретательнее в выработке правил, или, как сказали бы теперь, образцовых уставов. Всякие светские желания старались искусственно изгонять разнообразнейшими самоистязаниями. Аскетизм становился все суровее, изоляция от внешнего мира все решительнее. Но корней зла не касались—и не могли коснуться,—а боролись просто с симптомами, и потому все мучительства оставались безрезультатными и, к счастью, обыкновенно неосуществленными.

Особенно много было основано орденов в XII и XIII столетиях. К этой эпохе относится быстрый расцвет городов Испании и Южной Франции. Но экономический расцвет знаменовал в то же время и возрастание пролетариата, как рабочего, так—и даже в особенности—и пролетариата босяков. Последний оказался в некоторых городах достаточно сильным, чтобы вызвать общественные движения. Прежде всего, они обнаружились в том, что усилили стремления к монашеству и снова придали ему более пролетарский характер, чем наблюдалось от шестого до одиннадцатого столетия. Новые движения в монашестве не всегда благосклонно относились к господствующей церкви. Часто они вступали в союз с враждебными церкви, еретическими движениями, которые около этого времени выступают в Италии и Южной Франции.

Но папству часто удавалось принудить к службе себе даже монашески-пролетарские тенденции. Благодаря этому особую важность получили нищенствующие ордена доминиканцев и францисканцев. Латеранский собор (1215 г.) запретил основывать новые ордена и таким образом сократил непомерное „грюндерство". Однако, едва запрещение состоялось, как папа нарушил его в пользу основанных в это время только что названных орденов.

Возникновение ордена францисканцев в особенности характерно. Его основатель, Франциск Ассизский (род. в 1182 г.), был сын богатого купца и провел веселую юность; потом, во время обычной реакции, его охватило отвращение к богатствам и стремление помогать нуждающимся. Он продал свое имущество, разделил выручку между бедными и решил посвятить свою жизнь на служение им. К нему присоединились охваченные таким же настроением товарищи, и Франциск организовал их в орден, который мог бы сделаться очень опасным для тогдашних носителей власти и особенно для церкви, самого богатого из них. Но папы сумели предотвратить эту опасность: они деморализовали орден и орудие, направленное против церкви, использовали для ее защиты.

„Иннокентий III старался лишить всякой опасности это реформаторское движение, возникшее вне церкви, средством для чего служило его признание и включение в церковную организацию. В конце-концов умному папе было существенно восстановить связи с народом, утраченные разбогатевшим и превратившимся в силу духовенством; с другой стороны, эти нищие дали церкви возможность сослаться на то, что их идеалы могут получить осуществление, хотя бы и в особой организации. Таким способом следовало поставить плотину перед этим опасным народным движением" [1]. Иннокентий III в 1215 году дал устное согласие на учреждение ордена, Гонории III в 1223 году — письменное.

Св. Франциск полагал, что ему удастся спасти орден от судьбы, постигшей его предшественников, — от превращения его в товарищество эксплуататоров. Он думал спасти орден,

[1]) *E. Glaser*, Die franziskanische Bewegung Stuttgart 1903, стр. 60.

распространив на него ту заповедь постоянной бедности, которая до сих пор была обязательна для отдельных членов монастырей, но не для совокупности их, не для ордена в целом. Ордену францисканцев запрещалось делать какие бы то ни было приобретения и заниматься каким бы то ни было промысловым трудом; он должен был существовать только для службы бедным и больным и довольствоваться милостынями, которые ему подают.

Но как раз потому, что орден приносил большую пользу в борьбе с нищетой и своею деятельной помощью приобрел доверие беднейших классов, отвращал их от революционных страстей и поддерживал в них симпатии к церкви,—как раз по этим причинам на орден скоро посыпались слишком обильные милостыни. Еще при жизни Франциска в его ордене обнаружилась склонность к устранению правила, запрещавшего приобретение имуществ. „Великий основатель ордена нищенствующих монахов почил уже в соборе, блистающем золотом и мрамором" (Gregorovius. Geschichte der Stadt Rom, V, стр. 114. Имеется русский перевод: *Григоровиус*, История города Рима Изд. Пантелеева). Не прошло и двадцати лет по его смерти (1226 г.), — и отмеченные стремления настолько усилились, что в 1245 году Иннокентий IV изменил правило и постановил: францисканцы могут приобретать имения, правда, не в собственность, а во владение и для пользования. Право же собственности на владения ордена предоставлялось папе.

С этого времени орден францисканцев (так же было и с доминиканцами) быстро пошел по тому же пути, как его предшественники. Он сделался товариществом эксплуататоров. Нидерландский каноник Иоганн Руисдук (род. в 1293 г.) на основании собственных наблюдений уже так говорит о монахах вообще и нищенствующих в особенности: „В общем, три порока царствуют у них: леность, обжорство и распутство. В старину отцы были бедны, основатели нищенствующих орденов довольствовались Богом и презирали временные блага и почести. Теперь почти все монастыри стремятся к богатствам. Встречаешь бесчисленных нищенствующих монахов, но мало таких, которые соблюдали бы статуты

своего ордена; они хотят называться бедными, но на семь миль высасывают всю страну, лежащую вокруг их монастыря, и живут в излишествах; да что,—между ними существуют ступени, каким здесь совсем не подобало бы быть: у одних четыре, пять одежд, у других едва лишь одна; одни пируют на особом месте с приором, попечителем и лектором, другие должны довольствоваться овощами, сельдями и пивом; последние потом проникаются завистью, тем более что они думают, что все блага должны быть общими" и т. д. (Цит. у Ullmann, Reformatoren vor der Reformation, vornehmlich in Deutshland und den Niederlanden, Гамбург 1842, II, стр 57, 58).

Но смягчение отказа от собственности имело и другое последствие. Часть францисканцев серьезно относилась к своей задаче быть представителями интересов бедноты. В этом отношении в особенности выделялись так называемые терциарии. Франциск Ассизский создал демократическое учреждение. Кроме первого, мужского ордена и второго, женского [1]), он содействовал образованию третьего—ордена терциариев; они способствовали разрешению задач ордена, не отрекаясь от брака и от своих гражданских занятий. Терциариями были по большей части ремесленники или другие люди из народа; поэтому их союзы можно было бы назвать союзами рабочих. Они-то с наибольшей решительностью и противодействовали превращению ордена в общество эксплуататоров. Между обоими сторонами по временам начиналась ожесточенная борьба, продолжавшаяся десятилетиями. И чем больше благоволений с папского престола исходило на эксплуататорское направление, тем решительнее приверженцы строгого направления (называемые спиритуалами или фратичелли) обращались против папы и даже против церкви, тем усиленнее искали союза с враждебными церкви организациями. Наконец, когда папа Иоанн XXII, чтобы привести их в разум, призвал против них в Южную Францию (в Нарбонну, в Безьер, 1317 г.) инквизицию, это решило полный разрыв их с церковью. С этого времени они при-

[1]) Женский орден был основан экзальтированной подругой и почитательницей св. Франциска, восемнадцатилетней Кларой Сиффи; отсюда название членов ордена—«клариссинки».

числяются к еретическим коммунистическим сектам, к бегардам, среди которых мы должны искать предшественников перекрещенцев.

Следовательно, строгие францисканцы представляли средний член между монастырским коммунизмом, который в средние века был одной из основ общества, и между пролетарским коммунизмом той же эпохи, который стремился ниспровергнуть существующее общество.

Приблизительно в то же время выступил и теоретик коммунизма, конечно, только монашеского. Это был аббат Иоахим из Фиоре в Калабрии, родившийся около 1145 года в деревне Целиум, близ Козенцы. Возвратившись в Калабрию из путешествия по Святой Земле, он сделался монахом, а позже, около 1178 года, аббатом цистерцианского монастыря. Впоследствии он основал в Фиоре собственный монастырь. Скончался в 1201 или 1202 году.

Подавленный созерцанием общественных бедствий своего времени, особенно ужасающей эксплуатацией и испорченностью, царившей в церкви, он искал средств для спасения общества и полагал, что они лежат в охватывающем все отношения коммунизме,—конечно, в соответствии с временем, в монастырской его форме.

Ему казалось, что приближается революция, и за нею грядет новое общество: тысячелетнее царство, о котором говорит Апокалипсис.

Он различает три эпохи в истории человечества. „Сначала было время, когда люди служили плоти; оно начинается с Адама и оканчивается Христом. Потом пришло время, когда люди служат плоти и духу; оно продолжается до сих пор. В новое время живут только для духа; начало его падает на дни св. Бенедикта". Это третье общественное состояние есть состояние монашества (status monachorum). Монастыри охватят все человечество. „Необходимо, чтобы мы выступили на путь истинного подражания жизни апостолов, чтобы мы не только не стремились к обладанию земными благами, но, напротив, отдавали бы их" и т. д. Третье состояние общества придет к полному осуществлению при жизни 22 го поколения по св. Бенедикте, следовательно, в

ближайшее время. Римская церковь погибнет, осужденная тяжким судом, и из остатков ее возникнет новое общество, орден праведных, который откажется от частной собственности. Тогда откроется эпоха полной свободы и совершенного познания.

Учения Иоахима произвели величайшее впечатление, особенно на строгое направление францисканского ордена фратичелли: они считали себя тем „орденом праведных", который призван обновить общество. Благодаря им, учения Иоахима получили широкое распространение. Они оказали влияние на итальянского Мюнцера—Дольчино; они не остались чуждыми и самому Мюнцеру.

Лютер упрекал Мюнцера, что тот свои „надменные мысли" получил из толкований Иеремии, сделанных аббатом Иоахимом. Сам Мюнцер 2 декабря 1523 года писал Цейсу о своем отношении к Иоахиму: „Вы, наверное, знаете, что книжники приписывают это учение аббату Иоахиму и с великой насмешкой называют его вечным Евангелием. Из Иоахима я читал только о Иеремии. Но мое учение стоит высоко над ним, *я заимствовал его не от Иоахима*, а из слов Божиих, как я докажу потом в свое время всеми писаниями библии". Это письмо приложено к сочинению: Von dem getichten glawben auff nechst Protestation aussgangen Tome Müntzeurs Selwarters zu Alstet, 1524.

Так глубоко было впечатление, произведенное пророчествами Иоахима, не только в Италии, но и в Германии. Они удовлетворяли такой настоятельной потребности масс, что, когда факты обнаруживали ложность пророчеств, народ охотнее перетолковывал факты, чем оставлял веру в пророчества. Иоахим пророчествовал, что общественный переворот закончится около 1260 года. Когда подошел этот момент, между папством и императором Фридрихом II свирепствовала ожесточенная борьба. Приверженцы Иоахима ожидали, что императору удастся ниспровергнуть папу и положить основание новому обществу.

В действительности совершилось не то.

„Смерть Фридриха (1250 г.) стояла в противоречии с пророчеством Иоахима из Фиоре: Фридрих не должен был

уйти из мира, не завершивши своего дела. Таким образом, прежде всего в этих кругах возникло мнение, что Фридрих II не может быть мертвым, что он только держится в сокровенном убежище, чтобы, возвратившись в свое время снова взяться за свое оставленное незавершенным дело и довести его до конца... Так возник тот своеобразный круг представлений, в котором движется германская сага об императоре, и которому вследствие недоразумений позднейшего времени было дано такое истолкование, что он имет в виду императора Фридриха I (Барбароссу) и обновление и славу империи, ожидаемые с его возвращением" [1]).

Под „славою империи" народ разумел коммунистическую революцию.

2. Еретический коммунизм и папство.

Пример францисканского ордена показывает нам, как легко некоторые формы монастырского коммунизма усваивали враждебную по отношению к папству позицию. Реформа старых и основание новых монастырей в XI веке очень часто получали характер укоризны по адресу папской власти, и эти укоры по временам принимали недвусмысленно суровую форму.

Всякий, кто близко принимал к сердцу интересы бедноты, почти неизбежно обращался против папской церкви. Среди классов собственников средних веков она выдвигалась на первое место; она владела огромнейшими богатствами и господствовала над всей общественной жизнью не только в духовном, но и в экономическом отношении.

Ее господство можно, пожалуй, сравнить с господством в наше время крупной финансовой буржуазии, биржи, вообще „еврейства",—если усвоить себе ход мыслей и способ выражений антисемитизма. В настоящее время антисемиты говорят, что все общество „ожидовело"; в такой же мере в средние века оно прониклось папизмом. Папство господствовало над умственной жизнью, как теперь биржа над

---

[1]) *H. Prutz*, Staatengeschichte des Abendlandes im Mittelalter, Берлин 1885 I, стр. 657.

прессой; и, как биржа решает судьбу министерств и даже королей, основывает и разрушает царства, так распоряжалось и папство.

И, дальше, господство папства подвергалось нападениям в такой же мере, как теперь господство финансовой аристократии. У папства была, пожалуй, еще та общая особенность с биржей, что оно вызывало вражду во всех остальных классах общества, не только в эксплуатируемых, но даже и в других эксплуататорах: последним, ведь, приходилось отдавать так много из своей добычи в руки высших из эксплуататоров; полные жадности, смотрели они на сокровища папства. Не может быть ничего ошибочнее того взгляда, будто послушание, в общем оказываемое папству во второй половине средних веков, было добровольно или вытекало из тупости. В большинстве случаев послушание оказывали со скрежетом зубовным и сопротивлялись, где только могли. На протяжении большей части средних веков проходит непрекращающаяся борьба разнообразнейших классов и стран с папскою властью. Но пока не сложились основы для нового строя общества и государства, торжество над папством оставалось невозможным, как в нашем обществе, пока еще нельзя было справиться с высшей финансовой буржуазией: всякая борьба, всякая социальная катастрофа, всякая война, эпидемия, голод, мятеж тогда, как и теперь, вели только к расширению и укреплению богатства и мощи эксплуататора из эксплуататоров.

Такое положение было довольно благоприятно для пропаганды коммунистических идей, но зато крайне неблагоприятно для развития обособленной классовой борьбы неимущих. Если бы мы захотели для пояснения продолжить сравнение с финансовой аристократией, то сказали бы, что сложились примерно такие же условия, как в эпоху буржуазного королевства во Франции (1830—1848 годы). Благодаря своей финансовой силе, жалкому избирательному закону и политической отсталости трудящихся классов, высший финансовый мир, действуя через парламент и короля, пользовался тогда неограниченным господством во Франции. Против него выступила оппозиция не только крестьян и

наемных рабочих, но и промышленных капиталистов и мелкой буржуазии. Борьба против общего врага объединила их всех и в значительной степени затушевывала классовые противоречия между ними. Благодаря этому, пролетариат только с трудом приходил к ясному классовому самосознанию и в своем большинстве их оставался под политическим руководительством мелкой и даже крупной буржуазии; но благодаря тому же самому, у этой последней усыплялось ее классовое недоверие к пролетариату. Ее представители обнаруживали склонность забыть, что основа их собственности есть отсутствие собственности у других; они почувствовали сострадание к страданиям бедных и отверженных; они поощряли стремления к устранению бедности, и многие из их рядов кокетничали даже с социализмом. Наиболее читались в это время те беллетристы, которые были социалистами; мы напомним только Евгения Сю и Жорж Занд.

Но вот пришла революция 1848 года. Королевство высшей финансовой буржуазии рухнуло; у нее были отняты ее политические привилегии. Политическая власть досталась народу, т.-е. промышленным капиталистам, мелким буржуа, мелким крестьянам и рабочим. Едва общий враг был ниспровергнут, как особенные классовые интересы и классовые противоречия с большею или меньшею ясностью и во всяком случае с большой настойчивостью и силой вторглись в сознание. Но с наибольшею ясностью и резкостью развивался антагонизм между буржуазией и пролетариатом. Революция показала силы пролетариата, но она показала также, что социализм—не мечта некоторых экзальтированных литераторов, что он пустил корни в революционном классе, что он перестал быть невинной забавой и грозит превратиться в убийственное оружие.

С этого времени буржуазия с величайшей энергией обращается не только против всякого проявления самостоятельной жизни в пролетариате, но и против всего, что похóдит на социализм,—а для ее напуганного воображения социализмом представлялась и самая робкая филантропия. В обществе буржуа социализм подвергался бойкоту, социалисты, вышедшие из буржуазных кругов, должны были решать:

остаются ли они верными социализму,—но в таком случае они исключались из буржуазного общества, их имя уже не должно было называться в этом обществе. Если же они хотели избежать этого, они должны были отречься от своего социализма, до последних остатков и навсегда. С этого времени социализм политически и литературно умер, и так продолжалось до тех пор, пока поднимающийся рабочий класс не сделался достаточно сильным для того, чтобы собственными силами заставить общество считаться с социализмом и самим собою.

В средние века развитие совершалось в том же направлении, как и перед 1848-м годом,—только оно, разумеется, растянулось на несравненно более долгое время. Реформация сыграла роль 1848 года. В Германии это развитие легко проследить в XV и в начале XVI столетий.

По отношению к пролетарским движениям средних веков о классовом самосознании можно, разумеется, говорить еще меньше, чем по отношению к движениям первой половины XIX века. С одной стороны, даже у пролетариев босяков мы находим стремление к организации в замкнутые цехи и к созданию для себя особенных привилегий [1]),—с другой же, обращаясь к коммунистам из рабочего класса, особенно к ткачам, мы видим, что они отвлекаются от всяких классовых различий: они работают для всего человечества; и пролетарские движения, поскольку они выходили за пределы обыкновенных цеховых споров, все еще вполне совпадали с революционными движениями других эксплуатируемых классов, крестьян и мелких ремесленников.

Напротив, условия для пробуждения коммунистических тенденций во всем обществе в средние века складывались

---

[1]) «Очень замечательно поселение считаемых за безчестных живодеров, могильщиков и ассенизаторов и *профессиональных* нищих на Угольной горе, небольшом холме в Базеле. Они образовали там, отделенное от всех прочих обывателей, общество, на подобие цеха, с особым судом, который назывался судом Угольной горы. Суд состоял из семи носильщиков, которых называли «свободами» или «мальчиками свободы», «так как они обходятся без штанов и ножей» (*Maurer*, Städteverfassung, II, стр. 472).

в некоторых отношениях еще благоприятнее, чем в первую половину XIX века.

3. Противоположность богатства и бедности в средние века.

В средние века и даже еще в эпоху Реформации различия между бедными и богатыми еще не далеко были так велики, как в развитом капиталистическом обществе; но они выступали с большей очевидностью и производили более возбуждающее действие. Теперь величайшие общественные различия встречаются в больших городах, в городах с миллионным населением, в которых кварталы бедноты часто далеко лежат от жилищ богачей. В эпоху, о которой у нас идет речь, локальное разделение отдельных сословий и даже отдельных профессий было проведено в городах с большей определенностью, чем в настоящее время; но за то и города были малы,—десять, двадцать тысяч обывателей составляли уже большой город, и горожане жили совсем рядом. К этому присоединялось еще то обстоятельство, что жизнь—и труд, и развлечения—протекала большей частью на публике, и ни радости, ни страдания какого-нибудь общественного класса не оставались тайной для других. Политическая жизнь и праздники обыкновенно протекала на общественных площадях, на рынках и кладбищах или в церквах и залах, открытых для публики. И не только покупали и продавали на рынках, но и ремеслом занимались, где только представлялась возможность, на улицах или, по крайней мере, при открытых дверях.

Однако, наибольшую важность имело еще одно обстоятельство. В настоящее время главная задача, которую ставит себе капиталист, заключается в увеличении, в накоплении капитала. Для современного капиталиста никакой капитал не будет достаточным. С наибольшей охотой он употребил бы весь свой доход на увеличение капитала: на расширение наличного предприятия, на приобретение новых, на разорение конкурентов и т. д. И если у него уже есть тысяча миллионов, то он станет стремиться ко второму миллиарду, чтобы обезпечить за собой обладание первым и воспре-

пятствовать торжеству конкурентов. Современный капиталист никогда не употребляет на личное потребление весь свой доход,—если только не предположить, что он глупец или ни к чему негодный человек, или что его доход недостаточен абсолютно. И, дальше, даже богатейший миллионер, не поступаясь своим положением, может вести самый простой образ жизни. Допуская же роскошь, он пользуется ею обыкновенно не на глазах публики: в бальных залах, отдельных кабинетах, охотничьих замках, игорных домах и т. д. А на улице миллионер ничем не выделяется из массы сограждан.

Совсем иначе было при системе натурального хозяйства и просто товарного производства. Богатые и сильные,—заключался ли их доход в продуктах или же в деньгах,—не могли поместить его в акции или государственные бумаги. Они могли употреблять свои доходы только на потребление или же—поскольку доходы состояли из денег—на создание сокровищ из ценных и неподвергающихся порче товаров из благородных металлов и благородных камней. Чем успешнее шла эксплуатация у светских и духовных князей и сеньеров, у патрициев и купцов, чем более возрастали их доходы тем сильнее увеличивалась их роскошь. Сами они никак не могли бы потребить излишки своих доходов. Они употребляли их на то, чтобы держать слуг и служанок, приобретать породистых лошадей и собак, одевать себя и свою дружину в блестящие ткани, возводить величественные дворцы и разукрашать их с величайшим великолепием. Стремление накоплять сокровища, в свою очередь, содействовало усилению роскоши. Воинственные властители средних веков не зарывали свои сокровища в землю, как трусливые индусы, и не видели необходимости скрывать их от глаз воров и податных чиновников, как делают наши капиталисты. Их богатства были символом и основою их власти. И средневековые люди гордо и хвастливо выставляли их на показ: их одежда, их утварь, их дома блестели золотом и серебром, благородными камнями и жемчугом. Это была золотая эпоха, такою была она и для искусства.

Но и бедность выставлялась тогда так же открыто, как богатство. Пролетариат только что зарождался. Он пред-

ставлял уже достаточные массы, чтобы побудить вдумчивых и наделенных более тонкими чувствами людей задуматься над вопросом о средствах и путях для уничтожения нищеты, но он еще не представлял таких масс, чтобы в обычные времена считаться с опасностью для государства и общества. Таким образом, снова нашел для себя благоприятную почву тот строй мыслей, который восприняло христианство в эпоху своего возникновения, когда пролетариат босяков был его главным носителем. Этот строй мыслей видел в бедности не преступление, а особо угодное Богу состояние, которое требует внимательного отношения к себе. Ведь бедный по учению евангелия был представителем Христа, ибо, „что вы сделали одному из этих моих меньших братьев, то вы сделали мне". (Матф. 25, 40). В действительности, от этого пролетариат выигрывал, конечно, очень мало: к представителю Христа иногда относились очень не по-христиански. Но зато средние века очень далеки были от всех тонких изобретений современной полиции, которая старается удалить с глаз зажиточных все оборотные стороны общественных отношений,—удалить, разумеется, не устраняя самую бедность. В средние века бедных не запирали в дома призрения, в работные, в каторжные и прочие дома; просить милостыню было их правом, и всякое богослужение, в особенности по большим праздникам, собирало в одном и том же месте, в одной и той же церкви и величайшую роскошь и величайшую бедность.

Тогда, как и в настоящее время, к обществу можно было вполне применить слова Платона о двух нациях. Но на исходе средних веков эти нации—бедных и богатых—еще были, по крайней мере, соседними нациями, которые понимали и знали друг друга. В настоящее время они сделались совершенно чуждыми одна другой. Если в нации буржуа возникает желание узнать кое-что о нации пролетариев, тогда требуются особые экспедиции с этой целью, как будто дело идет об исследовании внутренней Африки. Но последнее кажется для буржуа важнее, чем первое: исследование Африки обещает новые рынки для сбыта, обещает барыш; напротив, изучение положения пролетариата знаменует возбуждение

самых жестоких обвинений против сложившегося состояния общества. Но это никому так не идет на пользу, как социал-демократии. Не удивительно, что западно-европейские правительства затрачивают на исследования Африки в сотни раз больше, чем на исследование наших общественных состояний,—если только что-нибудь затрачивают с этой целью,— и что даже некоторые „образованные“ лучше знают о положении „темного“ материка, чем пролетарских кварталов того города, в которых они живут. Только при далеко зашедшем капиталистическом развитии, благодаря росту сил пролетариата наступает некоторое улучшение в этом отношении. Начав страшиться его, начали его изучать.

В средние века собственникам не приходилось опасаться пролетариата, и не требовалось изучать его, чтобы узнать его положение. Наблюдатель повсюду встречал неприкрытую нищету и, при том, в вопиющем контрасте с надменной и сумасбродной роскошью. Неудивительно, что такие контрасты возмущали не только низшие классы, но восстановляли против неравенства лучшие натуры среди высших классов и таким образом благоприятствовали широкому распространению стремлений к восстановлению равенства.

4. Влияние христианской традиции.

Влияние преемственно передающихся идей, возникших в предыдущие эпохи жизни общества на позднейшее его состояние нельзя считать незначительным фактором общественного развития. Оно часто действует таким образом, что создает задержки и помехи развитию общества, затрудняя для человека познание вновь нарождающихся тенденций и их требований. Но на исходе средних веков оно нередко действовало в противоположном направлении.

После бурь великого переселения народов, после варварства, которое следовало за ним, христианские народы Западной Европы только с эпохи Крестовых походов начали опять подниматься на такую ступень культуры, которая, несмотря на всю своеобразность, во многом соответствовала уровню аттического и римского обществ в начальную эпоху

их разложения и накануне ее. Литература древнего мира, этот клад мыслей, оставленных классическим обществом, как нельзя больше соответствовала запросам классов, которые начали подниматься на исходе средних веков. Возрождение античной литературы чрезвычайно способствовало развитию самосознания и самопознания в поднимающихся классах и сделалось поэтому мощной пружиной общественного развития. Традиция, которая в других случаях действует консервативно, при этих обстоятельствах сделалась революционным фактором.

Каждый общественный класс взял из сокровищницы традиций, разумеется, то, что наиболее отвечало его запросам, соответствовало потребностям. Буржуазия и князья к концу средних веков взяли на службу себе римское право, которое было так превосходно приспособлено к потребностям простого товарного производства, торговли и абсолютной монархической власти. Они наслаждались языческой литературой античных народов,—литературой жизнерадостности, иногда даже пышности.

Пролетариат и людей, ему симпатизирующих, не могли привлекать ни римское право, ни классическая литература. То, чего искали они, открывалось им в другом продукте римского общества, в евангелии. Их запросам вполне соответствовал коммунизм первоначального христианства. В конце средних веков еще не было основ для высшего, коммунистического строя производства, и коммунизм мог быть своего рода коммунизмом поравнения, дележкой, распределением излишков, имеющихся у богачей, между бедными, лишенными самого необходимого для жизни.

Конечно, не коммунистические учения евангелия и деяний апостольских создали коммунистические течения средних веков; но эти учения так же содействовали их возникновению и распространению, как римское право развитию абсолютизма и буржуазии.

Таким образом основа коммунистических стремлений осталась христианской, религиозной; несмотря на то, эти стремления неминуемо приходили в конфликт с господствующей церковью, этим богачем из богачей, который уже

давно объявил дьявольским заблуждением требование всеобщего коммунизма и старался всевозможной софистикой исказить и затемнить коммунистическое содержание первоначально-христианских сочинений.

Но если стремления к коммунистической организации общества необходимо приводили к ересям, к столкновениям с папской церковью, то, с другой стороны, ереси, т.-е. борьба против церкви, содействовали успехам коммунистических идей.

Еще не пришло то время, когда стала появляться мысль, что можно обойтись вовсе без церкви. Правда, на исходе средних веков в городах возникла культура, далеко превосходившая ту, представительницей которой была церковь. Представители новой культуры, новые, поднимающиеся классы средневекового общества—князья со своими придворными, купцы, римские юристы, литераторы—отличались далеко не христианским настроением, и такое явление выступало тем ярче, чем ближе к Риму они обитали. Столица христианства была главной резиденцией неверия. Но в то же время в наличности были только скудные зачатки новой организации государственного управления, новой, светской бюрократии, которая могла бы заменить церковные организации. Церковь, как *организация господства*, все еще оставалась необходимой для господствующих, следовательно, как раз для неверующих классов. И революционные классы конца средних веков хотели не разрушить римскую церковь, а завоевать ее, чтобы потом через нее получить господство над обществом и придать ему формы, соответствующие их интересам: совершенно так же, как в настоящее время задача пролетариата—завоевать государство и заставить его служить себе.

Чем сильнее в высших классах распространялось неверие, тем больше заботились они о спасении душ низших классов, тем боязливее наблюдали за тем, чтобы до них совсем не доходило образование, которое могло бы расширить их кругозор за пределы христианских учений. Особых усилий с их стороны для этого впрочем не требовалось: крестьяне, ремесленники и пролетарии находились, ведь, в таком поло-

жении, которое и само по себе делало для них невозможным достигнуть сравнительно широкого образования. Следовательно, они не выходили из круга христианских воззрений.

Но папская церковь выиграла от этого до чрезвычайности мало: такое положение дел совсем не помешало развитию великих народных движений, направленных против эксплуататорской церкви; оно привело лишь к тому, что эти движения при обосновании своих требований опирались преимущественно на религиозные аргументы.

Всем, кто, по каким бы то ни было соображениям, требовал конфискации церковных имуществ, литературные произведения первоначального христианства давали богатый арсенал: ведь, из этих писаний с несомненностью следовало, что Иисус и его ученики оставались бедными, что от своих последователей они требовали добровольной бедности, и что все имущества, попадавшие в распоряжение церкви, принадлежали не духовенству, а общине.

Возвращение к первоначальному христианству, к Евангелию, восстановление „чистого слова Божия", искаженного и превращенного в свою противоположность папской церковью,—вот к чему стремились все классы и партии, враждебные папству. Конечно, каждая партия, смотря по интересам, которые она представляла, по-своему, не так, как другие, истолковывала это „чистое слово Господне". Соглашались только в одном—в требовании бедности церковной иерархии. Но следует ли требовать при этом демократической организации церковной общины или даже общности имуществ—в этих пунктах различные направления, вставшие в оппозицию к папству, сильно расходились между собою.

Но так как первоначальное христианство фактически завещало именно демократическую организацию и общность имуществ, то поклонник первоначального христианства должен был иметь слишком уж сильный интерес в противоположном характере учреждений, чтобы вычитать из „чистого слова Господня" нечто иное. Поэтому каждый честный член из классов собственников, который участвовал в еретическом движении и был способен духовно подняться выше интересов и предрассудков своего класса,—каждый такой

человек сравнительно легко мог примкнуть к демократическому коммунизму. И такое положение продолжалось до тех пор, пока папство казалось для классов собственников, враждебных ему, врагом, обладающим чрезвычайною силой, а коммунизм, напротив, невинной забавой немногих экзальтированых идеологов, и, пока было необходимо объединять в одну фалангу все силы, стоявшие в оппозиции к папству. Еретический коммунизм сначала казался опасным только для папской эксплуатации. Потому-то он так легко добивался терпимости со стороны имущих классов, если те были настроены еретически, потому-то и оказалось возможным, что призыв возвратиться к первоначальному христианству вызвал на свет коммунистические стремления не только в кругах беднейшего населения, но и у некоторых членов имущих классов.

Если мы примем во внимание все эти обстоятельства нам будет понятно, почему в эпоху еретических движений, направленных к низвержению папства, коммунистические идеи получили величайшую силу и распространение,—такие силу и распространение, которые не стоят ни в каком соответствии с силой, численностью и самосознанием тогдашнего пролетариата.

Но по той же самой причине еретическо-коммунистическим движениям суждено было в большинстве случаев быстро упасть, не оставив, повидимому, никакого следа: их ожидало немедленное крушение, когда они, вместо того, чтоб сообща с движениями имущих классов направляться исключительно против папства, делали попытку открыть нападение на все общество собственников.

Недостаток классового самосознания у неимущих, сравнительно сильно развитый у собственников—купцов, рыцарей и особенно у духовных—интерес к коммунистическим стремлениям, сильное влияние коммунистических тенденций прежней эпохи—первоначального христианства,—оказываемое через литературу: все эти обстоятельства неизбежно повели к тому, что религиозная оболочка, под которой выступает коммунистическое движение в период от возрождения коммунистических идей в XII и XIII веке и до эпохи

Реформации, до самого XVI столетия, еще сильнее скрывала его классовый характер, чем то было с другими народными движениями того же времени.

Но на тогдашние коммунистические движения пролетариат уже успел наложить свою печать. И как средневековой пролетариат отличается от пролетариата падающей Римской империи, а также и от современного пролетариата, так и коммунизм, носителем которого был средневековый пролетариат, отличается и от первоначально-христианского коммунизма и от коммунизма XIX века. Он представляет переходную стадию от одного к другому.

Подобно первоначальному христианскому коммунизму и по тем же причинам, средневековый коммунизм есть коммунизм средств потребления, а не средств производства, чем он существенно отличается от современного; после всего сказанного нет необходимости останавливаться на этом подробнее.

Но коммунизм средних веков и эпохи Реформации, подобно коммунизму первоначального христианства, был кроме того аскетическим и мистическим коммунизмом, коммунизмом самоотречения, коммунизмом, питавшим надежду на вмешательство таинственных, сверхчеловеческих сил. И в этом отношении он представляет противоположность коммунизму XIX столетия.

5. Мистика.

Рассмотрим теперь, прежде всего, последний пункт—мистицизм.

Мы уже отчасти касались одного из его корней: невежества подавляющих масс народа. Чем дальше развивалось товарное производство и торговля товарами, тем более человек подавлялся силой общественных отношений, тем непонятнее и таинственнее становилась для него связь явлений общественной жизни, и тем ужаснее социальные бедствия, разражавшиеся над людьми. Растерянный и беспомощный стоял человек перед ними, и всех растерянее и беспомощнее низшие, эксплуатируемые классы народа.

Господствующие и поднимающиеся классы, князья и купцы, ориентировались в новых отношениях, пользуясь помощью античной государственной мудрости и римского права, возрождению которых они оказывали содействие. Но для низших классов эти науки были недоступны, — еще более недоступны, чем в настоящее время; у науки был тогда свой собственный, совсем не народный язык: латинский и греческий.

Но самая важная причина, почему наука не проникала в низшие классы народа, лежала все же не в этом. Основная причина заключалась в том, что низшие классы отрицательно относились к науке, так как она стояла в противоречии с их потребностями.

Развитие науки—равно как и искусств—находится в полной зависимости от развития общества. Для процветания науки необходимы определенные *предпосылки*, которые делают научное исследование *возможным*. Но этого мало: необходимы еще определенные *потребности*, которые *побуждают* к научным исследованиям. Наличность необходимых предпосылок совсем еще не определяет, что в данном обществе и в каждом его классе существует потребность в глубоком исследовании связи явлений, происходящих в природе и обществе. Падающий класс или общество всегда будут противиться познанию действительности. Они употребят свою интеллигентность не на ясное изображение существующего, а на изыскание аргументов, при помощи которых они могут успокаивать себя, утешать и — обманывать; мы уже совсем не упоминаем о том, что для них необходимо привести противников в заблуждение относительно своей силы и жизнеспособности.

Двигать вперед науку могут всегда только поднимающиеся общества и общественные слои. Тот, кому *в мире действительности* принадлежит будущее, имеет величайший интерес в том, чтобы исследовать действительность и разрушить все заблуждения по отношению к ней.

Когда падало античное общество, с ним вместе и наука склонялась к упадку. Из царства действительности, безнадежность которого их угнетала, люди все больше спасались

в область лежащего за пределами действительности, фантастического, мистического, которое они могли формировать сообразно своим потребностям. Они отчаялись в самих себе, значит, им должна помочь сила сверх-естественных существ. На этой почве процветал хилиаз, вера в чудеса и мистика.

Германцы, унаследовавшие большую часть Римской империи, восприняли также и учения христианства, выросшие в ее атмосфере, но не просто восприняли, а дали им новое содержание. Смелые и жизнерадостные варвары не могли понять мрачное и сокрушенное отвращение от действительности и полное страха копанье в глубинах собственной души, которым характеризовались мистики первоначального христианства. Они не были в состоянии научно преодолеть христианство, но за то они поняли его в таких наивно-конкретных формах, что мистицизм перестал быть живой силой. Подобно некоторым литературным остаткам язычества, он влачил жалкое существование в некоторых монастырях.

Но вот на христианско-германский мир надвинулись товарное производство и товарная торговля и революционизировали его; и прежде всего опять-таки в городах, центрах развивающейся культуры, образовалась благоприятная атмосфера для возрождения апокалиптических идей и вообще мистицизма. Он отвечал потребностям тех же слоев, которым соответствовал первоначально христианский коммунизм. Выступали эти слои,—выступал и мистицизм.

Будущее принадлежало тогда не бедным и угнетенным, а богатым и сильным, князьям и капиталистам. У последних были все причины содействовать наукам: чем лучше постигали науки действительность, тем яснее говорили они в пользу тех, кто в данный момент держал власть в своих руках. Наука могла развиваться совершенно свободно, не быть прислужницею князей и капиталистов, она содействовала развитию их могущества.

Тогда еще не пришло то время, когда будущее, осязательное будущее, принадлежит коммунизму, пролетариату. Чем лучше познавали действительность бедные и угнетенные, тем безнадежнее должна была казаться она. Только чудо может низвергнуть все полчища угнетателей и эксплуа-

таторов и принести для измученных масс благосостояние и свободу. Но массы требовали такого чуда всеми фибрами своего сердца и *должны* были верить в него, чтобы не впасть в окончательное отчаяние. Возрождавшуюся науку, служившую их мучителям, они стали ненавидеть с такою же силой, как воспринятую ими церковную веру. Они начали отвращаться от действительности, полной слез и скорби, и созерцательно погружаться в свой собственный внутренний мир, чтобы из него почерпнуть утешение и надежду. Аргументам науки они противопоставляли свой внутренний голос, который казался им „голосом Божиим", „откровением", „внутренним просветлением", но который был в действительности голосом их страстных желаний и требований. Он звучал тем громче и тем повелительнее, чем более созерцатель удалялся от общества, устранял от себя все мешающее созерцательности и чем более воспламенял свою фантазию такими средствами, которые усиливают экстаз,—лишением пищи, молитвой. Таким путем в этих экзальтированных людях сложилась вера в чудо, которая в конце-концов приобрела такую непоколебимую крепость, что они передавали ее и другим, у кого были такие же потребности и запросы.

Сочинения Мюнцера представляют характерный пример этого склада мышления. Мы остановимся на некоторых из них, прежде всего на его изложении второй главы пророка Даниила, рассказывающей о видении царя Навуходоносора статуе из железа и золота, с глиняными ногами, разбитой камнем,—о сне, в высокой степени благодарном для революционных истолкований [1]).

Мюнцер пишет: из Христа „сделали какого-то фантастического божка, весь мир попирает его ногами"; за это нас осмеивают язычники и турки, страданиями Христа торгуют, как на ярмарке. Мы должны восстать из этой скверны, должны сделаться учениками Господа, наученными Его учением, укрепленными Его силою для отмщения врагам Господним. Страх Господень необходим нам, а не страх перед

[1]) Ausslegung des andern untersyds Danielis etc., Alstedt 1524.

тварями. Нельзя служить двум господам. Правда, книжники утверждают, что в наше время Бог уже не открывается излюбленным слугам своим ни в чудесных видениях, ни в устной беседе, и потому следует будто бы держаться только писания. Они насмехаются над предостережениями тех, кто получает откровения Бога, — насмехаются, как евреи над Иеремией, когда он пророчествовал о вавилонском пленении.

Потом Мюнцер переходит к видению Навуходоносора. Навуходоносор не мог получить объяснения от своих снотолкователей. „Это были безбожные лицемеры и льстецы, которые говорили то, что нравится слушать господам, подобно тому, как теперь, в наше время, поступают книжники, которым нравится есть при дворе жирные кусочки". В глубокое заблуждение впадают эти ученые, полагая, что они могут без наития Духа Святого отличить добро от зла. Слово нисходит в сердце человеческое от Бога. „Поэтому апостол Павел (Римл., X) указывает на Моисея и Исаию и говорит о внутреннем слове, которое силою откровения Божия слышится в глубине души. А какой человек не воспринял его и не почувствовал через живое свидетельство Божие (Римл., VIII), тот не может сказать о Боге ничего достоверного, хотя бы он пожрал сотни тысяч Библий".

„Дабы человек услышал слово Божие, дабы он мог воспринять его, Бог очищает его от *плотских страстей*, и, когда движение Бога нисходит в сердце человека, пусть человек тот убьет в себе все похоти плоти, пусть он очистит место в душе своей для откровения Божия, ибо *плотский человек не воспринимает, что Бог глаголет в душе его* (1 Коринф. 2); он должен быть умудрен Духом Святым, чтобы глубоко созерцать чистый, ясный смысл закона (Псал. 18), иначе он будет слеп сердцем и сотворит себе Христа из дерева и обманет себя самого... Следовательно, для откровения Божия человек должен отделиться от всего суетного и носить в себе серьезное мужество к восприятию истины (2 Коринф. 6), и *должен путем упражнения в истине отличать истинные видения от ложных*".

Избранный, который хочет знать, какое видение или сон от Бога, какое от сил природы или от диавола, должен

своим сердцем и помышлениями и своим умом „отрешиться от всех бренных утех своего тела“. Когда он удалил из своего сердца все волчцы и терния, т.-е. все похоти, так что в нем произрастают только добрые растения, „тогда только человек познает, что он храм Бога и Духа Святого по все дни свои“.

В другом своем сочинении Мюнцер с большим сарказмом изображает противоположность между чистосердечным христианином, с одной стороны, и самодовольным книжником—с другой. Первый, подавленный сомнениями и горестями и величайшею душевною скорбью, ищет откровения; второй проповедует равнодушие в делах религии и смеется над всякой душевной борьбой.

В человеке, „начинающем делаться христианином“, говорит Мюнцер, рано или поздно прорывается стремление к истинной вере, и он вздыхает: „Ах, жалкий я человек, что гонит меня в моем сердце? Моя совесть пожирает все мои соки и силы и всего меня. Ах, что же надо мне делать? Я заблудился о Боге, я—тварь, коей нет утешения. И вот Бог наказует меня моею совестью, неверием, отчаянием и богохулением. Извне угрожают мне болезни, бедность, стоны и всякие напасти от злых людей и т. д., и все же изнутри меня угнетает более, чем извне. Ах, как хотел бы я истинной веры, если бы только я знал, какой путь к ней истинный“.

В таких заботах сомневающийся обращается за советом к ученым. „Тогда ученые, которым сильно, через меру тягостно открыть рот, ибо каждое слово у них стоит много красных пфеннигов, тогда сказали ученые: „Ах, милый человек, если ты не хочешь верить, убирайся ты к дьяволу“.— „О, всеученнейший доктор, я хотел бы верить, но неверие подавляет все мои желания; что делать мне с ним на свете?“ Но тогда говорит ученый: „Да, мой милый, ты не должен заботиться о таких высоких вещах; веруй только в простоте сердечной и отгоняй от себя мысли. Это—суетная фантазия. Поди к людям и будь весел, и ты забудешь заботы“. Вот, дорогой брат, такое-то утешение дает церковь и никакого больше. Такие утешения обратили христианскую серьезность в омерзение... Апостол Петр говорит тебе, кто

настоящие грязные свиньи; это—все неверующие, ложные ученые, какой бы секты они ни были; они обжорствуют и пьянствуют и в раздолье потешают все свои страсти и, как собаки, скрежещут острыми зубами, если им противоречат хоть одним словом" [1]).

К ученым людям и к мирским желаниям Мюнцер относился с одинаковым порицанием.

Мюнцер, полный экзальтации, представлял новое, грядущее общество в хилиастических очертаниях, в виде рая на земле. „Да",—восклицал он,—„это сделается со всеми нами в наитии веры и так и останется, что мы, земные люди из плоти, сделаемся богами в силу воплощения Христа и будем учениками Бога, и Он будет поучать нас, и мы будем обожествляться. Да, мы совсем превратимся в Него, и земная жизнь перейдет в небесную" [2]). Это—пример апокалиптической мистики. С нею совмещался, впрочем, и очень грубый реализм. Если Бог не шел навстречу жажде Мюнцера по откровению, тогда Мюнцер доходил до очень пренебрежительных выражений,—если только мы можем верить Меланхтону, который с содраганием рассказывает: „да, Мюнцер прямо говорил,—это страшно слышать,—что он хотел стрелять в Бога, когда он не говорил с ним, как с Авраамом и другими патриархами" [3]).

Экзальтированный мистицизм, идущий рука об руку с аскетизмом, чужд современному пролетариату. Всякий, кто способен видеть знамения времени, наблюдает в настоящее время, что будущее принадлежит пролетариату, что социальное значение, а следовательно, политическая сила, интеллигентность и моральный уровень всех других классов падают по сравнению с ним. Действительность, обещающая пролетариату победу, в настоящее время обещает ее тем громче,

---

[1]) Protestation oder empietung Tome Müntzers von Stolberg am Hartzs. Alstedt 1524.

[2]) Aussgetrückte emplössuug des falschen Glaubens der ungetrewen Welt. Mülhausen 1524.

[3]) *Philipp Melanchton*, Historie Thomae Münzer's, abgedruckt in «des teuren Mannes Gottes, Dr. Martin Luther» sämmtlichen Schriften und Werken, Лейпциг 1729, XIX, стр. 295.

чем глубже ее исследуют, и чем яснее выступают тенденции современного общественного развития. Наука, которая своей задачей делает решительное исследование истины, соответствует интересам только пролетариата: это единственный класс, заинтересованный в раскрытии истины.

Конечно, в настоящее время опять расцветает мистицизм, жажда сверхъестественных сил; но расцветает уже не среди пролетариата, не среди коммунистов,—которые сделались философами действительности, материалистами,—а среди имущих классов, которые чувствуют, что приближается их последний час.

Однако, нет у них той веры и той преданности великому делу, которые мистикам средних веков давали силу претерпевать самые жестокие преследования и радостно итти на смерть. Буржуазный мистицизм и суеверия наших дней уже не порождают героев и мучеников: они так же неспособны итти до конца, как буржуазная наука. Они охотно заимствуют у науки маленький плащ, чтобы сделаться салонными, и склоняются перед капризами богачей.

6. Аскетизм.

Кроме мистицизма, другая характерная особенность коммунистов на исходе средних веков и в эпоху Реформации, в отличие от современных,—*их аскетизм*.

Как и в эпоху падения Римской империи, в средние века производительные силы еще не были настолько развиты, чтобы возможно было для всех обеспечить средства утонченных жизненных наслаждений. Поэтому, если кто-либо требовал всеобщего равенства, он должен был видеть зло не только в роскоши, но и в искусствах и науках, которые, при том, часто фактически выступали прислужницами той же роскоши. Но нередко коммунисты шли еще дальше. В виду ужасающей бедности, некоторым еретикам казались греховными не только заносчивость и фривольность, но и вообще всякая радость, всякие удовольствия, хотя бы совершенно невинные. Один из примеров мы уже видели в цитированных выше местах из сочинений Мюнцера; но их легко было

бы увеличить в несколько раз. Меланхтон приходил в сильное негодование перед такими воззрениями. „И учил он“,— сообщает Меланхтон в уже упомянутой „Истории Томаса Мюнцера“,—„что так должно итти к истинному и христианскому благочестию. Сначала следует освободиться от таких пороков, как прелюбодеяние, убийство, богохуление и т. п. При этом должно умерщвлять и истязать плоть постами, плохим одеянием, мало говорить, иметь хмурый вид, не подстригать бороду. Выполнение таких детских требований он называет умерщвлением плоти и крестом, о которых писано в Евангелии. На этом серьезно настаивают все его проповеди“. Благодаря своему мрачному пуританизму, коммунисты вступали в антагонизм не только с господствующими, а часто и с трудящимися классами, которые в то время еще были полны нерастраченной жизнерадостности и бодрости. Крестьяне и ремесленники нередко ненавидели коммунистов, как ханжей. Пуританский дух начинает пускать корни в крестьянстве и мелкой буржуазии только в позднейшее время. Развитие реформации привело к угнетению и принижению этих общественных классов, а развитие монархического абсолютизма сделало безнадежным всякое сопротивление; развивался капиталистический способ производства, и сбережение—„самоотречение“—становилось главной добродетелью мелких эксплуататоров, потому что это было одно из первых средств, открывавших перед ними надежду продвинуться в ряды крупных эксплуататоров. С этого времени пуританский дух начал пускать корни среди крестьян и мелкой буржуазии.

Но тот самый капиталистический способ производства, который прививает пуританизм крестьянам и мелкой буржуазии, изгоняет его из пролетариев: он порождает в них одновременно безнадежность и уверенные надежды. Он показывает, что безнадежны все попытки улучшить свое положение посредством индивидуальных усилий; у отдельного пролетария он отнимает надежду на лучшее будущее и убеждает его, что было бы глупо жертвовать настоящим ради будущего. Carpe diem,—пользуйся днем, не упускай представляющейся возможности наслаждения,—это становится его де-

визом. Его положение делает его безпечным,—хотя разумеется, не избавляет его от забот,—и легкомысленным: два величайших смертных греха в глазах филистера-пуританина.

Но в то же время коммунистический способ производства порождает в пролетариях уверенную надежду: если он показывает, что их индивидуальное будущее складывается все безнадежнее, то, наоборот, будущее их класса он показывает все в более сияющем свете. Изо-дня в день возрастает спокойная надежда и уверенность пролетариата в победе: он видит, что все больше приближается тот день, который сделает его владыкой всех произведенных им сокровищ. И каких сокровищ!

Современного пролетария не так возмущает *роскошь богатых*: мы уже указывали, что теперь она выступает с меньшей провокационностью, чем полтысячи лет тому назад. Его возмущает тот факт, что он должен терпеть нужду среди и вследствие *избытка* всего *необходимого*. Пролетарий знает, что в виду колоссальных производительных сил, порожденных современным способом производства, пришло то время, когда избыток может быть создан для всех.

Если в пролетарии, имеющем в виду только свою личную судьбу, капиталистический способ производства порождает безпечность и легкомыслие, то в пролетарии, участвующем в борьбе своего класса, мыслящем и чувствующем с совокупностью своего класса, он порождает высшие формы бодрости и жизнерадостности.

Пролетарии средних веков, поскольку они вообще возвысились до самостоятельного мышления и созерцания, мыслили и чувствовали иначе. Сколько бы точек соприкосновения ни было у их пуританизма с аскетизмом христианства, в особенности его первых веков, он отличался от последнего в существенных пунктах.

Паразитическим пролетариатом определялся характер первоначального христианского аскетизма. Выпающиеся особенности пролетариев-босяков,—кто хочет морализировать, назвал бы их пороками,—*леность, крайняя неопрятность и тупоумие*. Христианский аскетизм представлял систему выработанных до совершенства способов, стремив-

шихся к тому, чтобы довести эти особенности до величайшей законченности. Такой аскетизм напоминает аскетизм Индостана (браманский и буддийский), развившийся на почве аналогичных общественных отношений.

Годы, десятилетия проводят благочестивые люди на одном и том же месте, не делая ни одного движения, тупо-равнодушные ко всем внешним влияниям: к жару и холоду, засухам и дождю,—не умываясь, не обстригая волос и ногтей, покрытые паразитами, которые беспрепятственно на них размножаются. Некоторые из этих кающихся праведников,—все они в большей или меньшей мере были праведниками,—слишком ленивы даже для того, чтобы есть: их искусственно кормят благочестивые почитатели.

Пролетарии средних веков большею частью были уже рабочими. Они не могли позволить себе роскошь такого самоотречения. Они существовали не благотворительностью, т.-е. не эксплуатацией других, как анахореты, а своим собственным трудом. Чтобы не умереть с голоду, они должны были двигаться и помышлять о мирских делах. Ни тупоумие, ни леность не совмещались с их существованием; они еще не были принижены и стояли еще так близко к сильному, зажиточному крестьянству и ремесленникам, что не могли бы сжиться с грязью и неопрятностью. Меньше всего были способны на это те из пролетариев, которые стояли настолько высоко, что могли воспринять коммунистические идеи. Все сообщения о коммунистических сектах средних веков и эпохи Реформации сходятся в признании, что сектанты выделяются из окружающей среды по своему трудолюбию, честности и опрятности. Эти свойства в некоторых местах сделали даже сектантов желательными рабочими. Хорошее доказательство тому представляют перекрещенцы, которым удалось обосноваться в различных пунктах Моравии. Здесь секта сделалась мирною и основала несколько колоний, которые были настолько коммунистическими, насколько позволяла окружающая среда. Гиндели, который ни мало не симпатизирует им, пишет об этих колониях:

„*Перекрещенцы* встречались среди различных сект в Богемии кое-где, а в Моравии—большими массами и в много-

численных общинах. Они переселились в Богемию перед 1530 годом и быстро распространились так, что составили более 70 общин. Государственные власти преследовали их то с большей, то с меньшей энергией, но они все-таки удержались, благодаря защите нескольких дворянских родов, у которых были к тому основательные причины.

„Так, Максимилиан добрался до перекрещенцев в Моравии, которые часто и так тщетно подвергались проскрипции. Согласно обычаям своего отца, он в 1567 году внес в сейм предложение об изгнании перекрещенцев в течение короткого срока. Но теперь дворяне сделали то, чего они никогда раньше не делали. Сословие рыцарей и господ,—сословие прелатов и города в этой просьбе не участвовало,—просило у императора о том, чтобы в их места жительства допустили перекрещенцев. Просьба не подкреплялась указаниями на то, что еретичество перекрещенцев еще не доказано, или что надо сделать попытку обращения их. Совсем нет: просьба опиралась на тот не подлежавший никаким сомнениям довод, *что перекрещенцы—приносящие большую пользу подданные, что от их удаления последует еще больший материальный вред, чем от изгнания евреев.* Католики, утраквисты, равно как и (богемские) братья склонились перед важностью этого аргумента, выставленного ими самими. *И действительно, повсюду перекрещенцы были в высшей степени трудолюбивыми, бережливыми, умеренными и, кроме того, искуснейшими, вне всякого сравнения, рабочими Моравии*“ [1]).

Ничего подобного нельзя сказать об апокалиптических фантастах и аскетах первоначального христианства.

7. Интернационализм и революционный дух.

Все рассматриваемые здесь виды коммунизма: первоначально христианский, средневековый и современный, соприкасаются в одном существенном пункте: они интернациональны, что резко отличает их от платоновского коммунизма, который имел местный характер. Платоновский ком-

[1]) *A. Gindely.* Geschichte der böhmischen Brüder. Прага 1857, II т. стр. 19 и сл.

мунизм был расчитан на отдельные городские общины с их территориями. Напротив, со времен христианства каждый коммунист действует для всего человечества, или по меньшей мере для всего того интернационального культурного мира, в котором он существует. Локальная ограниченность платоновского коммунизма соответствует особенностям крестьянского и ремесленного производства. Крестьянское производство делает человека оседлым, прикрепляет его к определенному участку земли и совершенно поглощает его рабочие силы. Блужданию некогда кочевых племен наступает конец, кругозор сельского населения суживается, „политика прихода", не выходящая за пределы марки и общины, становится характерной особенностью крестьянства.

Не в лучшем положении находится и городской мелкий буржуа средних веков. Кроме своего городского ремесла, он обыкновенно тоже занимается земледелием. Но и в тех случаях, когда он живет исключительно ремеслом, он все же прикован к определенному месту своей зависимостью от определенных местных потребителей, а часто, кроме того, и как домовладелец.

Капиталисты и рабочие возвышаются над такой локальной ограниченностью. Купец живет не одними местными потребителями, но также—и даже преимущественно—торговлей за пределами его родины. Чем теснее и ближе связывает обмен, тем более преуспевает купец. Поэтому купец—интернациональный или, лучше сказать, между-городской человек. Где он может добыть прибыль,—там он и дома.

Из других источников вытекают интерлокальные настроения пролетариата. У него нет ничего, что привязывало бы его к определенному месту. И, далее, родина не дает ему ничего, кроме того, что он нашел бы и в других местах: кроме эксплуатации и угнетения. Поэтому достаточно маленькой надежды несколько улучшить свою долю в другом месте, чтобы он перекочевал на чужбину.

Однако интерлокализм купца имеет совершенно иной характер, чем интерлокализм пролетария. Обмен с заграницей и положение купца на заграничном рынке находятся в большой зависимости от силы того государства—будет ли то

античный город или современная нация,—к которому принадлежит купец. Для своих успехов он нуждается в сильной государственной власти, сильной в особенности в военном отношении. Поэтому, живет ли купец за границей или на родине, он всегда остается патриотом,—в первом случае обыкновенно даже больше, чем во втором. Начиная с средних веков во всех тех случаях, когда обстоятельства благоприятствовали абсолютизму и созданию национальных государств, купцы всегда становились на сторону князей и шовинизма.

Пролетарий находится в ином положении. Государственная власть представляет самую мощную охрану его эксплуататоров и угнетателей. И с падения Римской республики вплоть до XIX века у пролетариата не было никакой надежды завоевать государство, подчинить его себе или хотя бы влиять на него в своих интересах. Государство было величайшим врагом пролетариата,—и неудивительно, что пролетариат легко приходил к тому, чтобы сделать из этого обстоятельства все логические выводы. Характерными особенностями всех коммунистических сект от первоначального христианства до XIX века было не просто равнодушие, но и антипатия по отношению к государству, отрицательное отношение к тому, чтобы принимать участие в политике и в обороне страны. Анархизм—отголосок таких настроений. Такое отрицательное отношение преодолевалось только на время, в революционные эпохи, когда казалось, что старая государственная власть рушится, и что пролетариат в состоянии овладеть ею. Но тем решительнее в эпоху реакции был отказ от всякой политики. Мы еще встретимся с этой чертой у богемских братьев—после падения Табора, у перекрещенцев — после крестьянской войны и у меннонитов — после поражения мюнстерского восстания.

Но коммунисты с эпохи первоначального христианства при всех обстоятельствах подчеркивают долг *интернациональной* или интерлокальной *солидарности*.

Купца встречают за границей как конкурента, как противника туземных купцов. Он не рассчитывает на их благодушие и опирается исключительно на свою силу или на силу своего государства, которое дает ему охрану.

Пролетарий является на чужбину, как борец против тех же эксплуатации и угнетения, какие находил у себя дома. Он может в своей борьбе расчитывать на поддержку не своего государства, а лишь пролетариев той страны, в которую прибыл, в которой он ведет общую борьбу с ними.

Конечно, когда пролетарий видит в себе не столько борца, сколько продавца своей рабочей силы, он увидит в иностранных сотоварищах-пролетариях скорее конкурентов, чем товарищей по борьбе, и тогда склонность к интернациональной солидарности легко подавляется.

Но это не относится к коммунистам. Они в первую очередь—борцы против эксплуатации и угнетения, и повсюду они встречают одних и тех же противников, страдают от одних и тех же преследований. Это их сплачивает. Со времен первоначального христианства наблюдателям всегда бросалась в глаза та своеобразная особенность коммунистов, что все они составляли одну большую семью, что иноземный товарищ точно так же являлся братом для них, как и туземный, что каждый из них был как бы дома повсюду, где только находил товарищей. Вследствие этой особенности и отсутствия собственности у коммунистов, — собственники, примыкавшие к ним, должны были разделить свое имущество между бедными, если они хотели в качестве учителей работать среди них,—их передовые борцы, их агитаторы легко передвигались с места на место. Они всегда были в разъездах, обнаруживали большую подвижность и делали такие концы, которые могут показаться внушительными даже теперь, в эпоху железных дорог. Так, напр., богемские вальденцы поддерживали постоянные сношения с вальденсами Южной Франции.

Благодаря этому, коммунисты получили огромное значение во всех революционных движениях нисших классов того времени. Локальная ограниченность крестьян и мелкой буржуазии являлась величайшей помехой в революционных движениях средних веков; она обусловливала в высшей степени невыгодное положение низших классов по сравнению с их хорошо организованными противниками. Если же когда-либо и удавалось преодолеть эту ограниченность и привести

революционные восстания отдельных местностей во взаимную связь, то это было главным образом делом странствующих проповедников-коммунистов. Успех, которым сопровождалось в начале крестьянское восстание 1381 года в Англии и таборитское движение в Богемии, должен быть в значительной степени приписан объединяющему влиянию странствующих проповедников-коммунистов. Так же действовали они—и между ними в особенности Томас Мюнцер — во время великой крестьянской войны 1525 года в Германии; но германский партикуляризм был слишком силен, и странствующие проповедники не могли преодолеть его. Это восстание потерпело крушение главным образом вследствие его раздробленности.

Здесь мы подходим еще к одной важной особенности еретического коммунизма, к последней, которую нам надо трактовать в данной связи,—к особенности, отличающей его от первоначально-христианского коммунизма и, напротив, родственной ему с современным: к его *революционному духу*.

Паразитический пролетариат характеризуется трусостью и смирением. Нельзя сказать, что он не питает ненависти к богатым. Эта ненависть развита в нем, по меньшей мере, так же, как в пролетариях-рабочих. Следы этого мы находим и в Евангелии. Напомним только притчу о бедном Лазаре.

О нравственных качествах богача и бедного в притче не говорится ни слова. Лазарь попадает в лоно Авраамово не потому, что он был хороший человек, а потому, что ему жилось плохо. О богатом тоже не говорится ничего дурного,—его богатства достаточно для того, чтобы осудить его на вечные адские муки, которых не может, да повидимому и не хочет смягчить Авраам. Если это — не ненависть против богатых, как богатых, не классовая ненависть, ничем не прикрытая, то вообще не существует классовой ненависти.

Но притча о бедном Лазаре показывает нам в тоже время каким образом выражается классовая ненависть паразитического пролетариата: в *грезах*. Он измышляет ужасающие мучения для богачей и торжествует, видя их,—но видя только в воображении. Он ненавидит богатых, но он знает, как

сам он излишен в обществе: он существует только милостью богачей, и чем более он их ненавидит, тем трусливее и смиреннее пресмыкается перед ними. Ярче всего должно было сказаться это в эпоху Римской империи, в обществе, в котором погибли все республиканские гражданские добродетели, в котором уже ни один класс не верил в себя, и повсюду распространились трусость и низкопоклонство. Неудивительно, что эти свойства вошли и в христианство того времени, когда оно оторвалось от бунтарских элементов Іудеи, и что самые несомненные следы этого отпечатлелись в тогдашних христианских писаниях.

Поэтому, несмотря на материализм абсолютной монархии, зарождавшейся в конце средних веков, новозаветные писания представляли для нее такое же желанное оружие, как римское право, возникшее в одну эпоху с христианством. *Эту* религию, сказали суверены, следует сохранить для *народа*.

Народ же,—эксплуатируемые классы, крестьяне, мелкие буржуа, пролетарии—думал иначе. Это был не такой народ, как в падающем римском обществе. Вооруженный, по-мужицки упрямый, он никак не мог понять того учения, которое повелевает человеку, получившему удар по одной щеке, подставить другую; которое отвергает самопомощь, „ибо мне отмщение, говорит Господь“, и „кто возьмет меч, от меча погибнет“; которое объявляет христианским долгом молчаливые страдания и терпение. Когда народ, вообще, сумел сам познакомиться с библией,—католическое духовенство хорошо понимало, почему оно знакомство с библией хотело превратить в свою исключительную привилегию,—он заимствовал из нового завета не учение о смирении и самоотречении, а только ненависть против богатых. Излюбленнейшим новозаветным произведением для еретических низших классов народа сделался Апокалипсис: эти революционные и кровожадные фантазии первоначального христианина, в которых он радостно предвещает сопровождаемую ужасами гибель существующего общества, и по сравнению с которыми невинным представляется все, что радикальнейший анархизм дал до сих пор по части действий

и угроз. Но кроме Апокалипсиса, еретические элементы из низших классов народа с особенным усердием обращались к *ветхому* завету, который еще полон воспоминаний о крестьянской демократии и возвещает не только ненависть, но и действенную, беспощадную борьбу против тиранов, богатых и сильных.

Уже Лютер во время крестьянской войны в своем сочинении: „Против грабительственных и разбойных крестьян", указывал на противоположность между ветхим заветом, зачастую крестьянскилюбческим, и новым заветом, который дружелюбно расположен к царям: „нисколько не поможет крестьянам, если они ссылаются, что по „Бытию" 1 и 2 все сотворено свободным и общим, и что все мы получили одинаковое крещение. *Ибо в новом завете Моисей не удержи-вается и не имеет значения*; там стоит наш учитель Иисус Христос и *вместе с нашим телом и достоянием подчиняет нас кесарю* и светскому праву" и т. д.

Приверженцы коммунистических сект не остались вне влияния боевых настроений низших слоев. Но они были слишком слабы, их существование слишком сильно зависело от терпимости богатых и сильных, и потому в мирные времена среди них не могла бы возникнуть мысль о насильственном ниспровержении существующего общества и о создании вместо него коммунистического. Хотя они не пресмыкались и не унижались, как паразитствующие пролетарии падающего Рима, однако, вплоть до эпохи Реформации коммунисты оставались в общем миролюбивыми, и об их миролюбии и терпеливости все сообщения говорят с таким же единодушием, как об их трудолюбии и опрятности.

Но когда наступали революционные времена, и со всех сторон начинали подниматься крестьяне и ремесленники, тогда революционный энтузиазм охватывал и коммунистов. Тогда им—по крайней мере, некоторой части из них, так как они расходились в этом вопросе,—начинало казаться, что пришло время, когда величие Божие обнаружится и в малом, и никакое чудо не будет невозможно. Тогда они бросались в революционное движение, чтобы использовать его для коммунизма. А так как для них, раз они уже бросились в ре-

волюционное движение, исключался всякий компромисс с существующими властями, так как для них не представлялось возможным какое-нибудь улучшение в рамках существующего общества, то они скоро брали верх над колеблющимися и нерешительными элементами и легко становились вождями движения: Фра Дольчико в тосканской крестьянской войне, Джон Болл в английской, табориты среди гуситов, Мюнцер и его приверженцы среди восставших во время крестьянской войны в Тюрингене. Им удавалось целым народным движениям придавать коммунистический отпечаток и сообщать движению видимость такой силы, какою оно еще не обладало в действительности. Как раз это побуждало всех собственников объединяться против коммунизма: они, пылая трусливой яростью, в конец разбивали его.

Этот революционный дух коммунистических движений низших классов народа с конца средних веков является той особенностью, которая, при всех сходствах в некоторых других отношениях, резче всего отделяет его от первоначально-христианского коммунизма и яснее всего говорит об его родстве с современными пролетарско-коммунистическими движениями.

Первоначальный христианский коммунизм был аполитичен и пассивен. Напротив, пролетарский коммунизм, начиная с средних веков, с естественной необходимостью направлялся к тому, чтобы при благоприятных условиях сделаться политическим и бунтовщическим. Подобно современной социал-демократии, он ставит тогда в качестве цели *диктатуру пролетариата, как самый действительный рычаг для осуществления коммунистического общества.*

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Еретический коммунизм в Италии и Южной Франции.

1. Арнольд Брешианский.

Как мы указывали уже в начале этого отдела, средневековые города развились прежде всего в Италии и Южной Франции; там же мы встречаемся с первыми проявлениями средневекового коммунизма; но там же впервые выступают ереси и первые реформаторские стремления.

Германские ученые выставили вздорное утверждение, будто только германские народы обладали той проникновенностью, тою истинной религиозностью, которые необходимы для того, чтобы породить стремление к церковной реформе. На самом деле реформаторские движения в Италии мы находим в такое время, когда в Германии и не думали о реформе.

Прежде всего, эти движения заявили о себе в самом Риме, главном городе христианства. Для средних веков Рим с большим правом мог называться „сердцем Европы", че Париж в период с великой революции до войны 1870—71 года. В Рим направлялись и в Риме решались в последней инстанции не только все церковные дела,—а они наполняли всю жизнь средних веков, — Рим был также художественным и литературным центром, верховным судьею во всех, даже и в светских столкновениях, и—last but not least—центром изысканнейших наслаждений и развлечений. В Рим отправлялся всякий, кто находил, что его угнетают, и не мог на родине

найти своего права; всякий, кто хотел приобщиться к высшей мудрости, к утонченным эстетическим впечатлениям; всякий, кто скучал дома и располагал лишними деньгами. Все они собирались в Рим; и, какие бы разнообразные мотивы ни вели их в Рим, как бы различны ни были достигаемые ими результаты—в одном пункте судьба у них была одинакова: все они теряли свои деньги,—а часто и деньги других.

В средние века, как и в настоящее время, только тогда в несравненно большей степени, чем теперь, Рим был городом иноземцев; он жил иностранцами и преуспевал благодаря иностранцам. Привлечение иностранцев в Рим было одной из важнейших задач, которые ставили себе папы.

Такое средство привлекать иностранцев, как всемирные выставки, в средние века еще не было изобретено. Папы изобрели другое, не менее действительное средство: юбилейные отпущения, или священный год. Предпринимавший в определенный год паломничество в Рим получал полное отпущение своих грехов. Это оказывало действие. Как в 1889 и 1900 году люди тысячами устремлялись в Париж под предлогом чему-нибудь научиться, а на самом деле для развлечения, так в священные годы тысячные массы стекались в Риме, где они могли отведать всех известных тогда грехов и пороков и после того возвратиться домой более безгрешными, чем они пришли в Рим. Первое юбилейное отпущение было назначено папой Бонифацием VIII на 1300 год. Определение числа иностранцев, которые стеклись тогда в Рим, „нелегко и не может быть точным; по всей вероятности, цифры были преувеличены ловким духовенством, которое хорошо знало, насколько пример заразителен. Один проницательный историк, присутствовавший на торжестве, уверяет, между прочим, что в Риме никогда не бывало менее *двухсот тысяч* иностранцев, а другой свидетель определяет общий наплыв иностранцев за год в *два миллиона*. Как бы малы ни были приношения каждого отдельного паломника, в совокупности они все же должны были составить огромную сумму, достаточную для того, чтобы переполнить любую королевскую казну; два священника день и ночь стояли с граблями в руках, чтобы, не считая, сгребать кучи золота

и серебра, которые сыпались на алтарь св. Петра. К счастию, тогда было время мира и изобилия. Правда, чувствовался недостаток в средствах существования, а гостиницы и квартиры были до чрезвычайности дороги; но дальновидный политик Бонифаций и римские обыватели, столь же гостеприимные, сколь жадные до барышей, позаботились о заготовке неистощимых запасов хлеба и вина, мяса и рыбы" (*Gibbon*, Geschichte des Verfalls und Untergang des römischen Weltreichs, deutsch von Sporschil. Leipzig 1837, стр. 2573).

Первоначально предполагалось, что только каждый сотый год будет „священным"; но дело оказалось слишком выгодным для того, чтобы папы и римляне не почувствовали желания повторять его почаще. Промежутки от одного юбилейного отпущения до другого все сокращались: до 50, 33, наконец, до 25 лет.

Это только один пример тех средств, которые пускались в ход для заманивания иностранцев и их денег. Уже задолго до изобретения юбилейного отпущения Вечный город средних веков поднялся из своей приниженности и раньше других городов добился власти и влиятельного положения. Но что наблюдалось в других городах, наблюдалось и в Риме: параллельно с его благосостоянием и силой возрастали самосознание и дух независимости в его обитателях. И, подобно другим горожанам, римляне старались освободиться от своих владык,—от папы, от императора, иногда от обоих одновременно. Средневековый Рим походил на Париж 1789—1871 г.г. не только как „сердце Европы", но и как главный город революций.

„Кто не слыхал",—восклицал в XII веке Бернард Клервосский, который содрогался перед склонным к бунтам народом,—„кто не слыхал о дерзости и непокорстве римлян,—народа, который не знает покоя, вырос в мятежах и, дикий и необузданный, презирает послушание, если только он не слишком слаб для сопротивления? Когда они обещают служить, они стремятся господствовать; когда они поклянутся в верности, они ждут только случая для возмущения; и, однако, они громким криком выражают свое неудовольствие, если перед ними захлопывают двери и обходятся без их со-

вета. Искусные в нечестии, они никогда не учились искусству делать добро. Ненавистные земле и небу, нечестивые перед Богом, мятежные между собою, завистливые по отношению к соседям, они никем не любимы, и, желая разливать страх, живут они в вечной низкой боязни. Они не хотят подчиняться и, однако, не умеют господствовать; они вероломны по отношению к своим властям, сварливы с равными себе, неблагодарны к своим благодетелям и одинаково бесстыдны как в своих требованиях, так и в своих отказах" [1].

Так и кажется, что это немецкий буржуа ругает парижан 1871 г.!

В то самое время, когда власть пап над христианством поднялась до высших пределов, они были бессильны в самом Риме. „Папы, которые приводили в ужас государей и народы своими анафемами, и, в полном сознании безграничности своей власти, господствовали над Западной церковью, редко пользовались спокойствием в Риме; нигде их власть не имела меньшего значения, чем в их собственном городе и их собственном округе. Как беглецы, блуждали они здесь, преследуемые проклятиями своего народа" [2].

Наиболее поразительный и известный, но далеко не единственный пример беспомощности владык мира по отношению к жителям их города представляет Григорий VII, который принудил германского императора, Генриха IV покаянно пойти в Каноссу, но не мог справиться с римлянами. Он покинул Рим, потому что не чувствовал себя там в безопасности, и умер в добровольном изгнании в Салерно.

Только в XV веке, повсюду отмеченном успехами абсолютной власти суверенов, папам удалось сделаться господами своих мятежных подданных. Евгений IV был последний папа (до Пия IX в 1848 г.), которому пришлось (в 1433 г.) спасаться бегством от восстания римлян.

Такое необузданное и не-церковно-настроенное население легко поддавалось желанию возвратить духовенство к евангельской бедности, т.-е. захватить те богатства, кото-

---

[1]) Цитировано у *Гиббона*, loc. cit., стр. 2551. «Эта мрачная картина нарисована, очевидно, не кистью христианской любви», полагает Гиббон.

[2]) *Giesebrecht*, Deutsche Kaiserzeit, III т., стр. 550.

рые были добыты церковью и накоплены в Риме. Но понятно, что достаточно было нескольких лет без папы, чтобы показать римлянам, в чем заключается неиссякаемый источник их существования.

Не удивительно, что первая серьезная попытка церковной реформы была сделана Римом уже в половине XII века; эта попытка связана с именем *Арнольда Брешианского.* Арнольд, ученик Абеляра, самым решительным образом выступил против светской собственности клира и, как все позднейшие реформаторы, ссылался на первоначальное христианство. Однако, он не был коммунистом: церковные имущества, по его мнению, следовало не делить между членами нации, а передать светским государям.

Изгнанный за свои „ереси" из Франции, где он слушал в Париже Абеляра, Арнольд бежал в Швейцарию. В 1145 году он отправился в Рим, нашел защиту у мятежной тогда демократии и отдался служению ее интересам.

Между тем, это движение, продолжавшееся едва ли десять лет, улеглось. Римляне скоро поняли, что некоторая мягкость в отношениях к папству—дело не лишнее; зачем, в самом деле, резать курицу, которая несетъ золотые яйца? Величие и богатства Рима основывались не на промышленности или торговле, а на эксплуатации христианства папством. Римляне средних веков, подобно римлянам античной республики, жили эксплуатацией мира. Изменились только методы эксплуатации. В 1154 году римляне заключили мир с папою и выслали Арнольда Брешианского. Славный Фридрих I Барбаросса, в руки которого попал он, выдал его папским палачам, а те, не теряя времени, сожгли его, как заведомого еретика.

2. Бальденцы.

Более глубокие корни пустили ереси в городах Северной Италии и особенно в Южной Франции. В средние века там раньше, чем в какой-либо другой западно-европейской стране, развилась торговая и городская промышленность. Южную Италію мы оставляем в стороне, потому что в средние века она принадлежала скорее к Востоку, чем к евро-

нейскому Западу. Ее культура была скорее византийская и сарацинская, чем христианско-германская. В Северной же Италии и Южной Франции раньше всего образовалась буржуазия и развилось ремесло не только для удовлетворения местных потребностей, но и начатки массового производства для вывоза, а вместе с тем появились первоначальные формы капиталистически эксплуатируемого пролетариата.

Богатства городов Северной Италии очень рано навлекли алчность папства. Но те же богатства дали городам силу бороться за свою самостоятельность и очень часто добиваться ее, свергая папское иго.

Однако, целый ряд обстоятельств благоприятно настраивал города Северной Италии по отношению к папам. Богатств итальянских городов жаждали не одни папы, но и конкуренты их по части эксплуатации Италии,—германские императоры. Чем меньше удавалось им добыть в экономически отсталой Германии, тем более старались они извлечь из богатых городов Италии. И какими бы бессильными ни были они в Германии,—для своих хищнических походов на Италию, для так-называемых римских походов они всегда могли рассчитывать на многочисленных соучастников. А немецкие историки освящают эти походы всеми чарами идеализма, какими они располагают в таком изобилии.

Следовательно, городам Северной Италии приходилось иметь дело с двумя эксплуататорами, которые боролись друг с другом. Пока города были недостаточно сильны, чтобы отстаивать свою самостоятельность против обоихъ сторон, они видели себя вынужденными заключать союз с одним эксплуататором, чтобы избавиться от другого.

Для них было великим вопросом, какой эксплуататор опаснее: бедный ли войсками, но близкий папа, который в каждом городе находил сильную опору в зависимом от него духовенстве, или же сильный своей армией, но, обыкновенно, далекий император. Симпатии городов изменялись, смотря по обстоятельствам: сегодня они вступали в союз с императором, чтобы завтра напасть на него или его друзей, и обратно. Да и внутри каждого города существовала партія императора, получившая с XIII века названіе партіи гибе-

линов, и папская, гвельфская партія. На первый взгляд, все противоречия классов и партий в городах сводились к антагонизму императорских и папских приверженцев: если один класс или партия примыкали к императору или искали у него защиты, нельзя было сомневаться, что другая, враждебная ей, партия склонится на сторону пап.

Уже по одной этой причине симпатии к папам в городах Северной Италии часто делались очень сильными и во всяком случае никогда не исчезали вполне. К этому присоединился и другой момент. Путь пилигримов в Рим вел через Северную Италию. Пилигримы в Иерусалим в эпоху Крестовых походов выбирали дорогу, преимущественно, тоже через Северную Италию. Путешествия пилигримов в Святую землю и в Рим сыграли не малую роль в ускорении экономического развития городов Северной Италии. Но те и другие паломничества предполагали, что папству принадлежит господство над всем христианским миром. А в скором времени и еще одно обстоятельство усилило интерес городов Северной Италии в поддержании того порядка, при котором папы эксплоатировали всю Европу. В этих городах сложились зачатки вексельного и банкового дела. Северно-итальянские купцы были первыми банкирами пап. К ним приливали все суммы, выжатые папами; они управляли этими суммами в интересах пап—и в своих собственных интересах. В руках купцов эти суммы становились мощными капиталами: ростовщическим и купеческим. Банкиры делали обороты, спекулировали папскими капиталами, отдавали их в ссуду королям и городам, сеньорам и монастырям.

Таким образом, папская эксплуатация сделалась одним из устоев экономического процветания Северной Италии.

Следовательно, горожане Северной Италии, как и римляне, были заинтересованы в сохранении папского господства; подобно римлянам, они часто обнаруживали наклонность к мятежам против папства, так как предпочитали эксплуатировать вместо того, чтобы быть объектом папской эксплуатации; но, как и римляне, они опасались заходить в мятеже настолько далеко, чтобы разрушить механизм папской эксплуатации, которая и им приносила выгоды.

Поэтому в Северной Италии, как и в Риме, мы очень рано встречаемся с реформаторскими движениями, с еретической борьбой против папской власти, но дело нигде не доходит до радикальной реформации. Задолго до германской Реформации Северная Италия достигла *духовной* независимости от учений католической церкви; но для отречения от папства не хватало *экономических* предпосылок.

Первое серьезное возмущение не просто против отдельных актов угнетения, но против самого господства пап мы находим поэтому не в Северной Италии, а в Южной Франции, которая была так же развита в экономическом отношении, как и Италия, но не имела никаких интересов в сохранении папского господства.

„В прекрасной стране между Альпами и Пиренеями"— говорит Шлоссер в главе „Южная Франция перед альбигойскими войнами"—„сохранились многие остатки греческой и, в особенности, римской культуры, которая с основания Марселя процветала здесь в течение всего древнего времени. Там впервые в средние века своеобразно развились науки, изящные и прикладные искусства, равно как и учреждения гражданской жизни; там римская, латинская, испанская поэзия пришла в соприкосновение с арабской и дала оригинальную смесь. Известно, что эту страну избрали для своего местопребывания так-называемое веселое искусство трубадуров и дамские суды любви, песни, благородство и изысканная вежливость; известно, что, как в Греции в эпоху Гомера, поэзия там была неразлучна с празднествами и пиршествами, что там вырабатывались и искали себе образцов певцы доблестей и любви, что, наконец, Данте и Петрарка черпали из этого же источника, прежде чем они поднялись выше среднего уровня своей нации. Из наук в особенности процветало в Южной Франции—и, если исключить Салерно, только в ней одной—искусство врачевания. Кроме того, евреи устроили там большое количество ученых учреждений. Города Южной Франции давно пользовались такою свободою и самостоятельностью, какой еще не знали другие страны Европы. Даже в Тулузе, резиденции могущественного графа, управлением заведывал независимый магистрат и сво-

бодный комитет граждан, а в Муасаке сюзерен даже должен был приносить присягу правам города, без этого он не мог и думать принимать присягу от граждан. При таких условиях не удивительно, что в Южной Франции раньше всего проявилось всеобщее негодование против вырождения христианства, что там реформы культа, равно как и переводы Евангелия на язык страны, сделались господствующим требованием, и что из таких причин возникла та ужасная война с церковью, которая, в конце-концов, не только уничтожила свободу этой страны, не только на долгое время превратила самый цветущий край в Европе в пустыню и распространила господство французского короля до Средиземного моря, но и дала повод для введения на Западе инквизиции" [1]).

Уже в начале XII века ереси получили такое распространение в Южной Франции, что папа Калликст II на Тулузском соборе 1119 года нашел необходимым принять против них меры. Но в течение целого столетия ереси все разрастались и пускали все более глубокие корни.

В этом, как и во всех великих реформационных движениях, участвовали разнообразнейшие классы с разнообразнейшими интересами и целями; только *одно* объединяло их: ненависть к римской эксплуатации. Но все они старались достигнуть своих различных целей на одном и том же пути: посредством возврата к первоначальному христианству. Конечно, каждое из еретических течений разумело под ним нечто иное, чем остальные; но, пока приходилось объединенными силами держаться против общего врага, на первый план выдвигалось, конечно, общее в этих течениях, а не разделяющее их; последнее часто совсем и не сознавалось борцами. Примем, кроме того, во внимание, что наименования различных течений совсем не установились и изменялись по месту и времени; что тогдашние исторические сообщения отличались большим, чем когда-либо, несовершенством (впрочем, они и до настоящего времени почти всегда были несовершенными, так как постоянно занимались больше иллюзиями и аргументами борющихся партий, чем фактическими

---

[1]) Weltgeschichte. Frankfurt a. M. 1847. T. VII, стр. 251, 252.

отношениями, породившими партии, и фактическими стремлениями партий),—взвесим все это, и мы не удивимся, что относительно стремлений южно-французских еретиков существуют самые противоположные мнения. В то время, как одни уверяют, что решительно все катары (Katharer) [1])—так называли этих еретиков (отсюда немецкое Ketzer—еретик)—проповедывали коммунизм и общность жен, другие приходят к противоположной крайности и заявляют, что у южно-французских еретиков нельзя найти и следа коммунистических тенденций. Первое мнение решительно ложное, но и последнее кажется нам необоснованным. У вальденцев можно заметить в особенности ясные следы коммунизма.

Основателем этой секты обыкновенно называют Петра Вальдуса. Но многие полагают, что секта существовала уже до Вальдуса [2]). Хронология для нас не имеет большой важности. Относительно Вальдуса известно, что он был богатый лионский купец, устыдился своих богатств в виду окружающей великой бедности и роздал беднякам свое имение и добро (около 1170 года), потом собрал вокруг себя товарищей, которые, живя подобно ему в добровольной бедности, всецело посвятили себя службе бедным и нищим. Если и не он основал секту, которая носит его имя, то, во всяком

---

[1]) Происхождение этого слова сомнительно. Возможно, что оно взято с греческого. Katharos по-гречески значит чистый: «катары» значило бы тогда «чистые», как «пуритане». Но, с другой стороны, трудно предположить, чтобы уже в XII веке греческий язык получил такое распространение в Южной Франции. Хитрее всего поступают те истолкователи, которые производят слово от немецких «Katze» или «Kater» («кошка» или «кот»). Два «ученых» иезуита, Иаков Гретер и Готфрид Геншен полагали, что заблудшиеся назывались «катерами» (котами), потому что они, как коты, устраивали свои собрания по ночам. Другой ученый полагал, что они получили свои имена оттого, что поклонялись дьяволу во образе кошки, к задней части тела которой они прикладывались («Catari dicuntur a Cato, quia osculantur posteriora cati, in cujus specie, ut dicunt, apparet eis Lucifer». Alanus, Lib. I. contra Waldenses, p 4). У *Мовгейма*, Versuch einer unparteiischen und gründlichen Ketzergeschichte. Helmstedt 1743, стр. 363 и слл.

[2]) Относительно этого пункта сравн. *F. Bender*. Geschichte der Waldenser, Ульм, 1850

случае, он необыкновенно много сделал для ее организации и распространения и впервые познакомил с ней широкие круги. Членами этой секты, которых называли гумилиатами („низшие“) или лионскими бедняками (Povres de Lyon), были главным образом ремесленники, особенно *ткачи*.

В 1145 году папа Евгений III отправил в захваченную ересями Южную Францию своего легата; его для борьбы с „манихеями“, т.-е. еретиками, сопровождал св. Бернар. Так как эти манихеи больше всего приверженцев находят среди *ткачей* Тулузы и окрестностей, и на местном народном языке их называют ариянами, то и самой секте дали это название, как и в Северной Франции, где катаров в этом веке обычно называли tixerands (ткачи)“. (*J. Dollinger*, Geschichte dər gnostisch-manichäischen sekten im frühen Mittelalter, München 1890. Стр. 90, сравн. 131).

Один римский инквизитор „Псевдо-Рейнер“ (первоначально его сочинение приписывалось инквизитору Reinerius Sachoni, который умер в 1259 г.; однако, авторство последнего оказалось сомнительным) около 1250 г. изобразил вальденцев в сочинении „De Catharis et Leonistis“; чтобы вызвать презрение к ним, он подчеркивает, что учителями у них были ремесленники,—башмачники и ткачи. О ткачах часто упоминается, как о членах секты. (Ср. *L. Keller*, Die Reformation und die älteren Reformparteien, стр. 18, 33, 120).

В начале своего развития секта не обнаруживала намерения отделиться от церкви. Когда архиепископ лионский запретил вальденцам проповедь, они обратились за разрешением к папе Александру III. Но их учение оказалось слишком опасным для того, чтобы папство терпимо отнеслось к нему; притом же вальденцы отказывались поступить на службу к папизму, как—в позднейшее время—сделали францисканцы и доминиканцы; поэтому в 1184 г. папа Люций IV изрек им анафему. С этого времени навсегда порвалась связь их с папскою церковью.

Сначала их коммунизм—общественные идеалы– носил монастырский характер. Они требовали коммунизма; но не всякому дано возвыситься до уровня таких требований, которые и у них были связаны с отрицательным отноше-

нием к браку. От „совершенных“ (perfecti требовался коммунизм и, вероятно, также безбрачие; последнее считалось, по меньшей мере, желательным, на брак смотрели косо. Для учеников (discipuli), напротив, допускались брак и мирская собственность. Зато ученики были обязаны содержать совершенных, которым не следовало заботиться о суетностях мира сего. Этот род коммунизма напоминает, с одной стороны, общество Платона, с другой — нищенствующих монахов. С платоновским коммунизмом вальденцам обще уравнение женщин с мужчинами. Папа предал проклятию, как еретическое, убеждение их, что женщины могут проповедывать в такой же мере, как и мужчины. Мужчины и женщины путешествовали вместе и проповедывали, а благочестивые души возмущались, что при таких обстоятельствах безбрачие не было равнозначаще с вечным целомудрием [1]).

Заслуживает также упоминания, что вальденцы отказывались от военной службы и присяги, и что они особенно горячо относились к правильной постановке народного образования. „Все без исключения“ — говорит выше цитированный Псевдо-Рейнер,—„мужчины и женщины, большие и малые, непрерывно учатся и учат. Рабочий, который днем работает, по ночам учится или учит; они мало молятся, потому что учатся так много. Они учатся и обучают без книг... Кто проучится семь дней, тот ищет ученика, которого он мог бы обучать, в свою очередь“ [2]).

Если бы вальденцы заключили мир с папством и обратились в привилегированный орден, их аристократический коммунизм, как у всех монашеских орденов, развился бы в источник эксплуатации. Но они остались гонимой сектой, а потому аристократический, эксплуататорский элемент этого

---

[1]) „Hoc quoque probrosum in eis videbatur, quod viri et mulieres simul ambulabant in via, et plerumque simul manebant in una domo et de eis diceretur quod quandoque simul in lectulis accubabant“ (Chron. Ursperg. ad ann. 1212. Цит. у *Gieseler*, Kirchengeschichte, 2 т., 2 отд., стр. 325).

[2]) Цитир. у *A. Muston*, Histoire des Vaudois, Paris 1834, стр. 183, сравн. 449 стр. Последняя фраза цитаты заставляет думать, что вальденцы изобрели собственный метод обучения.

коммунизма не мог получить развития. Он был несовместим с демократическими тенденциями низших классов народа, из которых он почерпал свои силы. Раньше или позже, но вальденцы должны были притти к тому, что коммунизм у них должен был или получить демократический характер или же совсем исчезнуть. Случалось и то и другое, в зависимости от условий времени и от того, какие общественные классы становились главными носителями учения. Если перевешивало влияние крестьян и горожан,—вальденцы обращались в буржуазно-протестантскую секту; если доминировали пролетарские элементы,—вальденцы становились коммунистическими „мечтателями".

Ересь не ограничилась Южною Францией. Мы встречаем общины вальденцев в разнообразнейших частях Северной Италии и Франции, а потом и в Германии и Богемии. Все эти общины стояли в тесной взаимной связи, потому что непрерывные поездки входили в круг обязанностей духовных лиц (так-называемых „Barben") вальденцев. Мы находим, что уже у вальденцев развились те постоянные интерлокальные связи между средневековыми коммунистами, о которых упоминалось в предыдущей главе. „Как апостолы, старые духовные вальденцев почти всегда путешествовали, посещали отдаленнейшие общины и братьев по званию (жилища братьев по вере они узнавали по известным значкам, поставленным на дверях и крышах). Их поездки часто захватывали даже такие отдаленные страны, как Германия и Богемия... Богемские вальденцы в течение долгого времени поддерживали со своими французскими и пьемонтскими товарищами по вере тесные сношения, которые основывались на братской общности веры. Они оказывали взаимную поддержку деньгами; проповедники из долин Пьемонта особенно часто путешествовали к братьям в Богемию, а те посылали своих учеников в долины, чтобы они научились там священным обязанностям" [1].

Когда южно-французские еретики сделались настолько сильными, что они начали угрожать господству папства,

---

[1]) *Bender*, Geschichte der Waldenser, стр. 46, 116.

последнее призвало на помощь северно-французское хищное рыцарство и сброд всевозможных разбойников, организовало их для так-называемых крестовых походов и натравило на богатые еретические города и провинции, которые были опустошены и разграблены беспощаднейшим образом. Десятилетия продолжалось сопротивление Южной Франции. Альбигойские войны, названные так по городу Альби, одному из главных еретических городов, тянулись с 1208 до тридцатых годов XIII века. Барыш от окончательного поражения „бунтовщиков“ извлекло не папство, а французская корона, которая овладела истощенной страной и таким образом заложила фундамент для своего величия. В 1245 г. Прованс достался Карлу Анжуйскому, графство же Тулузское захватил в 1243 г. Людовик „Святой“. В 20-й песни „Чистилища“ Гуго Капет, основатель французской династии Капетингов, говорит у Данте: „Пока великое провансальское приданое еще не отняло у меня способность стыдиться, это было мелко, однако, здесь не было ничего злого. Потом начались грабительские походы лжи и насилия“ и т. д.

Французское же королевство скоро принесло папам, пожалуй, еще побольше неприятностей, чем альбигойская ересь: оно так усилилось, что сделало пап своими орудиями и пленниками.

Но как бы ни мало выиграли папы от альбигойских войн, они отняли у ересей начала XIII века надежный базис для их операций; это отразилось и на вальденцах. С этого времени они могли удерживаться в больших городах только как члены тайных обществ. Центр движения передвинулся в уединенные альпийские долины, где оно, естественно, окрестьянилось. Секта получила мелко-крестьянско-демократический характер и в такой форме сохранилась до настоящего времени в некоторых долинах Савойи и Пьемонта.

3. Апостольские братья.

В эпоху общего гонения на еретиков был разгромлен и еретический коммунизм. Казалось, что пролетарско-коммунистические стремления впредь могут проявляться только в форме монашеских орденов, стоящих в мирных отноше-

ниях с папством. Но, говоря об ордене францисканцев, мы уже видели, что коммунизм нищенствующих орденов скрывал в себе и давал развиваться элементам, которые скоро переходили к мятежу против богатой и эксплуататорской церкви. Недоверчивое отношение со стороны папства и преследования пап естественно приводили эти элементы, симпатизировавшие пролетариям, к альтернативе: или отказ от всякой деятельности или мятеж против папства. При благоприятных условиях возмущение могло принимать значительные размеры.

Так, въ Северной Италии возникла очень сильная еретическо-коммунистическая секта апостольских братьев или патаренов.

В то время в Италии движениям низших классов народа очень часто давали название „патария". Уже в XI веке мы встречаем патариев в Милане, Брешии, Кремоне и Пиаченце. Это название происходит от слова pates,—старое полотно, лохмотья. Патарии были собиратели тряпья. Еще в XVIII веке в Милане существовал pataria или contrada dè patari,—квартал тряпичников.

Важнейшим из всех ранних патаренских движений было миланское, начавшееся в 1058 году. Оно исходило из низших классов народа и было направлено против богатого клира и городского дворянства. Кроме рановременности, в этом городском демократическом движении замечательно то, что оно искало и встретило поддержку у папства. Миланский клир, который мог по своим богатствам соперничать с римскою церковью, не хотел признавать верховенство последней. Следовательно, он был общим врагом миланской демократии и папства. И папство и демократия достигли своих целей. Миланский клир должен был подчиниться Риму, и на место дворянско-клерикального управления выступило управление горожан.

Историки часто называют движение миланской патарии пролетарским. Но невозможно предположить, чтобы уже в половине XI века миланский пролетариат был силен настолько, чтобы играть такую выдающуюся роль. Во всяком

случае, движение патаренов было движением горожан, направленным против патрицианского управления.

В Италии XII века патаренами называли вальденцев, иногда и других еретиков. В XIII веке это название перешло на *апостольских братьев*.

Основателем этой секты был Джерардо Сегарелли из Альзано, деревни, лежащей близ Пармы. Он просил о приеме в орден францисканцев, но получил отказ. Тогда он разделил свое имущество между бедными и собственными силами основал секту (около 1260 г.). Скоро он нашел многочисленных приверженцев из простонародья, особенно в Ломбардии.

„Все они, по примеру первых христиан, называли друг друга сестрами и братьями. Они жили в строгой бедности и не должны были иметь ни собственных домов, ни запасов на завтрашний день, ни чего-либо служащего для удобств и комфорта. Если они были голодны, они просили у первого же попавшегося лица, без всяких расчетов на что-нибудь определенное, и ели, не разбирая, все, что бы ни подали им. Состоятельные, которые приходили к ним, должны были отречься от владения своими благами и передать их в братство для общего употребления“ [1]). Брак запрещался у них. „Братья, которые шли в мир, чтобы проповедывать покаяние, могли брать в спутницы с собою сестру, как апостолы; однако, не в качестве жены, а как помощницу. Братья называли подруг, которые сопровождали их, просто своими сестрами во Христе и всегда отрицали, что они живут с ними в брачном или нечистом общении, хотя спали на одной постели с ними“ [2]).

---

[1]) *Mosheim*, Ketzergeschichte, стр. 224. Мосгейм, в известном смысле, вновь открыл апостольских братьев для истории; он подробно и с любовью рассказывает о них в трех книгах своей «Истории еретиков». «Может быть»,—говорит он,—«никто не откажет мне в небольшой славе за то, что я, так сказать, воскресил из мертвых и извлек на свет эти удивительные общины» (стр. 196).

[2]) *Mosheim*, loc. cit., 226. Сравн. стр. 321 и след. То же, как уже известно нам, рассказывается и о вальденцах и о благочестивых людях первых веков христианства. «Презирая робкое бегство, девственницы

Мосгейм, основываясь просто на вероятных предположениях, а не на определенных известиях, думает, что запрещение брака и владения благами распространялось только на апостолов, на „агитаторов“ общин, а не на братьев. Это сильно сблизило бы их с вальденцами; несомненно, они считали коммунизм необходимым условием совершенства.

Новые апостолы сначала выступали очень осторожно. Они остерегались открыто объявить войну церкви. В тайных собраниях, происходивших по ночам, учили они новому евангелию. Апостолы были посланы во все страны: в Испанию, Францию, Германию. В Германии их последователи сделались настолько многочисленными, что собрание духовенства в Вюрцбурге, состоявшееся в 1287 году в присутствии императора Рудольфа, издало против них особый закон, который всем запрещал принимать их и давать им пищу или питье.

В Италии еще раньше обратили внимание на фанатиков-коммунистов. В 1280 г. епископ пармский получил относительно них такие известия, которые побудили его арестовать Сегарелли. Папа Гонорий IV приказал нарядить следствие; оно представило апостольский орден не слишком опасным,— простым конкурентом обоих привилегированных нищенствующих орденов, францисканского и доминиканского. В 1286 году папа запретил апостольский орден, но Сегарелли получил свободу и, конечно, в то же время был выслан из Пармы.

Как многие другие высылки, и эта содействовала увеличению зла, которое она должна была побороть. Сегарелли разъезжал теперь по всей Северной Италии и распространял свое учение. Апостольские братья не подчинились папству, союз не прекратил своего существования. Преследования, сделавшиеся более энергичными, подливали масла в

горячего пояса Африки боролись, вступая в битву лицом к лицу с врагом. Они позволяли служителям божества разделять съ собою постель и среди пламени величали свою беспорочную чистоту. Но оскорбленная природа иногда мстила за свои права, и этот новый вид мученичества послужил ко введению новых пороков в нравы» (*Gibbon*, Verfall und Untergang des römischen Weltreichs, стр. 381).

огонь и делали разрыв апостольских братьев с римской церковью непоправимым.

В 1294 году Сегарелли был опять схвачен и, по одним источникам в 1296, а по другим—в 1300 году сожжен. Но это не убило движения. На место Сегарелли выступил новый, несравненно более отважный и решительный агитатор, человек дела,—*Дольчино*. Он родился во второй половине XIII века в Прато, близ Верчелли. Его отец, священник Юлий, по всей вероятности, происходил из благородной новаррской фамилии Торниелли; хотя и отшельник, он не был пустынножителем, потому что поселился с матерью Дольчино и жил с нею в брачном союзе. Он не стыдился и своего сына, дал ему хорошее воспитание и отправил в Верчелли для подготовки к духовному званию. Один необдуманный шаг,—похищение нескольких монет у учителя,—заставил молодого человека бежать, хотя дело не имело никаких последствий. Он отправился в Триент, где поступил послушником в один монастырь францисканцев.

Сколько времени оставался он там, неизвестно; да и вообще хронология событий его жизни в высшей степени ненадежна. Несомненно, однако, что он еще во время своего пребывания в монастыре познакомился с учением апостольских братьев: последнее представляло большое сходство с учением фратичелли, мятежных францисканцев, и нашло во францисканских монастырях многочисленных приверженцев. Дольчино ухватился за него со всем жаром своей пламенной души и скоро сделался одним из виднейших его представителей. Переход Дольчино в секту приходится, вероятно, на 1291 год.

Пребывание в монастыре становилось для него все невыносимее. Он вышел, прежде чем дал монашеский обет. Вскоре после этого он познакомился с Маргаритой из Трэнка, которая жила в одном монастыре св. Екатерины. Все источники свидетельствуют о неотразимой красоте Маргариты и Дольчино, красоте, которая у обоих соединялась с высоким разумом, самоотверженным энтузиазмом, мужеством и решительностью. Не удивительно, что они почувствовали глубочайшее взаимное влечение. Чтобы быть ближе к Маргарите,

Дольчино поступил слугою в ее монастырь; его идеи увлекли Маргариту, и она решилась бежать из монастыря. С этого времени и до самой своей смерти сообща боролись они за свое дело, соединенные, по уверению их противников, браком, хотя и незаконным, относясь друг к другу, как брат и сестра, по заявлению самого Дольчино. Последнее больше соответствовало бы учению апостольских братьев, а первое— человеческой природе.

Они бежали в Ломбардию, где Дольчино скоро занял первое место после Сегарелли, а со смертью последнего встал во главе движения. Но преследования скоро так усилились, что Дольчино не мог удержаться в Италии. Гонимый из одного города в другой, он отыскал, наконец, прибежище в Далмации. Отсюда Дольчино отправлял оставшимся в Италии братьям многочисленные письма, которые распространялись, подобно летучим листкам.

Кроме учений Сегарелли, на Дольчино в особенности повлияли учения аббата Иоахима из Фиоре, о котором мы уже упоминали. Но Дольчино пошел дальше, чем Иоахим; последний различал три состояния общества и считал высшим третье—состояние всеобщего монашества. К началу XIV века было пережито достаточно опытов с нищенствующими орденами,—слишком достаточно для того, чтобы понять, что они не могут служить средством для осуществления общности имуществ. Дольчино возвеличивал св. Франциска и Доминика за их заслуги для дела бедных; они вливали в души своих приверженцев любовь к бедным и приниженным, презрение к деньгам и власти; но Дольчино указывал и на то, что их стремления с течением времени оказались тщетными. Францисканцы и доминиканцы понастроили домов, в которых накопляются выпрошенные подаяния. Благодаря этому, они охвачены такою же порчею, как и вся церковь. Если хотят очистить церковь, следует уничтожить все устройство монашества и сделать всеобщим строй первых апостольских общин.

Но кто должен осуществить все это? Одни коммунисты? При всем своем мечтательном мистицизме и готовности ве-

рить в чудеса, они, однако, должны были признать, что их сил для этого недостаточно.

Подобно ученикам аббата Иоахима, Дольчино тоже сначала надеялся на мессию из королевского звания. И если первые расчитывали на Гогенштауфена, на Фридриха II, то Дольчино расчитывал на другого Фридриха, сына Петра III, короля Арагонии. Он завоюет папский трон и умертвит папу и его кардиналов, епископов, пресвитеров, монахов и монахинь. В живых останутся только присоединившиеся к апостольской общине, только они примут участие в славе, ожидающей тогда мир.

Дольчино ссылался на еврейских пророков и Апокалипсис. Но он не принадлежал к числу тех фанатиков, которые полагаются исключительно на такие аргументы. Он проницательным взором следил и за действительным ходом вещей.

Граничащее с Южной Францией королевство Арагония, подобно Франции и по тем же причинам, принадлежало к странам, которые бунтовали против папства. В альбигойских войнах Арагония стояла на стороне еретиков. Петр II Арагонский сначала постарался явиться посредником, а потом открыто поддерживал альбигойцев оружием, выступил с ними против крестоносцев и нашел смерть в этой борьбе (в 1213 году, в битве при Мюрэ). Иаков I, сын Петра, тоже послал альбигойцам вспомогательные войска. Его сын, Петр II, подобно своим предшественникам, вступил в спор с папством, превратившимся в орудие Франции. После „Сицилийской вечерни“, которая повела к изгнанию французов из Сицилии, последняя была завоевана Петром. Папа Мартин возвестил, что король Петр лишается своего государства, которое переходит к Карлу Валуа, брату короля Франции. Однако, Петр сопротивлялся папе и Франции.

В Сицилии за Петром последовал (с 1285 г.) его второй сын, Иаков II; когда ему, вследствие смерти его старшего брата Альфонса III, досталась Арагония, Сицилия перешла (в 1294 г.) к его младшему брату, Фридриху II.

В это самое время папой сделался Бонифаций VIII, один из наиболее низких, жадных и энергичных пап. Между Фридрихом и Бонифацием началась ожесточенная борьба, про-

должавшаяся почти целое десятилетие. Следовательно, надежды Дольчино на Фридриха вытекали совсем не из фантастических грез. Они получали очень основательную опору и в традициях арагонского королевского дома и в положении владыки Сицилии в данный момент. Дольчино заблуждался лишь в том отношении, что он принимал за чистую монету великие слова, которые расточались в этом споре, а борьбу за интересы момента считал принципиальной борьбой, борьбу из-за добычи — борьбою против эксплуатации. Но таким иллюзиям и после Дольчино поддавались многие, нередко весьма просвещенные, мыслители.

В своем первом письме, написанном в 1300 году, Дольчино предсказывал победу Фридриха над Бонифацием VIII на 1303 год. Действительно, Бонифаций умер в этом году, но не умерщвленный Фридрихом, а вследствие конфликта с сильной римской дворянской фамилией Колонна и с Филиппом IV французским, который соперничал с Бонифацием по своей энергии, жадности и коварству [1]).

Результатом было не низвержение папства, а избрание миролюбивого папы Бенедикта XI, который заключил мир с Филиппом.

Когда оказалось, что ожидавшийся крутой перелом не наступил, Дольчино издал два новых письма. Второе из них

---

[1]) Конец Бонифация VIII представляет очень яркий пример того, насколько опаснее было положение пап в благочестивые средние века сравнительно с материалистическим XIX столетием. Филипп отправил Вильгельма Ногаре с большими суммами в Италию. Ногаре с Колонна устроили заговор. В Ананьи они напали на Бонифация и при криках: „Долой папу!“ захватили его. Бонифацием овладел необузданный гнев, а суровое обращение, какое пришлось претерпеть ему, довело его гнев до бешенства. Восстание освободило Бонифация, но, чтобы быть в безопасности от Колонна, он должен был передаться Орсини, а те тоже держали его в плену. Это привело Бонифация в ярость, которая была причиной его смерти. Справедливо сказал Вольтер: „В таком положении были в Италии почти все папы, которые хотели сделаться слишком сильными: они разделяли королевства—и подвергались преследованиям в собственном государстве“ (Essay sur l'histoire generale, ch. LXI.).

У почитателей папства в XX веке нет никаких оснований желать возврата средневековых отношений, а у современных попоедов нет никаких оснований особенно кичиться своим мужеством.

пропало; в первом же (декабрь 1303 г.) он заявил: в 1303 году, как он пророчествовал, совершилась „погибель короля юга", Бонифация. В новом году новый папа со своими кардиналами будет убит Фридрихом II; 1305 год будет годом гибели низшего духовенства.

Это пророчество исполнилось в еще меньшей степени, чем первое. Вопреки ему, Бенедикт XI, примирившись с Францией, в 1304 году заключил мир и с королем Сицилии. Следовательно, Дольчино уже не мог расчитывать на Фридриха II, как на союзника.

Вскоре после упомянутого письма—быть может, даже до письма—мы находим Дольчино в Италии [1]). Он покинул свое безопасное убежище и во главе вооруженной толпы вторгся в Пьемонт, чтобы начать открытую борьбу против церкви, государства и общества. *Это была первая для Запада попытка вооруженного коммунистического восстания.*

В надеждах на Фридриха пришлось обмануться. Но помощь коммунистическим мечтателям пришла со стороны силы, которая была революционна совсем по-другому, чем монарх, повздоривший с папой: со стороны *крестьянства*. Ему восстание обязано тем, что оно сумело продержаться до 1307 года. Восстание, начатое для возрождения общества в духе первоначального христианства, превратилось в *крестьянскую войну*.

---

[1]) По *Моегейму*, Дольчино покинул Далмацию в начале 1304 г., по составлении письма; *Кроне*, биограф Дольчино (Frá Dolcino etc., стр. 39) относит вторжение в Пьемонт к концу 1303 года. Нам кажется мало вероятным, чтобы Дольчино добровольно отложил восстание к началу зимы, так как тогда ему пришлось бы открыть зимний поход,—а пьемонтская зима часто бывает очень суровая. Возможно, однако, что он был вынужден к этому внешними обстоятельствами: момент, когда заговорщики начинают действовать, не всегда зависит от их выбора. Опасность, что его план будет раскрыт, или нетерпение товарищей, которых он приучил надеяться, что развязка наступит в 1303 году, могли принудить Дольчино начать дело не совсем в подходящий для того момент. Вся хронология событий, стоящих в связи с Дольчино, отличается ужасной путаницей.

4. Экономические корни крестьянских войн.

Крестьянские войны в последние столетия средних веков совсем не были редким явлением. Повсюду накопилось достаточно горючего материала, и нужна была только искра, чтобы он вспыхнул.

Чтобы выяснить это, мы должны бросить взгляд на перемены в положении крестьян, вызванные развитием городов.

Возникновение городов создало рынок для продуктов не только промышленности, но и сельского хозяйства. По мере роста городов, горожане—купцы и ремесленники—все больше теряли возможность собственными силами производить необходимые для них средства существования и сырые материалы. Они покупали у окрестных мелких и крупных сельских хозяев излишки, которые оставались у тех по удовлетворении собственных потребностей. За эти излишки горожане продавали производимые ими и привозные продукты промышленности или же уплачивали деньги. Так стали попадать деньги в крестьянские руки. Естественным результатом этого было стремление превратить оброки натурою и барщины в денежные платежи. Часто сами сеньоры должны были желать такой перемены, потому что теперь и они начали нуждаться в деньгах. Стремления крестьян шли нередко в том же направлении, потому что смена натуральных повинностей денежными обращала их в свободных людей, которые могли свободно располагать своим достоянием.

Можно подумать, что стремление обоих классов к превращению натуральных повинностей в денежные породило настоящую гармонию и довольство. В действительности, совсем напротив. Как мы уже указывали, при системе натуральных повинностей побуждение к увеличению их не может быть особенно сильным: оно ограничивается физическими потребностями сеньора и его челяди. Жадность до денег, напротив, безмерна, потому что денег никогда нельзя иметь слишком много. Поэтому со введения денежных повинностей мы наблюдаем у феодалов сильное стремление к увеличению крестьянского бремени. Но одновременно возрастает и противодействие этому гнету. Пока у крестьянина

не было возможности продать свой излишек продуктов, для него не представлялось слишком тяжелой жертвой отдать их сеньору. Но когда оказывается рынок для продуктов, передача помещику излишков или выручки от их продажи означает для крестьянина отречение от известных удовольствий, которые скоро входят в круг обычных потребностей.

К этому противоречию интересов присоединилось другое. До развития городов у крестьянина совсем не было свободного места, куда он мог бы бежать от своего угнетателя. Растущий город давал ему такое прибежище, и многие, очень многие воспользовались возможностью бегства. Что касается зажиточных крестьян, они умели воспользоваться финансовыми затруднениями господ, чтобы совершенно откупиться от своих повинностей. Благодаря всему этому, число барщинных крестьян быстро уменьшалось, и хозяйственная жизнь поместья нередко страдала от этого. Следовательно, в то самое время, когда, под влиянием городов, среди крестьян возрастало стремление сбросить или выкупить существующие повинности, среди феодалов росло стремление еще крепче, если возможно, прикрепить крестьян к усадьбе и увеличить их барщины.

Но этим не исчерпывались противоречия интересов в области земледелия. Благодаря тому, что продукты сельского хозяйства получили стоимость, стоимостью стала обладать и земля, на которой они производились,—при том, не только уже возделываемая земля, но также свободная, незанятая. К тому времени, как города достигли силы и влиятельного положения, миновали времена, когда население было настолько редким, что количество земли представлялось неисчерпаемым, и всякому—был ли то крестьянин, или сильный феодал со своими холопами, или же ассоциация монахов—всякому, кто хотел поднимать новину, общины-марки или сюзерены охотно предоставляли столько земли, сколько ему требовалось. Хотя далеко еще не вся пригодная для возделывания земля была обработана, тем не менее, население сделалось уже настолько плотным, что запасы земли не представлялись неограниченными. Землевладение начало обращаться в привилегию, при том, в такую ценную

привилегию, что из-за нее скоро открылась упорнейшая борьба. С одной стороны, общины марок замкнулись и объявили всю свою землю частной собственностью совокупности семейств, которые в то время входили в общину. По образцу городов, и в деревне теперь выступает рядом с членами общины-марки слой неполноправных членов общины.

С другой стороны, сеньоры, пользуясь своей преобладающей властью в марке, стремились оттягать у общин собственность на землю и превратить ее в свою частную собственность, всемилостивейше предоставляя членам марки права пользования.

Чем дальше вперед шло экономическое развитие, тем острее становились все эти противоречия, тем больше ожесточения являлось в отношениях крестьян и феодалов, тем легче возникали между обоими сторонами столкновения, которые обыкновенно носили чисто местный характер, но при известных условиях одновременно охватывали целые провинции, целые страны и обращались в настоящие войны—крестьянские войны.

Военное счастье в этих столкновениях было изменчиво. Вообще же можно сказать, что в XIII и XIV столетиях,—а в Италии раньше,—несмотря на отдельные поражения, положение крестьян все улучшалось.

Это—несомненное доказательство, что положение эксплуатируемого класса может улучшаться, и несмотря на то антагонизм его к эксплуататорскому классу делается острее. Нет ничего нелепее, чем старания апологетов,—людей, прикрашивающих действительное положение, — современных буржуазных экономистов, убедить рабочих, что их положение улучшилось, а потому все социалистическое рабочее движение не имеет никаких оснований и вытекает единственно из недоразумения. Если бы даже все их рассказы о том, что „рабочий класс идет кверху", были правильны, то и это ничего не доказывало бы. Эти господа, во всяком случае, должны бы знать, что уже более полвека тому назад Маркс и Энгельс нашли, что социал-демократическое (коммунистическое) движение—продукт не *нищеты*, а *классовой ненависти*, *классовой борьбы* Но, ведь, даже какой-ни-

будь Вольф или Бренпано, все разукрашивающий самыми розовыми красками, не решится утверждать, что классовая борьба падает, противоречия классов смягчаются.

Причины улучшения в положении крестьянства отчасти уже намечены в только что сказанном. Города служили крестьянам опорой, и крестьяне хорошо ею воспользовались. Юридическое закабаление и даже физический гнет помогали немного, если города предлагали беглым крестьянам защиту и кров. Сеньор, чтобы сохранить „рабочие руки", должен был уразуметь искусство лучше обращаться с ними, сделать их существование более сносным.

Не малую роль играла часто и стесненность феодалов в финансовом отношении. В XII веке христианский мир сделался достаточно сильным, чтобы не только отражать врагов, угрожавших ему, но и перейти в наступление против тех из них, которые своими богатствами и высокой культурой возбуждали хищническую жадность военной и духовной каст: против народов Востока. Крестовые походы начались при самом живом участии жадных до приключений и добычи сеньоров всех стран. Но крестовые походы имеют некоторое сходство с современной колониальной политикой: начатые с большими иллюзиями, они печально окончились, их результаты не стояли ни в каком соответствии с жертвами, которых они стоили. Однако, в одном пункте они очень выгодно отличаются от современной колониальной политики. Благодаря развитию „идеи государства", жертвы колониальной политики теперь несет государство, т.-е плательщики налогов, массы населения. А выгоды от нее достаются нескольким авантюристам и купцам.

В эпоху „мрачного" средневековья это было иначе. Тогда не было государственной власти в нашем смысле этого слова. Сеньоры, которые для обогащения отправлялись на Восток, делали это не на государственный, а на свой собственный счет; и если экспедиция терпела крушение, риск падал на них, а не на государство. Крестовые походы обогатили многие города, особенно итальянские; на это мы уже указывали. Но они же разорили значительную часть

дворянства Европы. Остальная часть дворянства усвоила себе потребности в произведениях высшей культуры, которые в Европе можно было достать только за звонкую монету. Не удивительно, что потребность дворянства в деньгах быстро росла. Отсюда, конечно, вытекало стремление все сильнее и сильнее сжимать крестьян; но нередко случалось и так, что опутанный долгами сеньор охотно соглашался на денежный выкуп крестьянами их повинностей, лишь бы раздобыть денег. Крупное дворянство страдало при этом сравнительно мало, но мелкое падало быстро и совершенно утрачивало свою самостоятельность.

Наконец, следует упомянуть еще об одном обстоятельстве. Обособление общин марок, равно как и экспроприация марок сеньорами при одновременном возрастании населения повели к тому, что новые расселения крестьян сделались крайне затруднительными. Это вынудило избыток населения искать пристанища вне земледелия, особенно в городском ремесле и *военной службе*. Кроме разоряющегося дворянства, к солдатчине все больше обращается и полная сил деревенская молодежь, которая дома не находит работы. Молодые люди из деревни отправляются к сеньорам, которые хорошо платят им и открывают надежду на богатую добычу, к зажиточным городам, государям или к отдельным счастливым полководцам, которые начинают делать из военной службы особый вид занятий и отдаются в наймы со своими бандами. В Италии армии наемников встречаются уже в XIII веке. По Сисмонди, первыми наемниками были изгнанники и ссыльные, которых оказывались массы, благодаря тогдашней борьбе городских партий (*Simonde de Sismondi*. Histoire des républiques italiennes du moyen âge. Paris 1826. т. III, стр. 260).

Рядом с войсками феодальной касты воинов, с войском всадников, рыцарским войском, образуется войско навербованных крестьян; пехота опять получает значение в военном деле.

Завербованные крестьяне обыкновенно совсем не пролетарии; это—крестьянские сыновья, которые, окончив военную службу, получивши в добычу достаточно денег и добра,

возвращаются домой, чтобы принять участіе в работах семьи или основать собственный очаг. Они приносили с собою в деревню вооружение и военное искусство опытных солдат. Рыцарям XIV и XV веков частенько-таки приходилось испытывать на себе серьезное действие генуэзского и английского лука, швейцарского копья и богемских вил и цепа [1]). Несомненно, они не мало содействовали улучшению положения крестьянства.

Как мы знаем, в Италии раньше других стран развился средневековый город. Там же раньше всего выступили и те противоречия интересов крестьян и феодалов, на которых мы только что останавливались.

Кроме того, в Италии сложилось своеобразное явление, которое в состоянии было особенно обострить указанные противоречия: *абсентеизм* сеньоров.

В древности крупные землевладельцы в Италии (равно как и в Греции) жили преимущественно в городах. Средневековые итальянские города, в которых никогда не умирала связь с традициями древности, с самого начала стремились принять деревенское дворянство в состав городского населения. Когда города сделались настолько сильными, что они стали господствовать над деревней, они *принудили* дворянство переменить свою деревенскую резиденцию на городскую. Многие города вынуждали дворян, которых они приводили в подчиненные отношения к себе, взяться даже за какой-нибудь городской промысел. Итальянская политика, гнавшая дворян в города, вытекала, конечно, из тех же мотивов, по которым французские короли XVII и XVIII веков заставляли свое дворянство покинуть замки и жить при королевском дворе. В результате самостоятельность дворянства была сломлена, и в то же время она стала содействовать блеску и влиятельности в одном случае двора, в другом—городов. Но вследствие этого для деревенского населения Италии часто создавалось такое же положение, как во Франции перед революцией.

---

[1]) Относительно тактики швейцарцев в упомянутых столетиях ср. *K. Bürkli*, Der wahre Winkelried, Zürich 1886.

Когда эксплуататор живет рядом с эксплуатируемым, эксплуатация, при прочих равных условиях, не принимает таких ужасных форм, как в тех случаях, когда оба пространственно отделены один от другого. Совместная жизнь порождает не только известную общность настроений, но и некоторую общность интересов, сглаживающую многие противоречия. Для сеньора, который живет в деревне с крестьянами, не безразлично, в каком состоянии находится все окружающее его; радует ли оно или оскорбляет его чувства, представляет ли очаг лихорадок, угрожающих ему и его семье, или же это — край цветущих здоровьем людей.

У феодала, который живет в городе, нет ни понимания крестьянской жизни, ни интереса к ней; во всем, чем он владеет, для него важно только *одно:* чистый доход. Пусть его страна обращается в необитаемую пустыню,—для феодала это безразлично, если он не перестает получать такой же чистый доход, как и раньше. Римская Кампания—красноречивейший свидетель того, что, в конце концов, получается при хозяйничаньи этого рода.

Еще в XV веке Кампания была хорошо возделана и усеяна многочисленными деревнями. Теперь она представляет болотистую пустыню, в которой находят приволье только буйволы да малярия.

К действию абсентеизма в средневековой Италии присоединилось еще то обстоятельство, что городская жизнь дворянства скоро сроднила его с капиталистическим строем мышления и чувствований. Не удивительно, что в Италии раньше чем где-либо возникло капиталистическое предприятие в земледелии. Если крестьянам не удавалось,—а это удавалось им очень редко,—завоевать право полной свободной собственности на свою землю, они становились арендаторами или поденщиками, лишенными всяких прав на обрабатываемую ими землю.

5. Восстание Дольчино.

Когда Дольчино вторгся в Италию, развитие только что изображенных отношений уже началось, и описанные противоречия были уже налицо. Совершенно понятно поэтому,

что, как только Дольчино поднял знамя восстания, около него начали собираться многолюдные толпы.

Мы не знаем, с самого ли начала у Дольчино и его товарищей было намерение искать опору в крестьянстве, или же просто условия привели их к этому без всяких определенных расчетов с их стороны. Как бы то ни было, сознательно или бессознательно, но, подчиняясь логике фактов, они должны были прийти к этому, раз решились покинуть путь монашеской пропаганды и вступить на путь вооруженного мятежа. Попытка насильственной революции не могла опираться на одних коммунистических мечтателей, а рядом с ними только крестьяне представляли наиболее недовольный, наиболее бунтарский слой населения.

Но, опираясь на крестьян, апостольские братья теряли твердую почву под своими ногами. Их судьба представляет великую трагедию: обстоятельства времени, этот фатум, вынудили их сделать решительный шаг, который только и открывал возможность военного успеха, и в то же время заранее был обречен на бесплодие всякий возможный успех и делал неизбежным окончательное крушение.

На первый взгляд это звучит как-то мистически. Но достаточно нескольких слов, чтобы выяснить дело.

Апостольские братья были коммунисты; они хотели возвыситься над ограниченным кругозором отдельных общин. Они мечтали о завоевании Рима и преобразовании всего общества согласно своим идеалам. Крестьяне же вовсе не были коммунистами,—по крайней мере, в том смысле, как апостольские братья. Правда, в известном смысле они крепко держались за общинную собственность,—но только на выгоны и леса; их совсем не привлекал коммунизм средств потребления, полный отказ от имущества в пользу общины. Коммунисты не могли остановиться, не совершив полного общественного переворота; напротив, крестьян феодалам легко было удовлетворить даже маленькими уступками: отказом от некоторых повинностей, от некоторых спорных участков земли.

Еще важнее оказалось то обстоятельство, что кругозор крестьян не переступал сферы узких интересов прихода.

Это повторялось и во всех крестьянских движениях того времени, если связи между коммунистами разных мест не были достаточно сильны, чтобы одержать верх над „политикою прихода"; в этом—причина поражения многочисленных крестьянских движений. Каждый округ поднимался только за свое дело, каждый сам по себе заключал отдельный мир, не заботясь об остальных. Благодаря такому разъединению, централизованная сила врагов легко одерживала над ними победу.

В истории восстания Дольчино много неясного. Но если сравнить его с подобными же восстаниями и таким образом воспользоваться правом делать выводы из аналогий, тогда многое кажущееся непонятным станет понятно.

Дольчино, прежде всего, появился в Альпах Пьемонта. Оттуда он спустился в равнину и внезапным нападением захватил форт Гаттинара при Верчелли. Кроме братьев по союзу, а также авантюристов и отставных наемников, особенно большими массами направились к нему крестьяне. Скоро вокруг него собралось 5,000 борцов,—для того времени уже довольно значительная армия; не только мужчины, но и женщины под предводительством Маргариты боролись, как львицы. „Сестры или жены не были ни менее способными, ни менее искусными, чем мужчины в этом героическом деле. Они переряживались в мужские одеяния, бросались в ряды солдат и бились с такой же отвагой и отчаянием, как мужчины" *(Mosheim*, loc. cit., стр. 283).

Эксплуататоры области забыли свои раздоры; епископы Верчелли и Новары, тамошнее дворянство и города снарядили войско против мятежников; но поход окончился полным поражением этой армии эксплуататоров; она едва спаслась за городскими стенами.

Теперь силы Дольчино разрастались с еще большею мощью. Но Дольчино, такой энергичный, блестящий полководец, упустил благоприятный момент. Когда враги не отваживались более противостоять ему в открытом поле, ему легко было бы, двинувшись быстро вперед, сделать восстание всеобщим. Вместо того он оставался в долине Сезия,

с которой началось восстание, и довольствовался грабежом и разрушением монастырей, городков и поместий.

Это явление для того времени не представляет ничего необыкновенного, оно повторяется во всех крестьянских войнах. Крестьяне долины Сезия не имели никакого интереса к тому, чтобы нести мятеж в другие области. Как и крестьян окружающих областей, их можно было легко успокоить, сделав им некоторые маленькие уступки. По всей вероятности, это и произошло. Эксплуататоры страны настолько были перепуганы поражением своей армии, что постарались приручить Дольчино всевозможными приманками, предлагая ему не только полную амнистию, но и положение кондотьери (начальника наемных войск) в Верчелли; однако, эти предложения были с презрением отвергнуты.

Крестьяне же, вероятно, получили те уступки, которых они хотели добиться восстанием. Это не засвидетельствовано источниками, но только при таком предположении будет понятно, почему Дольчино оставался в бездействии, а крестьяне начали уходить от него в то время, как его враги соединялись и сплачивались.

Коммунистическое восстание осталось местным восстанием; но враги прекрасно понимали, что оно имеет больше, чем местное значение. Папство, великая интернациональная сила того времени, вмешалось в дело и организовало крестовый поход против мятежников. С этого времени судьба их была решена. Они уже не могли удержаться в равнине и отступили в горы, откуда поддерживали партизанскую войну с крестоносцами. Блестящие военные таланты Дольчино и героизм его товарищей совершали в этой борьбе изумительные подвиги. Только один пример: однажды 200 граждан. Триверо хотели напасть на шайку дольчинистов, занятых грабежом, но были обращены в бегство 30-ю женщинами дольчинистов (*Krone*, loc. cit., стр. 80). Много раз теснимым дольчинистам удавалось разбить врагов в открытом поле, часто наносили они большой вред при посредстве засад и внезапных нападений. Но несмотря на то, железное кольцо осаждающих все теснее смыкалось вокруг коммунистических мечтателей, которые в то же время все больше

теряли опору в сельском населении: крестьяне начали ненавидеть их за опустошения и страдания, которые война навлекла на страну.

И все-таки патарены (другое название апостольских братьев) продержались до 1307 года, да и тогда их сломили только нужда и лишения. Крестоносцы отказались от мысли победить их оружием и постарались взять голодом (зимою 1306—1307 г.г.).

„С этою целью все граждане и обитатели городов и мест, лежащих ближе всего к горе (на которой окопались патарены,—по одним источникам она называлась Monte Zebello, по другим—Monte Rubello), должны были очистить свои жилища, чтобы еретики не могли впредь захватывать ни пленных, ни средств существования. После этого епископ (Райнери из Верчелли, руководитель военных операций) приказал тем, которые большими массами со всех сторон стекались к нему, оказать ему помощь в постройке пяти окопов или укреплений на тех местах, через которые скорее и легче всего могли прорваться апостольские братья. Все эти укрепления были заняты сильными гарнизонами. И повсюду так строго сторожили и охраняли все проходы, пути и тропинки, о каких только могли расспросить и разнюхать, что не осталось незамкнутой ни одной лазейки, через которую можно было бы доставить на гору оружие, провиант и что бы то ни было“ (*Mosheim*, op. cit., стр. 287).

Таким способом сумели, наконец, сломить силы мятежников.

Что только голод и всевозможные лишения доставили победу армии крестоносцев, на это намекает и Данте в своей „Божественной Комедии“. Относя свое посещение ада к 1300 году, Данте, конечно, не мог говорить в своем стихотворении о восстании патаренов, как о минувшем деле. В одной из глубочайших пропастей ада, в которой искупают свои прегрешения люди, вызывавшие на земле безпорядки и раздоры, поэт встречается с Магометом, который говорит ему: „Ты, который, быть может, скоро опять увидишь солнце, скажи Фра Дольчино, чтобы он, если не хочет вскоре последовать сюда за мной, запасся продовольствием,

потому что без голода и снега новарцам трудно будет его победить".

Действительно, „снег" доставил осаждающим „новарцам", победу, „которая все-таки досталась не легко". Холод и голод косили осажденных; лишения дошли до такой степени, что осажденные питались мясом людей, погибших от страдания и болезней. „Апостолы были под конец изнурены настолько, что скорее походили на полуистлевшие трупы, чем на живых людей" (Mosheim).

Их дело было потеряно, но сопротивление продолжалось. И страх перед этими мужественными борцами был так велик, что осаждающие солдаты, несмотря на перевес своих сил, только тогда решились на штурм окруженной позиции, когда некоторые перебежчики выдали, что осажденные неспособны, вследствие истощения, к употреблению оружия.

Осаждающие пошли на приступ 23 марта 1307 года. „Это можно назвать скорее бойней, чем битвой". Осажденные отказались просить пощады; они собрали свои последние силы для отчаянной борьбы; но большинство настолько ослабели, что не могли даже стоять. Таким образом их сопротивление послужило только предлогом для ужасающей кровавой бойни. Из 1,900 человек, выдержавших до конца, почти все были изрублены, немногие бежали, и только несколько человек было взято в плен, между прочим, Дольчино и Маргарита: епископ отдал решительное приказание пощадить их, так как скорая смерть на поле сражения казалась ему слишком слабым для них наказанием.

Велико было ликование всех сторонников папства, когда они узнали об окончательном подавлении опасных еретиков. Судя по внешности, мятеж оставался чисто местным; но папство понимало его международное значение много лучше, чем крестьяне долины Сезия. Тотчас же после падения укреплений патаренов епископ Райнери послал несколько своих военачальников с радостным посланием к папе Клименту V; папа же, который жил тогда в Пуатье, нашел известие настолько важным, что приказал немедленно списать донесение и отправить Филиппу Красивому, королю Франции, а также, по всей вероятности, и другим государям.

Лишь в *одном* отношении победоносная римская церковь не могла похвалиться успехом. Она тщетно старалась, — а это удавалось ей так часто — пытками принудить еретиков к отречению от заблуждений. „Твердо выдерживали Дольчино и Маргарита истязания, которыми терзали их свирепые судьи: ни звука боли не издала верующая женщина, ни слова жалобы или негодования не произнес ее сильный сердцем товарищ. С них сдирали кожу, скручивали и раздробляли члены их тела, терзали особыми пиками и щипцами, и не могли вырвать из крепко сжатых уст ни отречения, ни мольбы“ [1]).

Они были присуждены к обычному для еретиков наказанию, — к сожжению. Казнь Дольчино совершилась 2-го июня 1307 года в Верчелли. Маргариту заставили смотреть на казнь. Героическая женщина сохранила свою твердость и в этот ужасный момент. „Еще раз, но точно так же тщетно предложили обоим отречение: после этого, чтобы увеличить душевные муки несчастного, слуги набросились на Маргариту и на помосте, против костра, во время агонии Дольчино, осыпали ее насмешками и терзали орудиями пыток“.

Позже Маргарита была сожжена в Биелла. Как ни был запуган простой народ кровавой расправой с патаренами, мучительная казнь Маргариты, этой мужественной и самоотверженной поборницы его интересов, вызвала громкий протест. Он взбунтовался и „только силой оружия был удержан от разрушения суда; и все-таки один нахал из благородного рода, осмелившийся издеваться над несчастной и ударить ее по щеке, был почти на куски разорван мстительными руками народа, как жертва его человеческого гнева“.

Так окончилось первое коммунистическое восстание в средневековом обществе. С самого начала оно было осуждено на неудачу. Поток общественного развития шел тогда совсем в другом направлении.

---

[1]) *Krone*, Fra Dolcino, стр. 91. Отсюда же заимствованы и следующие цитаты.

Но оно погибло со славой. Как ни старались победители,—а до нас дошли только их сообщения о движении,—как ни старались они втоптать побежденных в грязь, прибегая к искажениям и клевете, невозможно было до конца искоренить воспоминание о героизме Дольчино и его товарищей. Он мерцает даже через их мутные изложения, а у новейших историков вызывает невольное почтительное уливление, хотя бы им и приходилось с прискорбием констатировать: „нельзя отрицать, что в планы Дольчино входил коммунизм и, между прочим, коммунизм женщин". (Krone).

В народных песнях и легендах Италии, в особенности пьемонтских долин, еще долго жило воспоминание о восстании патаренов и крестьян против церковной и дворянской эксплуатации. Еще в 1372 году Григорий XI издал буллу против почитания, воздаваемого в Сицилии, как мощам, праху и останкам патаренов и дольчинистов. И самая секта не вполне угасла. В Южной Франции она сохранила многочисленных сторонников, так что в 1368 году церковное собрание в Латуре издало против нее особый закон и повелело хватать ее приверженцев повсюду, где бы их ни открыли, и передавать епископам для вразумления и наказания.

Но уже никогда больше секта не получала особенного значения. Для Италии миновали времена, когда в ней могли процветать еретические движения. С XIV столетия интересы господствующих классов Италии были уже тесно связаны с сохранением папства, государственная власть господствующих классов достигла очень высокого развития, при чем, показались и зародыши абсолютного полицейского государства; при таких условиях коммунистическое еретическое движение низших и слабейших классов народа не могло получить более или менее выдающегося значения.

Но вне Италии остатки апостольских братьев слились со сходными, близкими к ним сектами, в особенности вальденцами и бегардами.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Бегарды.

1. Возникновение секты бегардов.

Из средневековых стран, лежащих к северу от Альп, в Нидерландах, или, точнее говоря, во *Фландрии* и *Брабанте*, раньше всего развилось товарное производство и торговля, а вместе с ними и вытекающие из них социальные проблемы. Здесь скрещивалось великое множество торговых путей. В гавани Фландрии с юга являлись французы, а в особенности, итальянцы с продуктами собственных стран и Востока; они плыли отчасти по Рейну через Кельн, а позже преимущественно морем. К ним скоро присоединились испанцы и португальцы. С запада приходили англичане, с севера купцы сильных городов германской Ганзы; последние были посредниками в торговле между востоком и западом северной Европы, — от Новгорода до Лондона; они сделали гавани Фландрии, на первом плане Брюгге (в средние века он еще лежал при море), своими главными складочными пунктами.

Рука об руку с развитием торговли шло развитие промышленности. Нидерландские луга и дюны благоприятствовали развитию овцеводства, а, следовательно, и шерстяной промышленности. Рост торговых сношений побуждал к расширению производства за пределы потребностей местного рынка; кроме того, торговля доставляла и отборный сырой материал,—английскую шерсть, наилучшую из известных в то время. Стечению всех этих условий Фландрия, как уже отмечено в одной предыдущей главе, обязана ранним (с XIII века) развитием значительного производства сукна для

вывоза; а это значит, что ткачи уже очень рано были порабощены капиталом, и ткацкое производство получило капиталистический характер.

Следовательно, если секта *бегардов*—первая значительная коммунистическая секта к северу от Альп возникла прежде всего в Нидерландах, на это нельзя смотреть, как на простую случайность.

Происхождение, равно как и значение имени этой секты, остается неясным. Наиболее вероятным кажется нам предположение Мосгейма, который производит слово *бегард* от старо-саксонского *beg*,—просить милостыню; следовательно, бегарды—бедные, нищая братия (*Mosheim* Ketzergeschichte, стр. 378). Их называли также лоллардами, от lollen,—петь, бормотать. Лоллардами называли и певцов при погребениях. Оба названия народ давал бегардам или лоллардам в насмешку. Сами бегарды называли себя просто „братьями“,

Повидимому, уже в XI веке в Нидерландах существовали общества благочестивых женщин, которые носили название бегинки или бегутты. Но у нас нет ближайших сведений о стремлениях этих обществ. Возможно, что общества бегинок возникли благодаря крестовым походам, которые сократили количество мужского населения и создали значительный избыток женщин. Для многих вступление в брак сделалось невозможным, возник „женский вопрос“; „женские приюты“ бегинок должны были доставить безбрачным убежище. Эти организации имели то преимущество перед монастырями, что они оставались *свободными союзами*, из которых можно было уйти по желанию.

По такому же образцу были организованы и общества мужчин, возникающие в Нидерландах в конце XII или в начале XIII столетия.

Это—братства неженатых ремесленников, *главным образом ткачей* [1]); они соединялись в собственных домах для

[1]) Рядом с ткачами следует назвать строительных рабочих, как в особенности ревностных членов сект вальденцев и бегардов в Германии. Людвиг Келлер в своей книге: «Die Reformation und die älteren Reformparteien» (Лейпциг 1885 г.), сделал попытку при помощи различных сопоставлений показать, что гильдиям свободных каменщиков принадлежит

ведения общего, коммунистического хозяйства, жили трудами рук своих и, кроме того, совершали дела любви, в особенности оказывали поддержку больным и бедным. Как и во всех обществах этого рода, членам предписывалось безбрачие.

Ясное представление о принципах бегардов дает нам описание домов бегардов в начале их деятельности в Брюгге, сделанное некиим Дамхудером в XIII веке. „Лет тридцать тому назад",—рассказывает он,—„было здесь тринадцать *ткачей*, неженатых мужчин, мирян, которые ревностно стремились к жизни братства и благочестия. За ежегодную плату в шесть фунтов грошей (libris grossorum) и известное количество воску и перцу они сняли у аббата Эккгутена участок земли с большим и удобным зданием близ городской стены. Скоро они начали там заниматься своим ткацким ремеслом и жить общим хозяйством, расходы по которому покрывались из выручек от общего труда (ex communibus laboribus simul convivere coeperunt). Они не подчинялись никаким строгим правилам и не были связаны каким-либо обетом; только все они носили одинаковую одежду коричневого цвета и образовали в христианской свободе и братстве благочестивое общество" [1]). Они назывались „братья ткачи". Только в 1450 году бегарды в Брюгге бросили ткацкое дело и примкнули к францисканцам, чтобы избавиться от преследований.

Как в Брюгге, дома бегардов были устроены и в других местах. В каждом доме устанавливалась общая собственность в такой мере, как того требовало благо общества. За этим ограничением, у каждого члена могла быть и некоторая частная собственность, заработанная или унаследованная им, или полученная в подарок. Ему принадлежало право пожизненного свободного распоряжения такой собствен-

---

главное участие в этих сектах. Если бы ему удалось доказательство, он сделал бы в высшей степени важное открытие. Но он не дает прямых доказательств для своей гипотезы, а косвенные не отличаются полной убедительностью.

[1]) Цитировано у J. L. v. *Mosheim*, De Beghardis et Beguinabus commentarius. Leipzig 1790, стр. 177.

ностью. После его смерти собственность переходила к обществу.

Такие коммунистические общества в экономическом отношении далеко превосходили отдельных ремесленников. Дело не только в том, что коммунизм, как мы уже видели, вовсе не поощрял праздности; с другой стороны, большое домашнее хозяйство оказывалось более экономным, чем раздробленные мелкие хозяйства отдельных ремесленников. К этому присоединилось еще безбрачие и бессемейность бегардов. Неудивительно, что товарищества рабочих могли оказывать жестокую конкуренцию цеховым мастерам-ткачам и не пользовались у них любовью. *Мосгейм* сообщает, что городские власти в Генте и других местах часто видели себя вынужденными, в ответ на требования цехов ткачей, „сдерживать прилежание бегардов“ и восстановлять мир в городском обществе, устраивая соглашения между ними и цехами [1]).

Но зато у массы неимущих бегарды пользовались большой любовью, потому что излишки, которые получались от их труда при сравнительно ничтожных расходах на содержание, служили для поддержки больных и бедных и для широкого развития гостеприимства. Даже Бонифаций IX восхвалял в своем послании (булле) к ним, что „они принимают в свои госпитали бедных и несчастных людей и, по возможности, совершают и другие дела любви“ [2]).

Подобные же коммунистические товарищества создали „братья совместной жизни“; секта возникла тоже в Нидерландах, но лишь к концу XIV века, и была основана Гергардом Гротом из Девентера. Организаторами этих товариществ были не ремесленники, а члены высших классов, желавшие помогать нуждающемуся народу. И характер таких товариществ был совсем иной, чем у бегардов. Последние были преимущественно *ткачи*, „братья же совместной жизни“ зарабатывали средства для существования главным образом перепиской *книг*. И в то время, как бегарды упо-

---

[1]) *Mosheim*, стр. 182.

[2]) *Mosheim*, loc. cit. 653.

требляли свои излишки для помощи беднякам в *материальной нужде*, „братья совместной жизни“ имели в виду преимущественно *духовные нужды* бедных и занялись *народным образованием*. Они содействовали образованию народа отчасти раздачею книг, в которых перед изобретением книгопечатания была большая нужда, и в особенности *устройством школ*. В этой области они достигли значительных разультатов. „Один братский дом иногда вызывал общий подъем культурного уровня всех жителей какого-нибудь города. Таким образом в Амерсфорде, напр., знание латинского языка сделалось в половине XVI века настолько обычным, что самые простые ремесленники понимали и говорили по-латыни; более образованные купцы знали греческий язык, девушки пели латинские песни, и на улицах повсюду слышалась прекрасная латынь“ [1]).

Возможно, что эта картина страдает преувеличениями; но во всяком случае она показывает направление, в каком развивалась деятельность братьев.

Организация товариществ была коммунистическая. Братство „было внутренно сплоченным, но свободным товариществом“. Вступление в корпорацию не ознаменовывалось обетом, связывающим на целую жизнь, и братья не были подчинены строгим, доходящим до мелочей предписаниям, как у монахов... Обычное устройство братского дома было следующее. В доме жило вместе до двадцати братьев; у них была *общая касса и общий стол*... Приему в братство предшествовал год искуса, в течение которого новички подвергались очень строгому обращению... От принимаемого ожидали, что он отдаст на общую пользу свою долю наследства“. *Флоренциус* (друг и ученик Гергарда) говорит в своих сентенциях: „Горе тому, кто, живя в общине, отыскивает, что принадлежит ему, или говорит, что нечто принадлежит ему“... Деятельность братьев целесообразно распределялась между отдельными лицами. Особые лица занимались различными ремеслами, которые были необходимы для всей общины. В законах для братских домов в Везеле мы на-

---

[1]) *Ullmann*, Reformatoren vor der Reformation, II т, стр. 111.

ходим инструкции для братьев портных, цирюльников, пекарей, поваров, садовников, заведующих погребами, а также для братьев учителей и переписчиков, переплетчиков, библиотекарей и чтецов... Но несмотря на такое разделение труда производится и известное уравнивание. Духовные и ученые братья при случае выполняют всякие физические работы (забота о кухне по очереди возлагается на всех), а другие принимают участие почти во всем, что приходится на долю духовных братьев, так что целое товарищество всегда можно сравнить с семьей, совместно работающей при взаимной поддержке всех ее членов. Главным мотивом для объединения в товарищества была *переписка книг*... Для переписки каждый день назначались определенные часы, всегда по нескольку часов, и тогда писали во благо бедным" [1]).

„Братства совместной жизни" никогда не были исходным пунктом коммунистического оппозиционного движения; причина тому лежит, может быть, в их связях с состоятельными и образованными классами. Братья всегда оставались добрыми папистами. Бури реформации XVI века положили конец их тихой деятельности.

Совсем иное было с бегардами. Сначала и они, правда, отличались в высшей степени невинным характером, так что заслужили одобрение нескольких пап. Они совсем не выступали против существующего общества и его авторитетов. Однако в их среде мало-по-малу развивались революционные элементы.

Бегарды не были привилегированным классом, как монашеские ордена; они не требовали и не получали привилегий от папской власти и оставаясь независимыми по отношению к ней, никакими интересами не были связаны с нею. Они никогда не возвышались над массами неимущих и сохраняли с ними самые тесные связи, так как у них не было никаких определенных уставов, и они не знали обетов на целую жизнь. Каждый член общины мог по желанию выйти из нее и жениться, не приходя в столкновение с нею.

Во всех этих отношениях бегарды больше всего прибли-

---

[1]) *Ullmann*, loc. cit., II т., стр. 97—102.

жаются к францисканским терциариям, а в некоторых местах и фактически сливаются с ними.

Но если даже признанные папой привилегированные францисканцы, по крайней мере отчасти, вступали в конфликт с ним, то это было еще неизбежнее для вполне независимых бегардов, пролетарские тенденции которых с самого начала стояли в антагонизме с богатством и эксплуататорским характером существующей церкви. С каким бы благочестием и смирением ни выступали они, всякое движение этого рода казалось папству опасным, как только оно получало значительное распространение. Для бегардов же такое распространение наступило с XIII века. С невероятной быстротой приверженцы их распространялись тогда по Германии, Франции и Англии. Возможно, что этому много содействовали усилия многих городов XIII века привлечь фламандских ткачей, чтобы поднять свою шерстяную промышленность. Ткачи из Фландрии проникали в Вену, Тюринген, Бранденбург и Лаузиц на востоке и в Англию на западе.

Впрочем не следует придавать таким переселениям уж слишком большое значение. Сходные отношения и сами по себе порождают достаточно сходных явлений. В тех местах, где полотняная и хлопчато-бумажная промышленность сделалась отраслью промышленности, работающей на вывоз, среди ткачей развивались стремления, стоящие в близком родстве со стремлениями бегардов.

Статут подмастерьев-ткачей в Ульме (1404 г.) напоминает „своим строго-религиозным, почти аскетическим направлением нидерландские братства бегардов, которые в большинстве случаев состояли из шерсто-ткачей“ (*Hildebrand*, Zur Geschichte der deutschen Wollenindustrie. Hildebrand's Jahrbücher 1866, стр. 110).

Рука об руку с распространением бегардов шло развитие их самосознания. Этому благоприятствовало и образование в их среде различных направлений, так как одно и то же учение, один и тот же ход идей, поставленные в различные условия, должны были приспособляться к ним различными способами. Если часть бегардов оставалась смиренною ни-

щею братией, совершенно умершей для суетного внешнего мира, то в другой части начали заявлять о себе более смелые мысли. Пробуждалось желание бороться против несправедливостей существующего общества, не убегая от него, но вторгаясь в него и работая для уничтожения несправедливостей. Из бегардских домов вышли многочисленные агитаторы, „апостолы“, которые, переходя с места на место, подобно странствующим проповедникам вальденцев, возвещали евангелие первоначального христианства и основывали общины. Германия (и Нидерланды) начала покрываться сетью тайных союзов с более радикальными тенденциями, чем открытые дома бегардов. Эти союзы не были обществами заговорщиков, задавшихся мыслью о подготовке общественной катастрофы; они были обществами пропагандистов. Но и этого было достаточно, чтобы существующие власти, в особенности папская церковь, не взлюбили их; бегардов усердно выслеживают, начинаются гонения на них.

Уже в 1299 году собор в Безьере жаловался, что такие союзы пробудили в народе хилиастические надежды на приближающуюся гибель мира, т.-е. существующего общества; в то же самое время на Рейне сожгли несколько бегардов, как еретиков.

Однако преследования увенчались только частичным успехом. Более умеренная и робкая фракция бегардов была, конечно, запугана, и бегардские дома этого направления постарались спастись, снискав покровительство или прямо войдя в состав какого-либо из существующих сильных монашеских орденов. Больше всего выиграли при этом францисканцы, у которых было много родственного с смиренною частью бегардов; они заполучили целый ряд бегардских домов. В Антверпене, напр., уже в 1290 году дом бегардов перешел к францисканцам. В XV веке он был окончательно превращен в мужской монастырь.

Новые дома бегардов основывались в XIII веке очень редко.

Но более энергичную часть бегардов преследования приводили только к еще большей скрытности и к более решительной опозиции. Этот процесс ускорился эмиграцией ере-

тиков из Италии и Франции. Со времени альбигойских войн эмигранты предпочитали Германию. Здесь государственная власть не обладала такою силой и не была так заинтересована в поддержании папства, как во Франции или в городах Италии. Поэтому здесь легче было найти защиту и прибежище в городе или в поместьи какого-нибудь сеньора, который часто был очень рад новым рабочим.

Из Южной Франции и из Италии выходили вальденцы и братья-апостолы; из Северной Франции—*„братья и сестры свободного духа“*.

Производство сукна, как производство для вывоза, из Фландрии быстро распространилось по соседним странам, с которыми поддерживались оживленные торговые сношения: по нижнему течению Рейна, по Северной Франции, особенно в Шампаньи, где это производство процветало в XIII веке. В XIV веке шерстяная промышленность здесь сильно упала вследствие франко-английских войн, которые заперли торговые пути и отрезали от сырого материала.

Соответственно раннему развитию шерстяной промышленности мы очень рано встречаем в этих странах братства ткачей с коммунистическими (или по меньшей мере с первоначально-христианскими, что для пролетариев сводилось к тому же) тенденциями; это—*апостолики* (их не следует смешивать с итальянскими апостольскими братьями), поставившие своей задачей возврат к образу жизни апостолов. „Они были известны уже в XII веке, во времена преподобного Бернарда, который резко опровергал их в двух своих речах о Песни Песней Соломона... Апостолики удерживались преимущественно во Франции... Апостолики работали и добывали хлеб трудами рук своих. Это были главным образом ремесленники, *чаще всего ткачи*, как можно видеть из преподобного Бернарда, который, хотя и сильно порицает их, однако оставляет за ними репутацию трудолюбивых людей“ [1]).

Но Северная Франция XII века все же не представляла для подобных сект такой благодарной почвы, как Южная Франция или Фландрия. Апостолики никогда не могли срав-

---

[1]) *Mosheim.* Ketzergeschichte, стр. 380.

няться по своему значению с вальденцами или бегардами. Более важными сделались *„братья и сестры свободного духа“*, которые появились в XIII веке.

Эту секту основал *Амальрих из Бены* (родился в Бене, в диоцезе Шартр во Франции), который около 1200 года был магистром теологии в Париже. Обвиненный за свои учения, он был вызван (в 1204 г.) в Рим к папе Иннокентию III, который вынудил у него отречение. Таким образом надеялись обезвредить и само вредное учение. Но по смерти Амальриха (1206 г.) открылось, что он оставил многочисленных приверженцев. Наиболее выдающимся из его учеников был *Давид из Динанта* (близ Намюра в Бельгии). В 1209 г. синод в Париже проклял учения Амальриха, и началось усердное преследование его сторонников.

Они представляли наиболее решительную и радикальную из коммунистических сект того времени. Они проповедывали общность не только имуществ, но и женщин; они отвергали всякое неравенство, а потому и всякую власть. Они, наконец, заявляли, что Бог есть все и повсюду. Это едва ли можно выразить сильнее, чем сделали в 1339 году проникшие в констанцское епископство бегарды, которые, по Иоганну из Винтертура, учили: „Во всякой твари, даже в какой-нибудь вше, проявляется сила благодати Божией не меньше, чем в человеке“ *(Ullmann*, Reformatoren, II т., стр. 20). Следовательно, Бог есть и в человеке, и чего хочет человек, того хочет Бог, а потому все связывающее человека должно быть отринуто, и каждый имеет право, даже обязан прислушиваться к своим побуждениям. Если отбросить от этого пантеистического учения его мистическую оболочку, то оно предстанет перед нами, как коммунистический анархизм,— учение, которое должно было обладать большой притягательной силой для забитых и задавленных пролетариев.

И оно быстро распространилось из Парижа через Восточную Францию до Германии. Большинство бегардов приняло это учение. К концу XIII века оно уже настолько распространилось среди бегардов по Рейну, что понятия: „братья и сестры свободного духа“ и „бегарды“, сделались там почти тожественными.

Понятие „бегард“ мало-по-малу все расширялось. Чем больше распространялось то направление секты бегардов, которое на первый план ставило борьбу против папства, тем больше оказывалось у него пунктов соприкосновения с оппозиционными стремлениями крестьянства и горожан: последние тоже выступали против сложившихся отношений и в папстве же видели величайшего и опаснейшего врага. Оба направления могли сливаться тем легче, что все они опирались на одни и те же аргументы, заимствованные от первоначального христианства; кроме того, мистические туманы, окружающие учения тех сект, и дальнейшее затуманивание, которое придавали им агитаторы, чтобы спастись от преследований, не содействовали увеличению принципиальной ясности [1]). Таким-то образом в Германии XIV века имя „бегард“ обратилось в нарицательное и служило для обозначения еретиков вообще. В Англии, где бегарды назывались лоллардами, последнее имя играло такую же роль.

Поэтому, если мы слышим, что Германия в первой половине XIV века, а позже и Англия кишела бегардами или лоллардами, мы еще не можем предполагать, что коммунистическое движение было так сильно, как можно бы ожидать по распространению этих сект. Впрочем оно все же не было незначительным.

---

[1]) «Тяжелая школа «конспирации» постепенно развила у «апостолов» поразительную ловкость в сокрытии своих целей. Уже в XIII веке главный упрек Давида из Аугсбурга, направленный против еретиков, заключается в том, что они с величайшим «лукавством» умеют обращаться со своими словами; а об одном «апостоле» вальденцев один древний документ XIV века говорит буквально следующее: «он отличался необыкновенно острым умом и умел прикрашивать и прикрывать словами свои лжеучения»... Символика играет у «мистиков» выдающуюся роль. Взгляды, советы, положения, которые они, из боязни судов над еретиками, не осмелились бы назвать их настоящим именем, обозначались своеобразным языком знаков, обыкновенно известным только «братьям». Шнаазе справедливо указывает, что, как кажется, они преднамеренно давали своим советам аллегорическое одеяние» (*Keller*, Die Reformation, стр. 184, 219).

2. Людовик Баварский и папа.

Счастливые времена для бегардов, как и вообще для еретических стремлений, наступили в Германии, когда разыгрался конфликт между королем Людовиком IV Баварским (1314—1347 г.г.) и папами. Мы должны рассмотреть его несколько ближе.

Национал-либеральные историки любят, особенно в популярных сочинениях, рассматривать всякий конфликт между императорами и папами с такой же точки зрения, как какой-нибудь „культуркампф",—как борьбу между высшей культурой немецких императоров с мрачным варварством папства,—безразлично, когда бы не разыгралась эта борьба: в X ли или в XIX веке.

В действительности же средневековые столкновения между императорами и папством далеко не всегда носили один и тот же характер. Начиная с Оттонов и кончая Гегенштауфенами, борьба в существенных чертах вращалась около вопроса, кто должен быть владыкой и эксплуататором той организации господства, которая называлась церковью, и кто должен быть владыкой и эксплуататором Верхней Италии. Последний пункт спора закончился тем, что северноитальянские города освободились от всякой опеки и основали самостоятельные государства. Первый же пункт окончился, как кончались многие споры: победою высшей культуры—итальянского папства—над варварством, над германскими императорами. Жадность последних до сокровищ Италии повела только к тому, что они раздробили свои силы; поэтому, когда папство восторжествовало над императорами, свой триумф могли отпраздновать и германские территориальные государи. Развитие товарного производства и товарной торговли везде благоприятствовало расцвету княжеского абсолютизма; но в Германии оно вело не к усилению центральной власти,—которая с падением Гогенштауфенов скорее заметно разложилась, а к росту значения имперских князей, которые все более становились суверенными государями и признавали в императоре Германии только своего рода президента союза.

Иначе шло развитие в соседней Франции. Там с XIII века и особенно с того времени, когда династия захватила Южную Францию, сила королей все возрастала. Как раз в то время, когда тянувшаяся в течение столетий борьба между германскими императорами и папством окончилась победой последнего, французские короли настолько усилились, что им удалось то, к чему тщетно стремились германские императоры: они сделали папство своим орудием, они заставили римскую церковь служить себе. Бонифаций VIII, о котором мы упоминали, когда рассказывали историю Дольчино, потерпел полное поражение, попытавшись (1303 г.) освободиться из-под зависимости от Филиппа IV, короля Франции. Чтобы положить конец всяким порываниям папства к самостоятельности, Филипп заставил избранного в 1305 году Климента V, француза по происхождению, второго преемника Бонифация, покинуть Рим и основать свою резиденцию в Южной Франции; после долгих переездов с места на место папа, наконец, остановился в *Авиньоне* (1308 г.). С этого времени Авиньон в течение двух поколений служил резиденцией пап.

Папская власть попала теперь в полную зависимость от Франции. Уже при своем избрании Климент V должен был дать Филиппу IV ряд важных обещаний, и французский король позаботился об их исполнении. Тотчас же после венчания в папы Климент передал королю десятины со всех церковных имуществ во Франции. Но важнее всего было уничтожение необыкновенно богатого ордена Тамплиеров (Храмовников). Главным центром Тамплиеров была Южная Франция, и сокровища их уже давно разжигали в Филиппе корыстные желания [1]). Как ни изворачивался и

---

[1]) Как и другие монашеские ордена, тамплиеры далеко не ограничивались одними благочестивыми упражнениями: они превосходно понимали и коммерцию. «Славу военного мужества»,—говорит Пруц,—«не оспаривали у тамплиеров, но громко порицали их своекорыстную политику, которая выгоды ордена во все времена ставила выше интересов всего христианства. В подтверждение этого особенно указывали на отношения ордена к неверным, часто очень подозрительные; он старался увеличить свои имущества даже на счет великих и князей христианского мира; очень

не увертывался Климент, это нисколько не помогло. Он должен был проглотить пилюлю и, после скандалезного процесса для вицимости, предать проклятию и распустить орден будто бы за его неверие и безнравственность. В других случаях сюзерены только отречением от папства могли достигнуть захвата богатых церковных имуществ; для Франции об этом позаботился сам папа. Неудивительно, что

скоро им овладела жадность до денег. Он располагал *колоссальными финансовыми* средствами и в конце концов стал особого рода финансовой великой державой. Ко времени катастрофы его недвижимые имущества оценивались в 25—62 миллиона франков, а из рент, десятин, процентов и т. д. он получал не менее двух миллионов в год,—сумма, которая, при современной ценности денег, представляла бы в 25 раз большую величину. Эти более чем королевские богатства, разумеется, плохо согласовались с бедностью «бедной братии храма»; тем более, что только незначительная часть их употреблялась на цели, соответствующие призванию ордена, и во благо Святой Земли. Орден не только организовал мореплавание, но и устраивал крупные *коммерческие дела*. Он ежегодно перевозил на своих галерах тысячи пилигримов в Палестину и из Палестины, а привилегия беспошлинного ввоза товаров с Запада для собственного потребления открывала ему возможность доходных спекуляций в крупных размерах. Как главный посредник в сношениях между Востоком и Западом, он получил огромное значение для всего денежного обращения; на его безопасных и быстроходных судах папы отправляли деньги, предназначенные для Святой Земли, и отдавали их в орденскую кассу для сохранения и распоряжения ими. Орден сделался посредником и в других финансовых операциях. Храм, Тампль, его главный дом в Париже, сделался прямо какой-то интернациональной биржей, на которую обращались при своих сделках коммерческие люди, отделенные друг от друга большими пространствами; даже государи поступали так: французские короли перенесли туда свою казну и приказали производить там платежи и прием денег. Понятно, что орден не занимался такими делами просто из любви к ближнему, без всякого барыша для себя. Военная сила и крупный землевладелец, с которым никто не мог конкурировать, орден храмовников, идя по такому пути, сделался, наконец, и финансовой великой державой. Короли искали его благосклонности и становились его должниками; как раз и Филипп IV должен был изведать такое значение ордена» (*E. Prutz*, Staatengeschichte des Abendlandes im Mittelalter. Berlin 1887, т. II, стр. 49, 50). Храм самых христианских из всех христиански-германских рыцарей—торговая биржа! Эта действительность еще больнее для антисемитов, чем созданный Лессингом тамплиер, который входит в дружбу с евреем Натаном.

французские короли остались добрыми католиками и папистами и ревностно преследовали ереси.

И во внешней политике папы должны были исполнять волю французских королей, которые были в постоянном раздоре с Англией и старались увеличить свою землю на счет Германии. Короли Франции вынуждали пап на конфликты с английскими королями и германскими императорами.

Впрочем для этого не требовалось слишком больших усилий со стороны королей Франции. С тех пор, как папы оказались под французским верховенством, они потеряли свои лучшие доходы, получавшиеся с Франции. Но, благодаря их отсутствию в Риме, и доходы из церковного государства становились все необезпеченнее, а часто и совсем приостанавливались. В то же время, с развитием торговли и промышленности, при папском дворе, как и при других дворах того времени, поднималась роскошь, росли потребности и жажда денег. Чем меньше можно было достать во Франции и в Италии,—а потом и в Испании,—тем больше следовало содрать с северных стран. В Авиньоне папы изобрели ту систему фискальной эксплуатации германской церкви, которая в конце - концов должна была привести отпадению Германии от Рима, к Реформации [1]). Папы

---

[1]) Цитированная выше работа Ганса Пруца содержит наглядное изображение папских финансовых методов: «Очень рано финансовое искусство папской курии достигло высокой ступени развития; таксы и пошлины были выработаны в прекрасно продуманную систему соответственно многочисленным степеням духовного звания и безконечному многообразию дел; в этой системе не было упущено ни одного случая для получения известного барыша, раз для этого имелось хоть какое-нибудь юридическое основание Если и раньше много жаловались на это, то зло разрослось до непомерных размеров, когда папы лишились доходов, получавшихся раньше с города Рима и с церковного государства, и в то же время прилив к авиньонской курии авантюристов, ищущих счастья, и распущенность жизни в веселом Провансе значительно повысили потребность в наличных средствах. При стечении таких обстоятельств финансовое искусство курии было выработано положительно до тончайшего совершенства, чтобы потери доходов на одной стороне вдвойне и втройне возмещать на другой. Курия возмещала свои убытки главным образом на церковных должностях с богатыми доходами, не столько на высших должностях, сколько на полчищах низших и вспомогательных чиновни-

XIV века могли всего требовать от Германии, в которой центральная власть отличалась величайшей слабостью. Требования, пред'являемые папами под всевозможными предло-

---

ков: нотариусов, канцеляристов, писцов и т. д.; через их жадные руки проходили документы о назначении на высшие церковные должности и только тогда попадали в руки назначенного или призываемого на должность. Возводимому в аббаты, епископы, архиепископы назначение стоило прежде всего больших материальных жертв, не говоря уже о том, что должно было пойти на смазку в разных влиятельных местах, чтобы можно было подняться так высоко. Эти люди, естественно, старались потом вознаградить себя за принесенные жертвы: они проводили по отношению к подчиненным им инстанциям такую же систему такс и взяток, как только-что примененная по отношению к ним. Так эта цепь продолжалась до самого низу, и ниже стоящие должны были не только возместить из своих ограниченных средств платежи, сделанные высшим, но и вознаградить себя соответствующим барышом. Выдающуюся роль в бюджете курии играли *пошлины за конфирмацию*, т.-е. платежи, которые должен был сделать за папское утверждение вновь вступающий в церковную должность. Уже к концу XIII века эти платежи за епископство Brixen составляли 4,000 гульденов золотом, не считая могарыча в 200 гульденов золотом папским чиновникам. Потом таксы были значительно повышены: за архиепископства Майнцское, Трирское и Зальцбургское пошлины за конфирмацию уплачивались в размере 10.000 гульденов золотом за каждое, за Руанское даже 12,000. Епископство Лангр было оценено в 9,000, Камбре—в 6,000, Тулуза и Севилья—по 5,000 гульденов золотом, и даже за такое бедное епископство, как Минден, приходилось платить 500 золотых. Подобным образом определялись и таксы за различные аббатства в зависимости от богатства последних. Иоанн XXI попал на счастливую идею: причислять к папским резервам все духовныя должности, которые освободились вследствие назначения их владельцев на высшие посты; замещение этих должностей производилось уже непосредственно папой; таким образом выигрывалась возможность во всякое время производить назначения на целый ряд мест, и пошлины за конфирмацию сделались одним из самых богатых и верных источников доходов курии. В связи с этим стоял колоссальный рост *аннатов*, т.-е. доходов за первый год, которые каждый новый епископ должен был передавать курии. Сюда же присоединялись, дальше, «*fructis medii temporis*» («доходы промежуточного времени»): пока церковный приход оставался незанятым, его доходы поступали тоже в курию, которая замедляя новые назначения, и здесь могла значительно увеличивать свои доходы. Последовательно применялось право *сполиации*, по которому по смерти епископа его движимое имущество переходило к курии. Особенно выгодны были дела с *коммендами*, т.-е. предоставлением права на получение

гами к епископам и монастырям Германии, все возвышались и в то же время все более беззастенчивыми становились методы прямой эксплуатации, напр., при помощи *торговли индульгенциями*, и методы вымогательства, особенно посредством *отлучений от церкви*.

„Благодаря постоянным папским требованиям,—говорит один добрый католик,—„благодаря дорогим поездкам в Рим, благодаря вечным войнам, большинство германских монастырей глубоко погрузились (в XIV и XV веках) в долги и вынуждены были платить итальянским банкирам колоссальные ростовщические проценты. Эти банкиры—в Сиене, Риме, Флоренции—пользовались папским авторитетом, чтобы высасывать соки из германской церкви. Если епископ не хотел аккуратно производить платежи, они умели достать папские повеления, которыя принуждали епископов к уплате ростовщических процентов под угрозой отлучения и смещения с должности“ (*Ratzinger*, Geschichte der kirchlichen Armenpflege, стр. 304 и слл.).

Но и этого для пап было недостаточно: Іоанн XXII, один из преемников Климента V (с 1316 г.), об'явил, что по смерти императора императорская власть переходит к папе, и, следовательно, папа, раб Франции, является сувереном Германии. Этого не мог перенести император, если только он вообще хотел быть императором. Людовик Баварский принял вызов неохотно, без всякого желания и решительности. Новое столкновение носило совершенно иной характер, чем то, которое разыгралось между Гоген-

---

прихода такому лицу, которое в данный момент по несовершеннолетию еще не имеет право занять приход; так же выгодно было раздавать *экспектанции*, т.-е. обещать места, которые в данное время были еще заняты. К этому надо прибавить доходы от *соединений* и *включений*, т.-е. от разрешений на соединение многих приходов в одних руках, и, наконец, широкую торговлю *индульгенциями* и *отпущениями* разнообразнейших видов, которая велась по таксе, выработанной до ничтожнейших мелочей.

«При помощи этой финансовой системы курия получала чудовищные суммы от многочисленных носителей высоких санов, а те с барышом перекладывали эти суммы на ниже стоящих, пока, наконец, они не ложились на беззащитный мелкий люд» (loc. cit., II т., стр. 330 и слл.).

штауфенами и папами. Теперь дело шло о подчинении и эксплуатации не *Италии*, а *Германии*; не о том, кто должен господствовать над церковью, а о том, не является ли духовный глава церкви главою и светских властей. Папство перешло в наступление против Германии; в то самое время, когда монархическая власть повсюду выростала и начинала подчинять себе церковь, в это самое время германские императоры боролись против пап за свою самостоятельность.

Параллельно с этой борьбой развертывалась другая. Имперские князья стали развиваться в суверенных государей и старались ослабить власть императора. Напротив, те элементы, для которых усиление князей являлось угрозой, на первом плане свободные города, смотрели на императорскую власть, как на самаго желательного союзника. Города-то и были самыми сильными и надежными сторонниками императора в борьбе против папства. Напротив, высшее дворянство по большей части склонялось на сторону пап. Впрочем высокомерие последних иногда выростало настолько, что даже князьям приходилось выступать против него. Но в общем они смотрели на императора, как на своего ближайшего противника, и оказывали содействие папским стремлениям ослабить и принизить его.

Папа употребил против императора наиболее острое свое оружие: он проклял и отлучил императора от церкви. Но города смеялись над подобными средствами. „В это время“ — рассказывает один летописец тех дней, — „клир был в великом презрении у мирян; евреев почитали больше, чем клир“. *Л. Келлер*, в своей уже много раз упоминавшейся книге о древнейших партиях реформы (стр. 114), очень наглядно изображает отношение городов к папам. „В этой борьбе город *Страсбург* шел впереди; он принудил священников, прекративших, согласно папскому приказу, церковную службу, удалиться из города. Город *Цюрих* не терпел в своих стенах папских чиновников уже с 1331 года. В *Констанце* магистрат потребовал от своего духовенства, чтобы оно опять принялось за исполнение своих обязанностей, и назначил ему срок для размышления. Когда он окончился (6 января 1339 года), все отказавшиеся от службы

должны были покинуть город. В *Рейтлингене* совет приказал прокричать народу, что никто не должен, под страхом наказания в пятнадцать фунтов, принимать священника, оказывающего папе послушание. В *Регенсбурге* городские власти голодом принудили своих священников к исполнению божественной службы. В *Нюренберге*, где городские олигархи одно время шли рука об руку с римским клиром, цехи вступили в открытую борьбу против такого порядка; она окончилась поражением патрициата и священников. Едва окончилась эта борьба, как Нюренберг стал на сторону изгнанного императора. Вообще можно заметить, что все немецкие города, в которых управление принадлежало не патрициату, были безусловными противниками Рима и верными союзниками Людовика".

Естественно, что при таких обстоятельствах наступило процветание бегардской ереси. Вся Германия оглашалась воинственными кличами против папы, и для горожан и сторонников императора всякое подкрепление представлялось желанным.

„Возведение императором Людовиком схизматиков на высшие почетные места", — говорит один францисканский хроникер, которого цитирует Мосгейм, — „и безнаказанность их преступлений увеличили дерзость и упорство членов во всех орденах; они по малейшему действительному или воображаемому поводу отпадали от папы и, к великому вреду католического дела, умножали секты „братьев" (то же самое, что и бегарды), которые с бесстыдством выступали из своих притонов и одобряли деяния Петра Корбариуса (котораго Людовик возвел в контр-папы под именем Николая V) и Людовика" [1]).

Иностранные еретики, спасавшиеся в Германию, также находили защиту у Людовика. В 1324 году в одной булле Иоанн XXII называет императора защитником и покровителем людей, преданных ересям, особенно *ломбардских* еретиков, под которыми, конечно, следует разуметь вальденцев или апостольских братьев.

---

[1]) *Mosheim*, De Beghardis. стр. 320.

Но император Людовик старался использовать даже коммунистические идеи;—правда, не в бегардской, а в более безопасной францисканской форме. Мы уже раньше указывали на борьбу, которая началась в ордене францисканцев из-за вопроса, может он приобретать собственность или нет. С того времени, как папа Иннокентий IV стал (1245 г.) на сторону фракции, жаждавшей собственности, строгое направление становилось все в более враждебные отношения к папству. Конфликт между папой и строгими францисканцами—спиритуалами или фратичелли—сделался острым, когда Иоанн XXII, противник Людовика, об'явил (1322 г.) еретическим их учение, что у Христа и его Апостолов не было никакой собственности; впрочем Иоанн уже в 1317 году вызвал против строгих францисканцев инквизицию. В 1328 году Иоанн низложил даже генерала ордена Михаила де-Казена, который стал на сторону строгого направления. Последнее решительно примкнуло к Людовику; строгие францисканцы сделались самыми ревностными и неустрашимыми агитаторами за его дело. Из их рядов Людовик взял своего контр папу, уже упомянутого Николая V; в 1328 году Людовик заставил римлян выбрать его,—конечно, только затем, чтобы вскоре покинуть. Уже в 1330 г. Николай подчинился авиньонскому папе и с раскаянием отрекся от своих „заблуждений".

Уже эта судьба императорской креатуры служила предзнаменованием, как окончится конфликт между папой и императором. Последний был побежден.

3. Католическая реакция при Карле IV.

Папа Климент VI, второй преемник Иоанна XXII, нашел для германской имперской короны кандидата, безусловно преданного папству и Франции. Это был Карл, сын короля Иоанна Богемского.

Последствием слабости германских императоров было не только то явление, что имперские князья начали обращаться в суверенных государей, но и то, что пограничные области империи—Швейцария, Нидерланды—сделались самостоятельными. Богемия также все больше обособлялась

от империи. В своем антагонизме к имперской власти богемские короли искали опоры во Франции. Люксембуржец по происхождению, Иоанн Богемский вступил в родственные отношения с Карлом IV французским, который женился на его сестре. Сын Иоанна, Венцель, был воспитан при французском дворе; там не нравилось имя Венцель; поэтому он получил при конфирмации имя Карл, которое и удержалось за ним. Воспитание и династические интересы сделали его безусловно преданным союзником Франции и папы. Когда Карл обнаружил готовность принять императорскую корону, Климент об'явил правящего Людовика низложенным и потребовал, чтобы немцы избрали нового императора. Благодаря поддержке церкви и своим мешкам, наполненным деньгами, Карл нашел четырех курфюрстов, которые избрали его (1346 г.). Победа досталась ему легче, чем он ожидал: Людовик Баварский умер раньше, чем дело дошло до серьезной борьбы между обоими императорами.

Карл не был политиком чувства. Во Франции и Испании он основательно изучил новейшее государственное искусство. Поэтому он очень хорошо знал, что дни величия императоров давно миновали, и что корни его силы лежат не в императорской короне, а в наследственных землях. Богемия была его главной заботой. Стараясь выколотить из императорской короны столько выгод, сколько возможно, он однако был далек от того, чтобы из-за нее отважиться на борьбу, на какие-нибудь жертвы. Но ему казалось, что остатки значения императоров стоят в тесной связи со значением католической церкви; императору и папе суждено было итти рядом, рука об руку. Такая политика значительно облегчалась личными склонностями и связями Карла.

Таким образом Карл превратился в „поповского" императора, как называли его итальянцы, в ревностного защитника всех притязаний папства, если только они хотя бы до некоторой степени были совместны с его положением. Больше всего страдали при этом, конечно, демократические, а вместе с тем и коммунистические ереси. При Людовике преследования бегардов в Германии почти совсем прекратились или, по меньшей мере, не приводили к серьезным

последствиям. Теперь для бегардов наступил период кровавых гонений.

Уже в 1348 году упоминается о гонениях на еретиков. Но с полной силой свирепствовала реакция в последнюю треть XIV столетия, когда под'ем ересей в Англии, о котором мы сейчас будем говорить, привел римскую церковь в чрезвычайную ярость. Один декрет Карла против бегардов следовал за другим; но самый ужасный был издан в Лукке 10 июня 1369 года; он предоставлял инквизиторам особые полномочия.

Уже в 1367 году папа Урбан V послал в Германию двух инквизиторов; но скоро у них оказалось слишком много работы. В подкрепление им следующий папа, Григорий IX, отправил (1372 г.) пять новых инквизиторов. Теперь повсюду запылали костры; еретиков сжигали сотнями.

Наконец, 30 января 1394 года папа Бонифаций IX издал эдикт, в котором он, ссылаясь на указы императора Карла IV, об'единяет все предыдущие папские постановления, изданные с целью искоренения ересей. Он ссылается на мнения немецких инквизиторов об еретиках Германии, которые от народа получили название бегардов, лоллардов и швестрионов, а сами себя именуют „бедняками“ и „братьями“. Он жалуется, что эти ереси существуют уже более сотни лет, и все-таки не удается справиться с ними, хотя на костры не скупились. Теперь пришла пора покончить с ересями.

И вот в 1395 году инквизитор Петр Пилихдорф с торжеством известил, что с ересями удалось справиться. Но в 1399 году Бонифаций увидал себя вынужденным опять увеличить число инквизиторов шестью новыми.

Секта постоянно находила новую пищу в общественных отношениях, которые доставляли ей все новых и новых приверженцев. Но кровавые преследования постоянно низводили ее до полного бессилия.

Самостоятельные бегарды, открыто признававшие себя таковыми, совершенно исчезли. Мы видели, что уже первое гонение в XIII веке повело к тому, что значительная часть умеренных бегардов сблизилась с нищенствующими орденами. Теперь этот процесс завершился. Самостоятельные дома

бегардов исчезли. Они превратились в монастыри, которые отчасти перешли в собственность нищенствующих монахов, особенно францисканцев, отчасти удержали старые названия, но фактически стали на почву монашества. Папа Николай V в 1453 году в конце-концов официально принял эти общежития в лоно церкви и даровал им права терциариев.

Но нельзя было ни окончательно уничтожить, ни привести к подчинению тайные общины. Однако весь их героизм и вся их преданность делу в продолжение более ста лет доставили только бесконечный ряд мучеников и не в состоянии были достигнуть иных результатов.

Коммунистическая оппозиция, как и всякий другой вид еретической оппозиции,—и даже на первом плане, потому что она была из наиболее слабых,—лишь тогда могла снова поднять свою голову в Германии, когда там произошел новый великий конфликт между светскими властями и папством, и когда значительная часть германских князей сделалась достаточно сильной, чтобы вступить в борьбу с императором и церковью единовременно.

По смерти Людовика IV и до великой германской Реформации ереси нашли для себя только два свободных места в Европе: прежде всего *Англию* и потом — удивительное явление—*Богемию*, ту самую страну, от государя которой исходила католическая реакция в Германии.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Лолларды в Англии.

1. Виклеф.

Вслед за Германской империей, авиньонские папы направляли свои эксплуататорские вожделения прежде всего на Англию.

Было время, когда ни одна страна не отличалась такой преданностью святому отцу и не подчинялась его эксплуатации с такою пассивностью, как Англия. К началу XIII века английское королевство попало в полную зависимость от папства. В 1213 году Иоанн Безземельный был даже вынужден принять свою корону, как лен св. Петра, и обязался ежегодно уплачивать папе 1,000 фунтов серебра, как вознаграждение за ленное владение. С этого времени эксплуатация Англии папой все усиливалась. Еще во времена Эдуарда III (XIV век) парламент жаловался, что папе ежегодно уплачивается даней в пять раз больше, чем королю [1].

Но, как и в других государствах, в XIV веке центральная государственная власть Англии развилась уже в силу, достаточную для того, чтобы не только успешно вести борьбу против папства, но и поставить перед собой такую задачу, как завоевание церковной организации господства и эксплуатации с намерением подчинить ее своим целям.

Мы говорим — „центральная государственная власть", а не „монархия", потому что во всех феодальных государствах рядом с королями поднимались сословные представи-

---

[1]) *W. Cunningham.* The growth of English Industry and Commerce. Cambridge, 1890, I, стр. 253. (Имеется рус. пер.: *У. Кеннингэм,* Рост английской промышленности и торговли М. 1909).

тельства, государственные сословия (штаты), которые более или менее ограничивали королей. Соотношение сил между сословиями с одной стороны и королями с другой подвергалось большим колебаниям в зависимости от условий места и времени. Мы встречаемся с государственными сословиями, которые были просто поддакивающими машинами, и с королями, которые представляли пассивные орудия сословного представительства. Но, каковы бы ни были взаимные отношения обоих частей центральной государственной власти, короля и сословий, она везде в эту эпоху начинала делаться сильнее, чем отдельные территории, составные части государства; исключение—только Германия.

В XIV веке английские король и парламент сделались достаточно сильными, чтобы дать отпор папской заносчивости. Между тем требовательность папства становилась все более безудержной. Конфликт между церковью и государством был неизбежен.

Антагонизм между обоими силами еще более обострился во время войны Англии с Францией, продолжавшейся более столетия (1339—1456).

Предлогом для этой войны послужили династические споры о наследстве. Но ее причины лежали глубже и сделали войну национальной, т.-е. такой, в которой сильно заинтересованы решающие классы нации.

Мы видим, как в течение XIII и XIV веков во всем христианско-германском мире возрастают в дворянстве хищнические вожделения. С развитием товарного производства и торговли у дворянства нарождаются такие потребности, которые не могут быть удовлетворены продуктами натурального хозяйства дворян и крестьянства. Поэтому дворянство все усиленнее стремится использовать свои особенные знания для улучшения своего финансового положения. Но все познания дворянства относились к области драки и могли с барышом для него применяться только таким способом, что дворянин за свой собственный страх или в найме у других боролся за право, т.-е. за добычу для сильнейшего.

В Германии не было настолько сильной центральной власти, чтобы она могла направить грабительские вожделе-

ния рыцарей на иностранные войны: поэтому, когда прекратились крестовые и итальянские походы,—а они по существу были разбойничьими походами,—рыцари обратились против горожан и крестьянства собственной страны, а если и этого было недостаточно, старались пожрать друг друга, как голодные волки. Между горожанами и дворянством разразилась ожесточеннейшая вражда.

Иначе было в Англии. Центральная власть обладала там достаточной силой, чтобы отважиться на войну с соседней Францией. И, в противоположность последней, интересы английской буржуазии шли в одном направлении с интересами дворянства. В то время—да и позже—у дворянства и горожан Англии было много больше общих интересов, чем у тех же сословий Германии.

Оба сословия Англии были одинаково заинтересованы в торговле с Нидерландами. Высоко развитая шерстяная промышленность последних получала, как мы знаем, сырой материал преимущественно из Англии. В процветании этой промышленности землевладельцы Англии, насколько они занимались овцеводством, были заинтересованы в такой же мере, как купцы, которые служили посредниками в торговле, и как король, который от вывозных пошлин на шерсть получал большую часть своих доходов.

Уже в 1279 году бароны заявляли в одной петиции Эдуарду I, что выручка от шерсти составляет половину их ежегодных доходов от земли. Древнейшие данные о вывозе из Англии относятся к 1354 году. Общая ценность экспорта составляла 213,338 фун. стерл., в том числе ценность шерсти 196,062 фун. стерл. Общая сумма вывозных пошлин выражалась цифрою 81,896 фунт. стерл. Эти пошлины почти целиком налагались на шерсть;—с других вывезенных продуктов получено только 220 фун. стерл. (*G. Craik*, The History of British Commerce. Лондон 1844, I, стр. 144, 148).

Но процветанию нидерландских городов, покупателей английской шерсти, угрожала Франция. Их богатства манили к себе королей и рыцарей Франции. В XIII веке они напали на богатый Лангедок под предлогом борьбы за веру, а в XIV столетии искали добычи во Фландрии. Поставлен-

ные лицом к лицу перед опасностью, города Фландрии видели сильного союзника в Англии, а не в Германской империи.

Но это не единственная причина антагонизма между Францией и Англией. Английское рыцарство не меньше французского отличалось хищническими стремлениями. И, если французское зарилось на богатства Нидерландов, то английское рыцарство не меньше стремилось к богатствам Франции, которая в экономическом отношении шла впереди Англии. В ту эпоху сравнительно варварские страны постоянно стремились к грабежу в более богатых странах, стоящих на высшей ступени экономического развития: в одно и то же время французы грабили в Нидерландах, англичане во Франции и шотландцы в Англии. И, как нидерландцы заключали союзы с Англией, так и шотландцы с французами. Но победа в таких столкновениях обыкновенно доставалась англичанам, а с победой—неизмеримая добыча.

Один английский летописец рассказывает, что после битвы при Креси завоеванные провинции севера Франции были ограблены так, что добытые богатства совершенно изменили жизнь и обычаи англичан.

Рыцарство добывало походами очень много; но оно всегда лучше умело грабить, чем сохранять. Буржуазия знала, как выманить у рыцарей награбленные сокровища, которые в конце концов служили ко благу промышленности и торговли.

Тяжести войны падали преимущественно на крестьянство. Однако даже оно извлекало из войны некоторые выгоды. Крестьяне, как и сеньоры, были заинтересованы в беспрепятственном ходе торговли шерстью с Нидерландами. Для крестьянских сыновей, не находивших приложения своим силам в семье, война доставляла солдатское жалованье и богатую добычу. Но на первом плане война и сама по себе была благом для крестьянства: она мешала рыцарству производить насилия в собственной стране, как делало немецкое и еще больше французское рыцарство после поражений, нанесенных внешним врагом.

Неудивительно, что война против Франции сделалась для Англии национальным делом, в котором вся нация была заинтересована самым непосредственным образом.

После этого понятно, какие острые формы принял антагонизм между папством и Англией уже в XIV веке: папа был, ведь, орудием или союзником врага Англии; поддерживать папу—измена перед страной; бороться с ним—высший патриотизм.

Такое настроение приводило не только к тому, что парламент по возможности урезывал денежные платежи, которые Англии приходилось отправлять к папам,—между прочим в 1366 г. была уничтожена ленная подать в 1.000 фун. стерл., которая уплачивалась со времен короля Иоанна,—оно было благодарною почвой и для мысли о полном свержении верховной власти пап. Ереси, потерпевшие поражения во Франции и Италии, гонимые в Германии с восшествия на престол Карла IV, во второй половине XIV века успешно развивались в Англии.

Англия была той страной, где оппозиция против папства раньше, чем где-либо, сделалась национальным делом сильного государства, таким делом, в котором были заинтересованы буржуазия и крестьянство, короли и дворяне, высшие и низшие, и даже значительная часть самого духовенства. И в Англии же идеи реформации прежде всего получили яркую, можно даже сказать—научную формулировку.

Выдающимся духовным представителем враждебного папству течения был Джон Виклеф,—ученый, прежде священник, потом профессор оксфордского университета. Но с какою бы резкостью и решительностью ни выступал Виклеф, он остерегался переходить границы, поставленные интересами господствующих классов. Обращаясь к первоначальному христианству, Виклеф возвеличивал бедность Христа и противопоставлял ей богатство, пышность и надменность его преемников, от которых он требовал такой же бедности, такого же раздела имуществ, как Христос от своих богатых учеников. Но под преемниками Христа он подразумевал не всех христиан, а только духовенство. Только их экспроприировать представлялось необходимым Виклефу. Таким образом его учение вполне соответствовало интересам крупных лэндлордов и короля, которым при „дележке" попали бы имения церкви. Ересь Виклефа сводилась просто к тому,

чтобы перенести церковный механизм эксплуатации и господства из рук иноземного, враждебного стране папы в руки короля и аристократии собственной страны.

И Виклеф нашел защиту у представителей высшего дворянства; между прочим у Иоанна, герцога Ланкастерского, и Перси, графа Нортумберландского,—выдающихся людей в Англии того времени. Иоанн Ланкастерский был младший сын короля Эдуарда III и дядя его внука и наследника Ричарда II, которому было всего 11 лет, когда он сделался королем (1377 г.), и который находился под величайшим влиянием своего сильного дяди.

2. Лолларды.

Еретическое движение не ограничилось господствующими классами. Борьба против папства вскрыла все общественные противоречия того времени. В общей борьбе против национального врага, французского папы, различные классы боролись и за свои особенные интересы, которые раньше или позже должны были притти во взаимное столкновение. Католические писатели с удовольствием отмечают то явление, что в каждом реформаторском движении раньше или позже выступал внутренний раскол и начиналась ожесточенная борьба между реформаторами церкви; в этом они видят доказательство, что реформация была делом дьявола. Впрочем, мы тоже думаем, что Духу Святому до этого было мало касательства.

При таких условиях ересь бегардов, или, как говорят англичане, *лоллардов*, процветала.

Мы видели, как расцвет шерстяной промышленности в Нидерландах пробудил в городах различных стран Европы требование мер для развития этой промышленности и повел к тому, что фламандских ткачей привлекали в отдаленнейшие части Европы.

Совершенно естественно, что первые усилия для насаждения фламандской промышленности были сделаны соседней с Нидерландами Англией, которая поддерживала с ними оживленнейшие торговые сношения и доставляла тонкий

сырой материал, на котором главным образом и основывалось превосходство тканей Фландрии и Брабанта.

Уже при Генрихе III были сделаны опыты государственного содействия шерстяной промышленности. В 1261 году был издан закон, запрещавший вывоз шерсти и ношение сукон, произведенных не в Англии, а за границей. Но скоро пришлось отменить и этот запрет и его повторение 1271 года: в свободном вывозе шерсти, как мы уже видели, были самым непосредственным образом заинтересованы лэндлорды и купцы; а им принадлежало в Англии решающее значение. Король Эдуард III в своей политике избрал другой путь. Указом 1331 года он предложил фламандским ткачам, красильщикам и валяльщикам переселиться в Англию. Многие последовали приглашению; а несколько лет спустя за ними последовали другие—из Зеландии и Брабанта [1]).

Уже во второй половине XIV века мы встречаем в Англии сильно развитую шерстяную промышленность, преимущественно в графстве *Норфольк*ском и его главном городе *Норвич*. Стоит отметить, что, именно, этот город сделался главным центром лоллардов.

Возможно, что с фламандскими ткачами в Англию вступали и фламандские бегарды. Это предположение кажется тем вероятнее, что на переселение соблазнялись беднейшие из ткачей, следовательно, те самые элементы, которые в Нидерландах доставляли главные массы последователей бегардов.

Фуллер в своей истории церкви очень наглядно описывает уловки, при помощи которых нидерландские ткачи заманивались в Англию. „Не возбуждающие подозрений эмиссары были посланы нашим королем в ту страну; они вкрадывались в доверие таких нидерландцев, которые были полными хозяевами в своем ремесле, но не хозяевами над самими собою, а наемными рабочими или учениками. Они изливались в жалобах по поводу рабства этих бедных людей, к которым мастера относились больше по-языčески, чем по-христиански, скорее как к лошадям, чем как к людям. Рано

[1]) *Geo L. Craik*, The History of British Commerce, I, стр. 128, 148

с постели и поздно в постель, целые дни за тяжелой работой, скудное продовольствие—пара селедок и сухой сыр,— все это только затемъ, чтобы обогатить негодяев, их мастеров, не получая для себя лично ни малейшей выгоды... Как были бы они счастливы, если бы отправились в Англию и принесли с собой свое ремесло (mystery), которое обеспечило бы им повсюду сердечный прием. Там, говорили им, они могли бы есть мяса и баранины сколько хотят, только бы не лопнуть от этого... Счастлив землевладелец (yeomen), в дом которого войдет такой нидерландец, принося с собою ремесло и богатство. Как чужой вступит он в дом, но только для того, чтобы покинуть его женихом или зятем" и т. д. [1]).

Неудивительно, что посланные короля имели успех у фламандских пролетариев. Но точно так же понятно, что, бесстыдно обманутые в своих ожиданиях, пролетарии тем теснее сживались с бегардскими идеалами, которые они принесли со своей родины. Возможно, что они первые начали в Англии коммунистическую агитацию; во всяком случае они представляли самую прочную опору для такой агитации. *Норфольк*, центр шерстяной промышленности сделался центром *лоллардской ереси*. Это графство, говорит Роджерс, доставило, вероятно, больше мучеников-лоллардов, чем вся остальная Англия [2]).

Агитаторы лоллардов, называвшиеся *„бедными братьями"* или *„бедными священниками"*, из Норфолька расходились по всей Англии и проповедовали евангелие первоначального христианства: свободы, равенства и братства. Легкость передвижений по Англии того времени значительно облегчала их агитацию. Обычай гостеприимства господствовал еще повсюду, особенно в многочисленных монастырях; путешественник мог быть уверен, что получит приют и пищу; дороги отличались большой безопасностью.

Только со времени реформации XVI века и следовавших за нею экономических перемен: уничтожения монастырей,

---

[1]) *Fuller*, Church History, III, стр. 9; цитировано по *Cunningham*, The growth of English Industry, I, стр. 284.

[2]) *T. Роджерс*, История труда и заработной платы в Англии с XIII по XIX век. С.-Пб. 1899, стр. 98, 205, 219.

экспроприации крестьян, создания массового пролетариата, из которого выходили многочисленные бродяги и придорожные разбойники,—только с этого времени поездки по Англии стали делом трудным, дорогим и полным опасностей; положение не изменялось до XVIII века (*Т. Роджерс*, op. cit., стр. 94, 100, 105 и др. Ср. также *Thorold Rogers*, A History of Agriculture and Prices in England. Оксфорд 1866. Стр. 95 и сл.).

Девизом лоллардов в известном смысле сделалась народная песенка:

„Когда Адам пахал, а Ева пряла,
Кто был там дворянин?"

Выдающимся представителем их был Джон Болл, по всей вероятности францисканец строгого направления, которое уже много раз встречалось нам в дружеских и союзнических отношениях с бегардами. Можно думать, что францисканцы строгого направления и вообще составляли сильный элемент в лоллардском движении. *Уольсингэм*, монах из монастыря св. Эльбэнса, который жил в XIV веке и описал свое время, обнаруживает большое ожесточение против нищенствующих монахов: в одно и то же время они, по словам Уольсингэма, возмущают народ и льстят господствующим классам, чтобы эксплуатировать и тех и других.

Уольсингэм исследовал, в чем лежат причины общественных неурядиц, и пришел к таким заключениям: „Мне кажется, что злые времена следует приписать грехам всех обывателей этой страны, не исключая и *нищенствующих орденов*. Последние забыли свои обеты и не помнят целей, для которых они были основаны. Ибо их основатели, люди высокой святости, хотели, чтобы они оставались бедными и свободными от всякой светской собственности и, благодаря этому, всегда могли бы сказать истину, не опасаясь за свои имущества. Но, полные зависти к собственникам, они снисходительны ко всем поступлениям господствующих, и в то же время сеют заблуждения в простом народе и возвеличивают грехи тех и других. Они, отрекшиеся от собственности и давшие обет вечной бедности, об'являют хорошее дурным и дурное хорошим—для того, чтобы приобрести имения и накопить денег: они лестью проводят

князей, ложью—народ, и народ и князей совращая с пути истинного" [1].

Так как несколько трудно одновременно льстить народу и князьям, то мы, конечно, можем предположить, что Уольсингэм имеет здесь в виду два направления нищенствующих монахов: вожделеющее о собственности, которое льстило знатным, и враждебное собственности, которое „подстрекало" народ.

В самом деле, нищенствующие монахи, особенно францисканцы, пользовались большой любовью у эксплуатируемых классов. При восстании 1381 года, к которому мы сейчас перейдем, разрушены были многие дворцы и, наоборот, пощажены монастыри нищенствующих монахов. Джек Строу, один из предводителей восставших, об'явил, что нищенствующие монахи—единственные духовные, которых следует пощадить [2].

Можно думать, что Джон Болл вышел из рядов этих монахов. *Фруассар*, современник Болла, называет его „сумасшедшим священником из Кента" [3]. Однако он проповедывал преимущественно в Эссексе и Норфольке. Его агитация началась около 1356 года и скоро привлекла внимание духовных и светских властей. Архиепископ Кентерберийский и епископ Норвичский отлучили его от церкви, Эдуард III приказал арестовать его (вероятно, в 1366 году). Выпущенный на свободу, он снова начал свою проповедь. Так как со времени отлучения он уже не мог пользоваться храмами, он проповедовал на площадях и церковных дворах. Фруассар (в указанном выше месте) передал нам одну из речей Болла, за подлинность которой мы, конечно, не можем ручаться. Эта речь такова: „Возлюбленные мои, дела в Англии не пойдут лучше, пока все не сделается общею собственностью и пока не исчезнут как вассалы, так и дво-

---

[1]) *Thomas Walsingham*. Historia Anglicana. Изд. Riley, Лондон 1873, стр. 13.

[2]) Ср. *Lechler*, J. Wiclif und die Vorgeschichte der Reformation, II, стр. 228, и *Walsingham*, op. cit., II, стр. 9.

[3] Histoire et chronique memorable de Messire Jehan Froissart. Париж 1578 (изд. Denis Sauvage de Fontmaille en Brie), II, стр. 122.

ряне; пока все мы не сделаемся равными и господа такими же, как мы. Как они относятся к нам? Почему они держат нас в рабстве? Все мы происходим от одних и тех же родителей, от Адама и Евы. Как господа могут доказать, что они лучше, чем мы? Разве тем, что мы добываем и обрабатываем то, что они истребляют? Они носят бархат, шелк и меха, а мы одеты в жалкую холстину. У них вина, пряности и пирожное, у нас отруби, и пьем мы только воду. Их доля—безделье в великолепных замках, наша—заботы и труд, дождь и ветер в поле; и однако из нашей-то работы и извлекают они свою пышность. Нас называют холопами и бьют нас, если мы не без замедления предлагаем им свои услуги; и нет у нас короля, который хотел бы выслушать нас или помочь нам добиться своих прав. Но наш король молод; пойдем к нему, изобразим ему наше рабство и покажем, что ему должен быть положен конец,—иначе мы сами найдем средство для выхода. Если мы вместе пойдем к королю, за нами последуют, чтобы получить свободу, все, кого называют холопами и держат в рабстве. Когда король увидит нас, он добровольно кое-что предоставит нам, иначе мы поможем себе другим способом".—„Так говорил Болл",—прибавляет к этому придворный Фруассар. „Архиепископ приказал заточить его на несколько месяцев. Было бы лучше, если бы он умертвил Болла".

Однако это испытанное средство едва ли оказало бы значительную помощь: Болл был только один из многих агитаторов, которые действовали в том же смысле, но имена которых до нас не дошли.

Мощный толчек получило движение лоллардов, когда выступил Виклеф (около 1360 г.). Сам Виклеф был чем угодно, но только не коммунистом. Он опирался преимущественно на высшее дворянство, которое стояло во враждебных отношениях к низшим классам народа. Но он не мог возвестить войну против высшей из тогдашних властей, не приводя в возбуждение всей народной массы и не делая ее более доступной для новых идей. И дворянство в течение некоторого времени не без удовольствия принимало содействие низших классов в борьбе против Рима.

Но скоро новый союзник оказался не только неудобным, но и опасным: движение лоллардов выросло в мощную силу, слившись с восстанием крестьянства, самого воинственного и сильного из трудящихся классов того времени. Произошло то же, что мы уже видели в восстании Дольчино и увидим в гусситском движении и в великой крестьянской войне в Германии.

3. Крестьянская война 1381 года.

Выше, при изложении восстания Дольчино (стр. 183 и слл.), мы уже указывали на тот факт, что с XIII по XV век положение крестьян, в общем, улучшалось. *Во Франции* Столетняя война превратила эту тенденцию в ее противоположность. Она предала несчастных крестьян этой страны разбойничьим грабежам английских войск. И в то же время французское рыцарство, потерпевшее поражение, должно было ограничиваться выжиманием соков из крестьянства и слабейших городов исключительно собственной страны. Нищета крестьян дошла до ужасающих размеров и в результате привела весь Иль-де-Франс (он далеко простирается вокруг Парижа, к северо-востоку от него и до теперешней бельгийской границы) к взрыву отчаяния, к так называемым *жакериям* (май 1358 г.) [1]. В виду восстания изголодавшихся крестьян внезапно исчез национальный антагонизм между англичанами и французами, как, почти 200 лет спустя, во время крестьянской войны в Германии исчез религиозный антагонизм между католиками и лютеранами. Рыцарство обоих стран соединенными силами легко потопило восстание в ужасных потоках крови. Исход мятежа был решен в городе Мо, который принадлежал тогда англичанам; горожане впустили в город полчища крестьян, численностью до 9.000 человек. *Шестьдесят* (!) рыцарей поспешили сюда, обрушились на безоружных крестьян, и рубили их, как овец. Они продолжали резню, пока это им не наскучило (et en occirent tant qu'ils en estoient tous ennuyez). Они убили тогда *более семи тысяч* человек. Потом они

[1]) Жак, Яков,—насмешливое прозвище французских крестьян.

подожгли город Мо и спалили его со всеми обывателями, потому что те держали сторону „жаков". С того времени восстание было сломлено: возмутившиеся крестьяне повсюду избивались немилосердно.

Фруассар повествует об этом с большим удовольствием, хотя незадолго перед тем возмущался свыше всякой меры по тому поводу, что и некоторым дворянам не лучше пришлось от крестьян.

Результатом было еще большее порабощение деревенского населения Франции.

В сходных чертах изображают обыкновенно и восстание английских крестьян, происшедшее двумя десятилетиями позже. Но, по нашему мнению, можно считать вполне доказанным [1]), что крестьянская война в Англии носила совершенно иной характер.

В Англии война не только не уничтожила, но, наоборот, усилила общую тенденцию времени—к улучшению положения крестьян. Крепостное право начало исчезать, личные повинности, которые приходилось исполнять крепостным, заменялись денежными оброками. Благодаря этому перед крупными лэндлордами выступила необходимость заменить труд крепостных *трудом наемных рабочих*. Но в XIV веке еще не могло быть и речи о значительном численностью деревенском пролетариате. „Земледельческие наемные рабочие состояли частью из крестьян, которые употребляли свое свободное время на работы у крупных землевладельцев, частью из самостоятельного, как относительно, так и абсолютно малочисленного класса собственно наемных рабочих. Но и последние фактически были в то же время крестьянами с собственным хозяйством, так как они кроме платы получали коттэдж с 4 и более акрами земли. Кроме того они, наравне с собственно крестьянами, пользовались общинной землей, где пасся их скот и где они собирали топливо: дрова, торф и т. д." [2]). Такое положение имело то неприятное для лэндлорда (или арендатора его хозяй-

---

[1]) *Роджерсом* в уже упомянутых работах.

[2]) *К. Маркс,* Капитал. Том I.

ства) последствие, что ему приходилось платить очень высокие заработные платы; это приносило не малый ущерб для земельной ренты, и в результате значительная часть низшего дворянства разорилась.

Лэндлордам пришлось еще хуже после великой чумы, которая, разразившись в 1348 году над всей Европой, с некоторыми промежутками свирепствовала в течение двух десятилетий и для всей Европы обошлась, вероятно, более чем в 25 миллионов человеческих жизней. Эта чума во Франции увеличила нищету деревенского населения, а в Англии ускорила улучшение его положения.

Чума, несомненно, обладала благодетельным свойством, которое обнаруживается при различных эпидемиях и в новейшее время: она свирепствовала преимущественно среди беднейших классов и щадила более богатых [1]). Но в то время цивилизация еще не зашла настолько далеко вперед, чтобы по улицам и повсюду бродили многочисленные незанятые рабочие силы. Эпидемии, щадя жизнь богачей, больно поражали их жизненный нерв, их денежные мешки. После чумы заработная плата с чрезвычайной быстротой пошла в гору; таким образом создалось положение, совершенно невыносимое,—разумеется, для землевладельцев. Поэтому уже в 1349 году явился указ короля Эдуарда III, который обязывает каждого земледельческого рабочего (labourer) и слугу (labourer) работать, когда ему предлагают работу, и работать притом за определенную заработную плату и в течение определенного рабочего времени. Уплативший более

---

[1]) „Сообщают, что в Англии тяжесть эпидемии обрушилась на бедных, а высшие классы были менее затронуты ею“ (*Thorold Rogers*, History of Agriculture etc., I, стр. 295). „Почти невероятными представляются данные о тех опустошениях, которые произвела эта чума: напр., в Венеции от нее умерло, вероятно, до 100,000, в Любеке до 90,000, в Страсбурге 16,000 человек, в Вене в один день было свыше 900 смертных случаев; говорят, что во многих местах было вырвано до девяти десятых населения. *Однако, этот жребий выпадал в большинстве случаев только на долю беднейших классов, и,* напр., неизвестно случая, чтобы какой-нибудь государь умер от этой болезни“ (*Fr. Palacky*, Geschichte von Böhmen, II, 2, стр. 303).

высокую заработную плату, равно как и получивший таковую, подвергается наказанию.

Однако этот закон для охраны землевладельцев, вводящий максимальную заработную плату и минимальный рабочий день, не достиг своей цели; такая же судьба постигла и его продолжения 1350 и 1360 годов. Дело в том, что закон не способен был создать определенное количество пролетариев, которые были бы вынуждены определять цену рабочей силы в соответствии с потребностями лэндлордов.

Война с Францией превратила многих рабочих в солдат-наемников, что еще больше обостряло для землевладельцев рабочий вопрос. Но с другой стороны, это самое „бедственное положение" землевладельцев являлось для них побуждением покрывать дефицит в своей кассе посредством хорошо оплачиваемой военной службы и все новых и новых грабежей во Франции. Бедственное положение лэндлордов, несомненно, было одной из главных причин, почему война с Францией растянулась до безконечности; по той же причине, когда известное восстание, связанное с именем Орлеанской девы, мощным напряжением сил изгнало англичан из Франции, английские дворяне начали терзать друг друга в бесконечных убийствах и грабежах, в тридцатилетней гражданской войне Алой и Белой Розы.

То же самое „бедственное положение" должно было сделать в высшей степени популярными у лэндлордов идеи Виклефа о реформации, т.-е. по-просту то требование, что церковные имущества должны быть конфискованы в пользу лэндлордов.

Законодательство не могло разрешить „рабочий вопрос"; и вот землевладельцы пытались разрешить его другим способом, при помощи открытого насилия. Они начали восстановлять старые отношения крепостничества, заменять наемный труд принудительным крестьянским трудом.

Ожесточение на обоих сторонах все возрастало. Настроение крестьян создавало плодотворную почву для проповеди лоллардских агитаторов. Конечно, у крестьян были совершенно иные интересы, чем у неимущих городских классов; но у них были одни и те же враги и одна и та же

ближайшая цель: отразить нападения богатых, извергнуть их государственных людей. И, хотя одни под богатыми разумели преимущественно лэндлордов, а другие преимущественно купцов, это было совершенно безразлично.

Конечно, благодаря союзу крестьян с низшими классами городов, лоллардское движение утратило свою определенность; оно перестало быть коммунистическим движением и превратилось в демократическое оппозиционное движение, об'единявшее многоразличные направления. Но утратив определенность, движение необыкновенно выиграло в силе.

Крестьяне начали организоваться, чтобы оказать лэндлордам сопротивление. Сообщают, что они составляли союзы и собирали деньги, чтобы добыть средства для защиты своих интересов. *Г. Роджерс*, который очень много сделал для выяснения этого движения и которому мы очень многим обязаны при составлении нашего очерка, полагает, что организаторами его были преимущественно „бедные священники" лоллардов; они внесли в движение единство и связность.

К началу царствования Ричарда II антагонизм между крестьянами и лэндлордами обострился до крайности. В последние годы Эдуарда III военное счастье изменило англичанам. В 1374 году они должны были согласиться на перемирие, которое доставило им только некоторые передовые укрепления Франции: Кале, Бордо, Байонну. Когда Ричард сделался королем, ему было всего одиннадцать лет. При таком короле нельзя было вести большую войну. С другой стороны, Франция была слишком истощена для того, чтобы использовать благоприятное положение. Конечно, перемирие прерывалось, но дело доходило только до незначительных стычек. Английскому дворянству теперь приходилось рассчитывать исключительно на свои имения, как на источник доходов; оно могло направить все свои силы на обдиранье крестьян.

Но если возрастали насилия дворянства, то, с другой стороны, прекращение войны возвратило к плугу многих недавних наемников, увеличило число привычных к войне крестьян и таким образом повысило силу их сопротивления.

Неудивительно, что между враждебными классами скоро произошло кровавое столкновение.

Крестьяне были вынуждены к восстанию, потому что власти стали принимать меры против демократического движения и с величайшей суровостью преследовали лоллардских агитаторов,—разумеется, и Джона Болла в том числе; архиепископ Кэнтерберийский приказал бросить его в мэйдстонскую тюрьму. Как говорят, Болл при задержании объявил, что 20,000 друзей скоро освободят его. Пророчество исполнилось.

Обыкновенно излагают дело так, как будто крестьянское восстание вспыхнуло по чисто случайному поводу: один сборщик податей обесчестил дочь Уота Тайлера (т. е. Вальтера, обжигальщика черепицы или кровельщика); тот решил отомстить, убил чиновника и призвал народ противопоставить силе силу.

Но в действительности движение началось в различных пунктах одновременно, 10 июня 1381 года. Наиболее важным было восстание в *Норфольке*, центре ткацкого дела, и в Кенте, где крепостное право уже совершенно исчезло. Предводителями кентского восстания были *Уот Тайлер* и одно духовное лицо, по имени *Джек Строу*. Тайлер принимал участие в походах против Франции и приобрел основательную опытность в военном деле. Инсургенты направились на Лондон, дорогою освободили из тюрьмы Джона Болла и потом расположились лагерем на Блэкгите („Черной равнине"), перед Лондоном. Они требовали, чтобы к ним явился король. Ричард переплыл на корабле Темзу, но не решился причалить к берегу и, ничего не сделав, возвратился назад. Крестьяне вторглись (12 июня) в город, ворота которого держали открытыми перед ними их городские товарищи. Нисшие классы столицы соединились с крестьянами, и месть инсургентов обрушилась на дворцы их угнетателей, так как восставшие не могли добраться до самих господ. Они сожгли между прочим и дворец герцога Ланкастерского, которого ненавидели больше всего. Но они не занимались грабежом, и „если они накрывали кого-ни-

будь на воровстве, то обезглавливали, как люди, которые ничего не ненавидят так, как воровство“ [1]).

Юный, едва пятнадцатилетний король со своими советниками, несколькими дворянами и архиепископом Кэнтерберийским, бежал в Тоуэр. Тщетно Уольворт, лорд-мер Лондона, советовал ему напасть на мятежников, утверждая, что богатые граждане Лондона соединились бы с войском короля. Граф Сольсбери указал, что все было бы потеряно, если-бы король потерпел поражение в битве с инсургентами; это мнение взяло верх, хотя король располагал 8,000 хорошо вооруженных людей. Страх перед крестьянами парализовал опытных военных людей. Не удалось победить восстание военной силой,—король решился вступить в переговоры. Это—совсем не та картина, какую представляет нам жакерия во Франции.

У Ричарда были все основания к уступчивости, потому что инсургенты взяли приступом (14 июня) замок Тоуэр и умертвили архиепископа, того самого, который приказал заключить в тюрьму Джона Болла, равно как и других своих гонителей, которые попались им в руки.

Король незадолго перед осадою покинул Тоуэр и отправился в Майль-Энд для переговоров с мятежниками. Они объявили, что хотят быть свободными на веки крестьянами, и что их свобода должна получить письменное засвидетельствование. Они требовали дальше уничтожения привилегий дворянства на охоту и рыбную ловлю и тому подобных уступок. Король согласился на все требования и заявил о своей готовности приказать, чтобы немедленно были выданы необходимые документы. Изготовление документов поручили тридцати писарям.

Таким образом крестьяне достигли, чего они хотели. Массы их разошлись по домам. Возможно, что они разбрелись отчасти и по недостатку провианта. Они принесли с собой лишь незначительные запасы; согласно Фруассару, уже на Блэкгите, перед завоеванием Лондона, по недостатку провизии пришлось поститься четверти пришедших сюда

[1]) *Walsingham*, Historia Anglicana, I, стр. 456

крестьян. Но с Уотом Тайлером, Джеком Строу и Джоном Боллом осталась все-таки бо́льшая часть восставших, чтобы наблюдать за выдачею документов и, может быть, добиться дальнейших уступок.

На следующий день начались новые переговоры. Инсургенты встретили короля с его кавалерией в Смисфильде. Ричард приказал предложить Уоту Тайлеру встретиться с ним между обоими армиями для переговоров; Тайлер согласился.

Во время разговора короля с Тайлером к ним приблизился рыцарь; когда Уот Тайлер протестовал против этого, Ричард приказал арестовать его. Толпа солдат, с уже известным нам лорд-мером Уольвортом во главе, бросилась на Тайлера; проколотый много раз мечами, изменнически преданный Тайлер упал на землю. А Ричард, опытный, несмотря на свою юность, в коварстве и притворстве, подъехал к пораженным изумлением инсургентам и обвинял Уота Тайлера в том, будто тот был предателем и хотел убить его; он, король, сам хочет быть вождем инсургентов, закончил Ричард. Такими разговорами Ричард задерживал восставших, пока не явились вооруженные лондонские горожане. Но и тогда Ричард и его люди не решились вступить в открытую борьбу и удовольствовались только тем, что отрезали мятежников от Лондона и восстановили в этом городе „порядок". Крестьянам передали письма об отпущении на волю, и они разошлись с этими письмами в разные стороны [1]).

В Норфольке восстание окончилось хуже. 11 июня крестьяне под предводительством некоего Джона Литтльстрита овладели Норвичем; но Генрих Спенсер, епископ Норвичский, быстро собрал вокруг себя войско, напал на инсургентов и рассеял их в битве, в которой он многих убил

---

[1]) В этом изложении мы преимущественно держались Уольсингема. Изложение Фруассара является слишком придворно-тенденциозным. Он, как француз, писал на основании слухов, и, по его собственным словам, писал, «чтобы все господа и добрые люди могли поучаться, как исправляют дурных и бунтовщиков». Op. cit., II, стр. 124. Ср. у C. E. Maurice Lives of English Popular Leaders in the Middle Ages. Лондон 1875. II, Tyler, Ball, Oldcastle.

собственной рукой. Он приказал тотчас же казнить пленных, в том числе и Джона Литтльстрита. И здесь благочестивый архиепископ доставил себе удовольствие: он сам явился к Литтльстриту с последними утешениями религии.

Сравнительно мелкие восстания по большей части улеглись сами собою. Когда крестьян привели к спокойствию, Ричард начал раздумывать, как нарушить свое „королевское слово", которое и дано-то было только с целью провести крестьян. Это было тогда очень в моде.

Новейшая дипломатия переживала тогда свой мальчишеский возраст, и ложь, предательства и тайные убийства применялись с меньшими колебаниями, чем позже, когда из опасений народной критики нашли необходимым прикрывать практику дипломатических плутней мантией нравственности. Королевское слово любят представлять, как в особенности непреложное. Но с XIV до XVII века—и даже позже—верность слову и честность вообще считались признаками слабости, неприличествующими сильному государю.

Когда около короля собралось 40-тысячное войско,—„такое войско, какого никогда раньше не видела Англия" (Walsingham),—он сбросил маску и назначил суды для наказания бунтовщиков. Из Эссекса прислали гонцов, чтобы напомнить королю о его обещаниях. Но мальчишка-король, почувствовав себя среди большого войска, расходился настолько, что ответил посланным: „Вы были холопами, холопами и останетесь. Вы должны оставаться в крепостном состоянии, не в таком, как жили до сих пор, а в бесконечно более тяжком: пока мы живем и милостью Божией правим этим государством, мы употребим наш разум, наши силы и наши способности на то, чтобы обращаться с вами с той суровостью, которой вы достойны; да послужит ваше рабство предостережением для грядущих поколений" [1]).

Эта провокация достигла своей цели. Эссекские крестьяне еще раз восстали с оружием в руках, но, предоставленные своим собственным силам,—потому что другие графства оставались спокойными—были подавлены королевскими войсками.

[1]) *Maurice* op. cit., стр. 189, 190.

Повидимому, дело „порядка" торжествовало победу. Но государственные люди Англии не могли скрыть от себя, что они справились с главным восстанием не в открытой борьбе, и что самое страшное для них они отвратили только при помощи лжи, предательского убийства и неожиданного нападения. Таким образом, несмотря на неудачный, повидимому, конец, восстание вовсе не было безрезультатным. Господствующие классы остерегались вполне использовать свою победу, опасаясь вызвать второе восстание всего крестьянского населения. Освобождение английских крестьян из крепостного состояния продолжалось, и к концу XIV века вполне завершилось.

Но вместе с крестьянами в Лондоне и Норвиче восстали и низшие классы народа; они были беззащитнее, чем крестьяне, и месть победителей направилась преимущественно против них. Если нам сообщают, что по окончании восстания творился ужасающий кровавый суд над его вожаками, и из них до 1,500, в том числе Джон Болл и Джек Строу, были подвергнуты смертной казни, то у нас есть основания предположить, что месть разразилась не столько над крестьянами, сколько над их городскими союзниками. В парламентских актах до сих пор сохранились имена 289 осужденных вождей восстания. Из них 151—лондонские жители и 138, следовательно, менее половины, из других городов и из деревень.

Несчастный исход восстания едва ли даже на короткое время задержал дело освобождения крестьян. Но он сыграл роль почти смертельного удара для лоллардского движения и даже для всей оппозиции против папства.

В самом деле, имея за спиною мятежное население, королю и дворянству казалось слишком опасным самим вступать в революционное движение: отречься от папы и конфисковать церковные имущества. Компромисс с папством состоялся тем легче, что оно в это время перестало быть орудием исключительно французской политики. В 1378 году начался великий церковный раскол, о котором нам еще придется говорить. Мир получил разом двух пап: *французского* и анти-французского, или *римского*, которого поддерживали Германия и Англия.

Идеологи-историки протестантизма стремятся убедить нас, что движение к реформе церкви было результатом нравственного негодования на падение папства; но если бы это действительно было так, тогда движение, связанное с именем Виклефа, должно бы достигнуть своего высшего уровня именно в эпоху церковного раскола, потому что в это время папство пало до самого низкого уровня. На самом деле ход истории определяется классовыми интересами и классовою борьбой, а с 1381 года интересы господствующих классов Англии противоречили стремлениям Виклефа. Конечно, ни он, ни его благожелатели не стояли ни в какой связи с мятежниками 1381 года; напротив, как мы видели, Иоанн Ланкастерский, покровитель Виклефа, навлек на себя величайшую ненависть инсургентов. Но тем не менее учение Виклефа оказалось более революционным, чем это допускалось интересами господствующих классов Англии. Уже в 1382 году синод в Лондоне проклял 24 положения Виклефа, как еретические. В том же году парламент особым законом повелел светским судам поддерживать духовные. Виклефу нисколько не помогло изданное им в 1382 году сочинение, „De blasphemia", в котором он порицал крестьянское восстание. Даже его постоянный покровитель, герцог Ланкастерский, теперь обратился против него. Виклеф был смещен со своей преподавательской должности в Оксфордском университете, лишен своего сана и должен был возвратиться в Лоттрвортский приход, где и умер в 1384 году.

Лоллардам пришлось хуже, чем Виклефу. Со времени восстания крестьян, в котором так мощно проявилась деятельность лоллардских агитаторов, каждого выслеженного лолларда с самого начала выдавали за государственного преступника, который должен быть предан сожжению. Такая же эра преследований, как в Германии начиная с Карла IV, открылась теперь для лоллардов и в Англии. Правда, справиться с ними не удалось; но и лолларды не могли вновь достигнуть того значения, какое они имели в 1360—1381 годах. Теперь в Англии, как и в Германии, они были способны только дать бесконечный ряд мучеников.

Восстание 1381 года отразилось и за границей, и повсюду возродило гонения на бегардов и вальденцев. К концу XIV века у них не осталось пристанища, в котором они могли бы чувствовать себя в безопасности. Но среди величайшей скорби для гонимых и попираемых внезапно наступило время торжества, которое чудесно показало им, как „в слабых может обнаруживаться величие Божие". *Гусситские войны в Богемии* открыли для коммунистических стремлений героическую эпоху, которую можно сравнить с той эпохой великой французкой революции, которая начинается 1793 годом.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Таборитъ.

1. Великий церковный расколъ.

Успех движения, связанного с именем Виклефа, был серьезным предостережением для папства. Если бы папы по-прежнему остались орудием Франции, это подвергло бы опасности их положение во всей Европе. Поэтому папы начинают страстно стремиться к возврату из Авиньона, из французского пленения, в Рим, где они меньше зависели бы от французских влияний.

Движение виклефитов показало папам, насколько шатко их положение, как церковных государей. Это движение показало им, что они должны искать прочной опоры в светском господстве. Церкви в Англии, Франции и в Испании (Кастилия и Арагония) все решительнее высвобождались из-под папского господства и эксплуатации и все больше подпадали господству и эксплуатации сюзеренов; тем важнее для пап становилось наряду с господством над миром господство над их собственным светским государством, над так называемым церковным государством. А это, в свою очередь, делало настоятельно необходимым присутствие пап в Риме.

Если у пап были все основания вздыхать по Риме, то итальянцы с своей стороны начали вздыхать по папам. „Вавилонское пленение“ пап—так они называли пребывание пап в Авиньоне—ясно показало им, насколько важно для Италии пребывание пап в церковном государстве, и какой вред наносится ему, особенно Риму, который стал быстро падать, отсутствием пап.

Петрарка нашел величественные выражения для страстных требований возвращения пап в Италию. Яркими красками изображал он в своих стихотворениях и письмах, как со времени переселения святого Престола дворцы пап и алтари святых в Риме впадают в бедность и запустение, как падает вечный город подобно женщине, покинутой мужем, и как облака, скопившиеся над семью холмами, рассеялись бы, если бы здесь присутствовал законный повелитель. Папы приобрели бы вечную славу, Рим — счастье, Италия—мир, если бы папа отважился избавиться от французского пленения. Напротив, в Авиньоне папство неизбежно должно задохнуться в роскоши и пороках и навлечь на себя ненависть и презрение целого мира.

Петрарка очень хорошо знал порочную жизнь папского двора, потому что он пятнадцать лет (между 1326 и 1253 годами) прожил в Авиньоне. О его ненависти к Авиньону говорит, между прочим, следующий сонет, посвященный этому городу:

„Пусть небесные громы разразятся над твоей головой полной обманов! Ты, питаясь тем, что твои богатства проистекают из бедности других, разбогател бесконечными злодействами. Гнездо измен, порождающее проклятия, отравившее мир своим ядом, наполненное пьяницами, обжорами, распутством, позорными примерами всяких низких вожделений. По твоим залам бродят неисчислимые толпы ведьм, старых и молодых. Вельзевул танцует под орган, среди зеркал и огней. Теперь ты показываешься только в пышном облачении, хотя должен бы нагой и босой итти по терниям. Зловоние от тебя поднимается к небу, проклятие Божие над тобой!“

Никто не бичевал папство с большей суровостью, чем Петрарка; но при этом Петрарка хотел не ослабить папство и *не* повредить ему, а заманить пап в Италию. По его мнению, развратность папской курии вытекала не из того, что она самым бесстыдным образом эксплуатировала мир, а из того, что она потребляла плоды эксплуатации в Авиньоне, а не в Риме. Нравственное здоровье пап разрушено авиньонским климатом. Возвратившись в Рим, они тотчас же выздоровеют.

Так экономические причины, с которыми мы уже познакомились выше, привязывали к папству итальянцев того времени; но в том же направлении действовали и политические мотивы.

Пробуждение национального самосознания стоит в самой тесной связи с развитием товарного производства. Когда последнее достигает той ступени развития, на которой оно начинает переходить в капиталистическое, его интересы и прежде всего интересы капиталистов требуют национального, по возможности централизованного государства, которое обеспечило бы капиталистам внутренний, национальный рынок и завоевало бы им свободу движений на мировом рынке. С полной ясностью это явление выступило только в XVII веке, но зародыши современного национального самосознания можно проследить до XIV века; впрочем, тогда оно выступало лишь в тех случаях, когда его пробуждали особые обстоятельства, и еще далеко не достигало силы всеобщего инстинкта.

Раньше всего проявилось национальное самосознание в Италии, которая достигла такого высокого уровня развития. В XIV веке эта страна испытывала настоятельнейшую нужду в объединении, в сплочении ее сил под общим правительством: только тогда прекратились бы вечные войны мелких государств между собою, только тогда наступило бы господство спокойствия и порядка, этих основ гражданского благосостояния, только тогда Италии не угрожала бы опасность сделаться добычей иностранцев, что с нею в действительности случилось и продолжалось до XIX века.

Но папство было единственной силой, которая, казалось, в состоянии объединить Италию и получить верховную власть над различными суверенами. Тем настойчивее всякий дальновидный патриот требовал возвращения пап из Авиньона.

Ко всему этому присоединилось поражение Франции в войне с Англией: благодаря этому вражда Франции казалась менее опасной.

Таким образом со времени выступления виклефитского движения в папских кругах все серьезнее останавливались

на мысли о возвращении пап в Рим. Урбан V сделал первую попытку бежать из Авиньона. Не обращая внимания на протесты Карла V, короля Франции, и кардиналов, большинство которых были креатурами Франции, Урбан в мае 1367 года сел в Марселе на корабль и через Геную прибыл в Рим, который встретил его с величайшим восторгом. Но уже в 1370 году французские кардиналы взяли верх; в Авиньоне они проводили время с большею приятностью (Гиббон утверждает, что они больше всего заботились о бургундском вине, которого они не могли бы достать в Италии), и папа возвратился в Авиньон.

Вторую попытку в 1376 году сделал Григорий XI. Он оставался в Риме до самой своей смерти (1378 г.). Римский народ опасался, что французские кардиналы снова выберут в папы друга французов. Он поднялся с оружием в руках, окружил конклав и, восклицая: „смерть или итальянский папа!“ вынудил кардиналов избрать итальянца, Урбана VI. Но французские кардиналы покинули Рим, как только явилась возможность, объявили выборы вынужденными и избрали нового папу, Климента VII.

Так возник великий церковный раскол. Мы подробно говорили о его причинах, потому что он сыграл важную роль в истории папства, а, следовательно, и еретических сект.

Разом пара пап—это не было чем-то неслыханным. Ново было только одно,—что оба папы получили национальный характер. Одного поддерживали Франция и Испания, другого, итальянского, Германия и Англия. Позже на ряду с этими двумя папами явился и третий, которого признавали почти только одни испанцы. Следовательно, уже этот церковный раскол был прелюдией распадения католического христианства на национальные церкви. Здесь дело было не в догмах и не в чисто личных стремлениях, а в национальных, в политических противоречиях.

Началась яростная борьба враждующих пап между собою; ни один из них или из их преемников не получал перевеса над остальными. Церковь потеряла всякую сплоченность; то же угрожало и всему обществу, которому как раз тогда грозила вспышка самых острых общественных противоречий,

как показали жакерия во Франции и восстание крестьян в Англии. Следовательно, необходимо было положить конец безобразиям и вновь организовать церковь, или, как говорили, „реформировать ее в главе и членах“. Папство обнаружило полную несостоятельность, и потому другие власти должны были позаботиться о разрешении важной задачи. Был созван ряд интернациональных конгрессов, так называемых церковных соборов, на которых делегатам светских государей предоставлялось участвовать на равных правах с делегатами различных церковных организаций.

На Констанцском соборе 1417 года папа Мартин V, которого избрали на место враждующих пап, и с избранием которого закончился церковный раскол, был выбран не просто кардиналами, но особой коллегией, в которой рядом с 23 кардиналами заседали 30 делегатов пяти христианских наций: итальянцев, немцев, французов, испанцев и англичан.

Папство, как оно вышло из этих соборов, низко упало по сравнению с тем, которое некогда победило Гогенштауфенов. Правда, папы теперь менее подавлялись влиянием отдельных наций, чем авиньонские, но зато уменьшилось и их влияние на отдельные нации. Возникли национальные церкви, которые подчинялись светским государям. С последними папам приходилось отныне разделять господство и добычу, если они не хотели совершенно лишиться того и другого; особые государственные договоры (конкордаты или прагматические санкции) все более ограничивали папскую долю и все точнее определяли ее.

Так было во Франции, Англии и в Испании. В Италии римская церковь с самого начала была национальной церковью.

В эпоху соборов только Германская империя не могла создать национальную церковь. Ее раздробленность была слишком велика для того, чтобы она могла ввести в тесные рамки господство папы над германской церковью и регулировать эксплуатацию последней. С этого времени Германия превратилась в главный объект папского господства и алчности и должна была оставаться таковым еще в течение целого столетия.

Но одна составная часть Германской империи заняла исключительное положение; это—*королевство Богемия*.

2. Общественные отношения в Богемии перед гусситскими войнами.

Ни в какой другой стране XIV века, за исключением, может быть, Англии, экономическое развитие не совершалось с такой быстротой, как в Богемии. В Англии его особенно ускоряли торговля шерстью и счастливые грабительские походы во Францию; в Богемии такую же роль играли ее серебряные рудники, среди которых на первый план выдвигался куттенбергский. Он был открыт в 1237 году и с этого момента до XV века был, пожалуй, богатейшим серебряным рудником во всей Европе. В начале XIV века ежегодная добыча серебра в руднике составляла почти 100,000 марок (1 марка=1/2 фунта). На различных реках Богемии, напр., на Молдаве и Лужнике—реке, на которой лежит Табор,—занимались и промывкой золота [1]). На этих рудниках прежде всего основывалось быстрое развитие могущества Богемии и в конечном счете—блеск царствования Оттокара II (1253–1278) и Карла I (он же император Германии Карл IV, 1346—1378 г.г.). Если последний достиг императорского престола, то этим он обязан, наряду с поддержкою папы, главным образом куттенбергским серебряным рудникам, которые доставляли ему необходимые средства для покупки избирательных голосов. Таким же способом, совсем не необычным для того времени, совершилось избрание в германские императоры и его сына Венцеля (Вацлава) [2]).

---

[1]) Aeneas Sylvius Piccolomini de Ortu et Historia Bohemorum. Opera omnia. Базель 1551, стр. 109.

[2]) Согласно Энею Сильвию, Карл обещал тогда курфюрстам по 100,000 гульденов каждому. Но эти цифры оспаривались. Несомненно однако, что курфюрсты Кельнский и Трирский получили по меньшей мере по 40,000 гульденов каждый. Сохранилась квитанция Трирского курфюрста от 12 июля 1376 года. Люди тогда вообще еще не были так предусмотрительны, как хранители вельфского фонда. Вообще люди Средних веков кажутся нам варварами лишь потому, что они открыто предавались порокам цивилизации. Господствующие классы еще не утратили самосознания, слишком сильного для того, чтобы лицемерие могло войти в моду у них. Публично продавались не только голоса, но и церковные

Благодаря доходам Куттенберга, торговля и промышленность, искусства и науки процветали в Богемии, особенно в Праге. Последняя тогда сделалась „Золотой Прагой", покрылась блестящими постройками и основала первый университет в германской имперской области (1348 г.). И католическая церковь не осталась с пустыми руками. У нее, как известно, хороший желудок и тонкое обоняние. Она знает, *где* можно добыть кое-что, но она знает также, и *как* добыть. Монастыри и церкви Богемии стали выдаваться по своим богатствам, особенно при Карле IV, с которым мы уже познакомились, как с „поповским императором".

Архиепископам пражским „принадлежало 17 обширных владений в Богемии, кроме того владение Койетейн в Моравии, Люэ в Баварии и многочисленные поместья меньших размеров. Их двор по блеску часто соперничал с королевским, к их услугам всегда было готово целое войско вассалов". Один капитул собора св. Витта состоял из 300 членов, „*и более сотни деревень* было вполне или отчасти предоставлено членам капитула в качестве бенефиций. Одному только соборному пробсту принадлежало все владение Волльми и около 12-ти меньших поместий" и т. д. (*Palacky*, Geschichte von Böhmen, III, 2, стр. 41). Эней Сильвий, впоследствии папа Пий II, который хорошо знал толк в церковных богатствах, пишет в своей „Истории Богемии": „Я полагаю, что в наше время в целой Европе нет другой страны, в которой можно было бы найти так много и таких величественных, так богато украшенных Божиих домов, как в Богемии. Церкви устремляются к небу... Высокие алтари покрыты золотом и серебром, окружающим мощи святых, одежды священников расшиты жемчугом, все украшения

саны; противник или конкурент побивался на открытом рынке, а не доводился до разорения или самоубийства мирной и законной финансовой спекуляцией; духовные и светские государи открыто жили со своими наложницами (Alice Parrers, любовница Эдуарда III Английского, принимала участие даже в прениях верховных судов); если государь посещал один из своих «добрых и верных городов», навстречу ему высылали городских проституток для его торжественного приема и увеселений. Таковы были обычаи наших «честных предков».

отличаются богатством, утварь драгоценнейшая... И всем этому можно удивляться не только в городах и торговых местах, но даже и в деревнях".

Но чем богаче была церковь Богемии, тем сильнее эксплуатировалась она папами.

За церковью и королем с его придворными по размерам доходов следовали куттенбергские пайщики; в XIV веке это были уже не простые горнорабочие, а пражские и куттенбергские купцы, капиталисты, которые заставляли „подмастерьев" работать вместо себя; горные сокровища доставляли им богатство и влиятельное положение в обществе.

Конечно, развитие товарного производства и товарной торговли должно было вызвать в Богемии такие же явления, как и повсюду. Рядом с великим антагонизмом между папской церковью и массой населения развертывались противоречия между торговцами и потребителями, между мастерами и подмастерьями, между капиталистами и домашними производителями. Все больше должен был обостряться антагонизм между землевладельцами и крестьянами. Этому не противоречит тот факт, что и в Богемии можно проследить общую тенденцию того времени, на причинах и характере которой мы останавливались несколько раз: крестьяне выходят из крепостного состояния, которое заменяется обязанностью уплаты денежного оброка. На границе XIV и XV столетий крепостные отношения фактически исчезли в Богемии. Но здесь, как и в Англии, не было недостатка в попытках помещиков возродить крепостное право. Их настойчивость послужила мощным источником широкого недовольства [1]).

Но, можно думать, самыми недовольными среди недовольных были не крестьяне, а мелкие дворяне. Они едва возвышались над зажиточными крестьянами, так как располагали лишь ограниченными источниками доходов и не обладали силой крупных баронов, необходимой для того, чтобы от обирания крестьян получить сколько-нибудь значительные результаты. С возникновением товарной торговли и товарного производства они быстро потеряли свою старо-

---

[1]) *Palacky*, op. cit., II, 1, стр. 34 и сл.; II, 2, стр. 30; III, 2, стр. 38.

крестьянскую безпритязательность и, по образцу богатых купцов и баронов, начали создавать свой идеал „подобающей званию жизни". К концу XIV века мелкое дворянство быстро падало. Королевская власть была уже достаточно сильной, чтобы помешать развитию рыцарства, живущего от разбоев, — хотя рыцари все еще нередко отваживались на очень смелые предприятия. Принадлежность Богемии к Германской империи не позволяла ей начать выгодную национальную войну, и в результате богемское рыцарство для покрытия своих дефицитов должно было уповать почти исключительно на военную службу в наемных войсках.

Впрочем к этому источнику заработка обращались и крестьяне Богемии подобно крестьянам большинства государств того времени.

Рост производства в серебряных рудниках послужил мощным толчком для развития товарного производства и товарной торговли, а, следовательно, для развития уже упомянутых противоречий; но этим не ограничивалось его значение: его последствием было также явление, которое в особенности обостряло эти противоречия—*революция цен*.

Цена товара есть количество благородного металла — золота или серебра, — на которое можно обменять этот товар. При прочих равных условиях, это количество тем больше, чем меньше стоимость благородного металла, чем меньше труд его добывания. Поэтому открытие и эксплуатация богатых серебряных рудников Богемии должны были вызвать в этой стране такую же революцию обмена, такое же повышение цен всех товаров, какое в Германии конца XV века произошло благодаря горным сокровищам Саксонии и Тироля, а во всей Европе с половины XVI века — благодаря открытию и эксплуатации золотых и серебряных сокровищ Америки. Правда, нам не удалось найти в богемской истории прямых указаний на переворот в ценах; но мы не можем сомневаться, что Богемия XIV века пережила революцию цен,—иначе нам пришлось бы усомниться в справедливости того положения, что при одинаковых условиях одинаковые причины вызывают одинаковые следствия.

Революция цен неодинаково должна была отразиться на

различных общественных классах: одни претерпели от нее вред, другие извлекли пользу; одни были ею только задеты, другие — потрясены до глубины. Но во всех общественных отношениях, обслуживаемых денежными платежами, антагонизм общественных интересов, присущий таковым отношениям, должен был обостряться благодаря повышению цен. При этом больше всего должны были пострадать классы, которые живут доходами в денежной форме и в то же время не обладают достаточной силой, чтобы вынудить соответственное повышение этих доходов. Таковы низшие слои населения, живущего наемным трудом, — в городах, и мелкое дворянство—в деревне.

Но все общественные противоречия превосходило по силе одно великое противоречие: *антагонизм национальностей*. В Богемии, как и в Англии, он совпадал с антагонизмом в церковных делах.

Еще в XIII веке Богемия была очень отсталой страной в экономическом отношении. Ее западные соседи в Германии далеко опередили ее по своему общественному развитию. Блестящий подъем промышленности и торговли, искусств и наук, начавшийся в Богемии с развитием куттенбергских рудников, был возможен только потому, что богемские государи привлекали *из Германии переселенцев*. Больше всего в этом отношении сделали излюбленные монархи патриотов Богемии, Оттокар II и Карл I (в Германии Карл IV); они побуждали к переселению в Богемию немецких крестьян, немецких ремесленников и купцов, немецких художников и ученых.

Куттенберг прежде всего сделался чисто немецким городом, равно как и другие горные города, напр., Дейчброд и Иглау[1]). Кроме того, немцы или основали многочисленные новые города или же составляли в старых такую значительную

---

[1]) С того времени, как немцы снова начали разработку старого рудника в Иглау, и был открыт куттенбергский рудник, «в Богемии», — рассказывает один старый летописец,—«увеличилось число немцев. Благодаря им король (Оттокар II) получил колоссальные сокровища из золотых и серебряных копей, — он, говорят, наполнил золотом и серебром целые башни». (Цит. у *Палацкого*, op. cit., II, 1, стр. 158).

часть населения, что городские советы повсюду попадали в их руки; это совершалось тем легче, что немцы представляли зажиточные слои, — купцов и виднейших ремесленников. Урожденные же чехи являлись простыми ремесленниками, составляли массу поденщиков и др. низших слоев населения в городах [1]).

И пражский университет был в руках немцев. Устроенный по образцу парижского университета, он разделялся на четыре нации. Университет составлял самоуправляющуюся корпорацию, и каждой нации принадлежал один голос в делах управления. Но в то время как в Париже французы фактически располагали *тремя* голосами, потому что четырьмя нациями были *французская, пикардская, нормандская и английская*, в Праге богемцам принадлежал только *один* голос: университет разделялся на богемскую, баварскую, саксонскую и польскую нации, из которых последняя тоже состояла главным образом из немцев (силезцев и т. д.). Это обстоятельство имело известное значение. Университет в те времена был научной и политической силой первого ранга, играл такую же роль, как в наши дни печать и высшие учебные заведения, взятые вместе [2]). Да и рассматриваемый извне, университет был мощною организацией. Университетские постройки с квартирами профессоров и учащихся составляли в Праге, как и в Париже, особую часть города и, вероятно, были окружены даже отдельной стеной [3]), а число учащихся еще к началу XV века доходило до *многих тысяч*.

---

[1]) Палацкий перечисляет важнейшие буржуазные фамилии Праги; они, как показывают их имена, были почти сплошь немцы: Штукк, Вольфлин, Вольфрам, Таузендмарк, цу-ден-Гэнен, фон-Штейн, Пиркнер Тафельрунг, Корнбюль, Эртель и т. д. Op. cit., II, 2, стр. 24.

[2]) Константин Гефер, историк авиньонских пап, как-то сказал, что парижский университет иногда бывал сильнее, чем король Франции. Благодаря этой силе, а не вследствие средневекового принципа «свободы науки», как полагал Лассаль («Наука и рабочие»), университет иногда мог вступать в столкновения с папой и королем и благополучно доводить их до конца. Уже в средневековых университетах ничего не оставалось от этой «свободы науки». Одной из их важнейших задач было выслеживание еретиков.

[3]) *Mautner*. Städteverfassung, II, стр. 37

По относящимся к тому же времени данным, в 1408 году в Праге было 200 докторов и магистров, 500 баккалавров и 36,000 студентов. Как бы ни были преувеличены такие данныя, во всяком случае студенты представляли внушительную силу. В 1409 году, когда немецкие студенты покинули Прагу в *один* день, как сообщает Эней Сильвий в своей „Истории Богемии", выселилось 2.000. Через несколько дней еще 3,000 студентов последовали за ними и основали университет в Лейпциге. С уверенностью можно предположить, что общее число учащихся в университете составляло в то время не менее 10,000 [1]).

С университетом были связаны многочисленные учреждения; пожертвованные имения и постройки для пользования профессоров и беднейших студентов,—государственных окладов и стипендий тогда не существовало. И все богатства, вся сила университета были в руках у немцев. Горько жалуются чехи-магистры, что им приходится голодать учителями в деревнях, между тем как их коллеги-немцы забирают все жирные местечки при университете; и что во всех случаях, когда интересы чешской нации сталкиваются с интересами немецкой, университет неизменно становится на сторону последней.

И в добавление ко всему этому католическая церковь Богемии сделалась учреждением для эксплуатации страны во благо немцев. Бедные священнические места предоставляли, разумеется, чехам. Но монастыри и места высшего светского духовенства были преимущественно в немецких руках. Напр., большинство пражских каноников, о которых мы говорили выше, были немцы. Пражский архиепископ Конрад фон-Вехта, при котором разразилось восстание гусситов, был „немец фанатик из самого мрачного уголка мюнстерской области" (Шлоссер).

Таким образом масса нации — низшие классы городов, низшее духовенство, все деревенское население: крестьяне,

[1]) Некоторые авторы дают прямо невероятные цифры. Так, *Фалькенштейн* в своей «Истории Эрфурта», стр. 290 (цит. Ульльманом, «Reformatoren», etc., I, стр. 246, сообщает: «тогда 40,000 студентов вышли (из Праги) и 20,000 одновременно пришли в «Leibzügen» (Лейпциг).

рыцари и помещики,—повсюду встречалась с немцами, как с эксплуататорами или соперниками в эксплуатации. Борьба против церковной эксплуатации с одной стороны и требование экспроприации церковных имуществ — с другой сливались с борьбой против немецкой эксплуатации и с требованием экспроприации немецких богатств.

Поэтому в Богемии XIV века пробудилось национальное сознание. Но при своем зарождении это сознание в каждой стране принимает разнообразнейшие формы в зависимости от особых условий, которые его вызвали. В Италии и Германии оно вытекало прежде всего из страстного стремления к государственному об'единению наций и привело патриотов первой страны к культу папства, а патриотов второй — к мечтам о крепкой империи. Во Франции и Англии национальное сознание выражалось преимущественно в ненависти к враждебной нации; в Богемии, напротив, оно выступает в форме *классовой ненависти* особого рода.

Может быть, наиболее резкое выражение нашла эта ненависть в одном печатном произведении, которое явилось, правда, после гусситских войн (в 1437 году), но тем не менее верно отражает дух, господствовавший в гусситском движении. Это — „Kratké sebrání Kronik ceskych k wystraze wěrnich Çechůw", — „Краткое собрание чешских хроник в предостережение верным чехам".—„Богемцы",—говорится здесь, — „должны быть настороже и со всяческим рвением заботиться, чтобы не попасть под господство немцев; ибо, как свидетельствуют богемские хроники, эта нация—самый страшный враг богемцев и славян". Эта мысль развивается далее со ссылками на чешские хроники. Карл IV, „конечно, возвысил Богемию, расширил город Прагу и распространил там науки и прочее, но он же покровительствовал немцам везде в государстве. Кто был во всех королевских городах Богемии бургомистрами и ратманами? Немцы. Кто был судьями? Немцы. Где проповедовали немцам? В главных церквах. Где богемцам? На церковных дворах и в домах. И это несомненное доказательство, что он хотел населить Богемию немцами, от которых сам происходил, и постепенно искоренить богемцев; при нем же началось, что

в ратушах хотели выслушивать жалобы не на богемском, а на немецком языке" и т. д. [1]).

После всего сказанного ясно, как этот национальный антагонизм совпадал с церковным. Немцам принадлежали преимущественные права на жирные местечки в рядах светского духовенства, в монастырях, в университете, который в то время был, в сущности, богословским учреждением. Если у чехов были все основания для того, чтобы положить препоны эксплуатации, производимой при помощи церкви, и домогаться церковных имуществ, то, напротив, у немцев были все основания противодействовать подобным стремлениям. Стремления к реформе церкви, которые в XIV веке выступили повсюду, нашли у чехов благоприятную почву; но тем решительнее боролись с ними богемские немцы.

Такова атмосфера, в которой выросло враждебное папе и немцам движение, получившее название гусситского по имени Яна Гусса, своего выдающегося литературного представителя.

3. Начало гусситского движения.

Свои важнейшие аргументы и требования гусситское движение при своем зарождении заимствовало у виклефитов. Когда учения английского реформатора дошли до Богемии, чехи ухватились за них и распространяли их с величайшим рвением. Гусс близко примкнул к Виклефу. Но во всяком случае тот, кто утверждает, что учения Виклефа породили гусситское движение, впадает в сильное преувеличение. Конечно, Виклеф доставил в высшей степени сильные аргументы и оказал влияние на формулировку требований, выставленных гусситами; но причины, источник сил и цели этого движения глубоко коренились в общественных отношениях Богемии; оно было не привозным учением, — его выростила почва Богемии. Это движение нашло себе выразителей уже при Карле IV—Милича из Кремзира и Матвея из Янова; в то время сочинения

---

[1]) У *Палацкого*, op. cit., III, 3, стр. 292, 293.

Виклефа еще не дошли до Богемии,—это произошло только в последние годы жизни лоттеруорского священника (около 1380 года).

Венцель (Вацлав), сын Карла IV (как король Богемии, Венцель IV; правил 1378—1419 г.), старался по возможности смягчить общественные противоречия в Богемии. Он очень равнодушно, даже неприязненно относился к короне Германии, так как за нею не стояло никакой силы; поэтому ему не было нужды делаться, подобно отцу, поповским императором. Он старался подчинить церковь своей власти и в этом отношении соприкасался со стремлениями чешских патриотов и реформаторов церкви. Но и он должен был убедиться, что экономический расцвет Богемии, а, следовательно, в значительной мере и его собственная сила держится на немцах. И вот, покровительствуя чешским стремлениям, он в то же время не хотел, чтобы немцы претерпели от этого вред. Этим положением, полным противоречий, и следует объяснять большую частьколебаний во время правления Венцеля: он сегодня покровительствует чехам и сторонникам реформы — напр., в университетских вопросах,—чтобы завтра снова оттеснить их на последний план, что впрочем не всегда удавалось.

Сила и роль немцев в его царствование все уменьшались; но его колеблющейся и полной противоречий, часто руководимой капризами, политике удавалось почти до его смерти предотвращать насильственный взрыв общественных противоречий.

Катастрофа наступила позже, когда в богемские отношения вмешались иностранные державы, которые политике компромиссов и колебаний предпочитали политику сильной руки; попытавшись затушить пожар, затаптывая его сильной ногой, они достигли только того, что яркое пламя охватило весь дом.

Выдающийся литературный представитель антипапского и антинемецкого движения, Ян Гусс, профессор пражского университета (с 1398 г.), а позже (с 1402 г.) священник при Вифлеемской часовне, пользовался благоволением Венцеля, который сделал его духовником королевы Софии. Универ-

ситет, находившийся в руках у немцев, сначала выступил против Гусса и Виклефа, учения которого Гусс распространял в Богемии. Университет заклеймил 44 положения Виклефа, как еретические. Университетский спор все более разростался в национальный спор; но чехи и друзья реформы составляли ничтожное меньшинство. Наконецъ, вмешался Венцель; в 1409 году он предоставил богемской нации три голоса при университете, а всем остальным только один. После этого большинство немецких профессоров и студентов покинули Прагу. Но университет высказался за Гусса и избрал его ректором.

Однако теперь Гуссу пришлось иметь дело с пражским архиепископом и, наконец, с самим папой. Борьба все разгоралась, и пропасть между Гуссом и церковью увеличивалась. Конфликт в особенности обострился, когда папа Иоанн XXIII, нуждавшийся в деньгах, возобновил (в 1411 году) торговлю индульгенциями. В 1412 году торговля отпущениями грехов открылась и в Праге. Гусс самым решительным образом выступил против этой торговли и против папы-эксплуататора, которого объявил антихристом. В Праге произошли сопровождавшиеся насилиями стычки между католиками-немцами и гусситами-чехами, которые сжигали папские буллы и угрожали духовенству.

Уже тогда казалось, что резко антагонистические группы должны померяться силами в открытой борьбе. Но Венцель и на этот раз сумел сохранить мир своим суровым нейтралитетом. Он выслал Гусса из Праги (в декабре 1412 г.) но вслед за тем уготовал такую же участь и четырем богословам, стоявшим за папу. И в то же время он сломил господство немцев в Праге, постановив (21 октября 1413 года), чтобы чехи составляли впредь половину всего числа ратманов (членов городского совета).

В 1414 году в Констанце состоялся великий церковный собор, о котором мы уже говорили. Его задача заключалась в том, чтобы вновь объединить и организовать папскую церковь. Дело при этом заключалось не только в устранении наличных трех пап и в избрании нового, но и в подавлении богемской ереси. Брат Венцеля Сигизмунд, герман

ский император с 1410 г. (немецкие курфюрсты низложили Венцеля уже 1400 году и вероятный наследник Венцеля в Богемии, был в особенности заинтересован в подавлении гусситского движения: оно грозило отпадением Богемии не только от церкви, но и от империи.

Гусса пригласили явиться пред лицо собора. Полный упований отправился он в Констанц (октябрь 1414 года). Он доверял не охранной грамоте, предоставленной ему Сигизмундом, но прежде всего верил в истину своего дела. Как многие и многие идеологи до и после него, он видел только простые различия мнений и недоразумения там, где на самом деле были глубокие, неизгладимые общественные противоречия. Ему казалось, что стоит только выяснить недоразумения и опровергнуть ложные мнения—и тогда обнаружится непобедимая сила его идей. Но ему не удалось убедить благочестивых отцов ни в необходимости апостольской бедности для преемников Христа, ни в том, что духовные и светские государи, будет ли то папа или король, перестают быть законными властями, если они повинны в смертном грехе.

Это демократическое положение сильно раздосадовало и Сигизмунда.

А то обстоятельство, что богемцы, и прежде всего богемские дворяне, решительно выступили за Гусса, было просто дополнительным доказательством опасности человека которого они защищали, и послужило для собора лишним поводом в пользу того, чтобы обезвредить Гусса. Собор попытался долгим тюремным заключением и угрозами принудить Гусса к отречению от своих учений; но попытка оказалась тщетной. Тогда собор проклял Гусса и его учения и передал его светским судьям (6 июля 1415 года). Сигизмунд оказался настолько безхарактерным, что нарушил свое слово и, несмотря на данный им свободный пропуск, предал Гусса сожжению.

Это поставило богемцев перед альтернативой: восстание или подчинение. Они остановились на первом.

Уже во время процесса против Гусса некоторые из более решительных его сторонников, не задумываясь, открыто

отреклись от церкви. Они снова выставили требование, с которым выступал уже Матвей из Янова: миряне должны принимать причастие под обоими видами. В католической церкви установился обычай, чтобы мирянам при причастии давались не хлеб и вино, а только хлеб. Употребление *чаши* предоставлялось только священникам. И учение, которое стремилось к уничтожению привилегий духовенства, оставалось совершенно последовательным, выступая против внешнего символа привилегированного положения священников. *Чаша*, чаша для мирян, с этого времени сделалась символом гусситов. В шаблонных популярных изложениях истории выходит так, как-будто в грандиозных гусситских войнах решался в сущности только один вопрос: должно ли принимать причастие под обоими видами или нет; и „просвещенные головы" пользуются случаем, чтобы в этой связи указать с чувством удовлетворенности, какой ограниченностью страдали люди прежнего времени, и как просвещенны, напротив, свободные мыслители современности.

Но такое изображение гусситского движения почти так же глубокомысленно и обоснованно, как то, которое получилось бы, если бы историк, изображая в одном из позднейших столетий революции нашего века, представил их следующим образом: люди того времени, т.-е. XIX века, были еще настолько невежественны, что определенным цветам придавали прямо суеверное значение: самые кровопролитные столкновения происходили из-за того, должен ли быть цветом Франции белый или голубой-белый-красный или же красный, и цветом Венгрии — черный-желтый или красный-белый-зеленый, а в Германии было время, когда всякий носивший ленту черного-красного-золотистого цвета присуждался к тяжелому тюремному заточению, и т. д.

Чаша для гусситов играла такую же роль, как до настоящего дня различные флаги для различных наций и партий: она была не *объектом борьбы, а боевым знаменем*, около которого партии и нации ополчались и которое защищали с напряжением всех своих сил.

То же следует сказать и о вопросе относительно различных форм причащения, поднятом в эпоху реформации XVI века

Отречение от связей с католической церковью, символом которого служила *чаша* для мирян, сделалось всеобщим по сожжении Гусса. Первый шаг был сделан, и скоро наступило время и для практических выводов—для тех выводов, из-за которых, в сущности, и разыгрался весь конфликт. В Праге начались восстания низших слоев народа, и это не всегда были простые демонстрации: целью восстаний иногда было изгнание белого духовенства и монахов, грабеж церквей и монастырей. Но лучше всего использовали положение дворяне. Не даром они сделались самыми жаркими исповедниками учения Гусса. Чтобы отомстить за смерть Гусса, они—конечно, из чистого рвения к вере—послали вызовы епископам и монастырям и начали, где только могли, отбирать в свою пользу церковные имения.

Венцель беспомощно стоял перед разразившейся бурей. Тщетно папа и Сигизмунд старались вызвать его на энергичные действия против бунтовщиков. Венцель считал самым разумным поступать так, как будто он ничего не замечает. Дело, наконец, зашло настолько далеко, что Сигизмунд угрожал войной своему брату, если тот не примет мер против гусситских безчинств. Угроза подействовала. Венцель выступил против гусситов и попытался возвратить изгнанных духовных. В Праге по этому поводу вспыхнуло восстание, в котором массы простого народа под предводительством Яна Жижки захватили город (30 июля 1419 года).

Когда Венцель, бежавший от угрожавшей бури в свой замок Венцельштейн, получил известие о восстании, он впал в необузданную ярость. Это было по всей вероятности причиной удара, который чрез несколько дней свел его в могилу.

Богемия, лишившаяся короля, охватывалась гусситскою ересью.

4. Партии в гусситском движении.

Пока ереси подвергались в Богемии преследованиям, в них выступали только их национальные и церковные стороны; перед массами населения, перед различными его классами стоял один и тот же национальный враг; они объединились общностью объекта вражды.

Теперь страна оттеснила общего врага, „неискаженное слово Божие“ победило; и вот здесь-то оказалось, что различные классы, сообразно различию своих интересов, различно и даже в крайне противоположном смысле понимали это слово, хотя оно звучало одинаково для всех.

В общем, в гуссизме наметилось два крупных течения. Центром для каждого из них, равно как и для скудных остатков католицизма в Богемии являлся один из трех городов: *Прага, Табор и Куттенберг*.

У немцев-пайщиков и рудокопов в Куттенберге, после Праги первом по величине и силе городе Богемии, были все основания оставаться католиками. Никто больше их не терял от победы гусситов. В соответствии с этим католицизм в то время нигде не отличался таким фанатизмом, как в Куттенберге. Там предавали немедленной казни всех гусситов, которые попадали во власть куттенбергцев,—а их попадало достаточно. Богемцы утверждали даже, что куттенбергцы установили награды за поимку гусситов: шестьдесят пражских грошей за обыкновенного еретика и триста за еретического священника.

Кроме Куттенберга, было и еще несколько - очень немного—городов, в которых немцам удалось утвердиться, и которые поэтому сохранили верность делу католицизма. Большинство из них, и Куттенберг в том числе, во время гусситских войн попали в руки гусситов, которые обратили их в чешские города. Когда Куттенберг был окончательно потерян для дела католицизма (1422 г.), центр католической партии перешел в *Пильзен*.

Кроме этих городов, верность старой религии сохранила еще небольшая часть дворян, отчасти потому, что они расчитывали с наибольшими удобствами устраивать свои дела при королевском дворе, отчасти же из отвращения к демократическому течению, развивавшемуся среди гусситов.

Но большинство дворян были верными союзниками гусситского дела; их вынуждали к тому церковные имения, поглощенные ими. Идеалом дворянства, особенно высшего, была аристократическая республика с призрачным королем во главе. Так как Сигизмунд не годился для такой роли,

дворяне обратились в Польшу и Литву за человеком, который мог бы заменить его. Однако ни у одного из влиятельных государей не было никакой охоты попасть в осиное гнездо.

Большинство пражцев тоже стояло на стороне аристократической партии. Правда, низшие классы народа, изгнавши в ряде восстаний немецких патрициев и духовенство, захватили управление в свои руки. Рядом с городским советом теперь выдвинулось собрание большой общины, в которой право голоса принадлежало всякому, у кого в городе был самостоятельный источник существования; ратманы (члены городского совета), по всей вероятности, избирались в этом собрании.

Но скоро в Праге сложилась новая высшая буржуазия. По примеру дворянства, горожане, конечно, тоже воспользовались случаем, чтобы завладеть церковными имуществами. Награбленного было так много, что оно в течение долгого времени служило объектом великих раздоров между двумя общинами, из которых состояла Прага,—общинами старого и нового города. Конфискованные имущества, которые продавались, делились и расточались, и добыча из церквей и монастырей,—все это, несомненно, дало для людей, способных к спекуляциям, достаточно материала, чтобы подняться из массы. По завоевании Куттенберга эксплуатация его рудников выпала на долю пражцев и послужила главным источником их доходов. Это также благоприятствовало выступлению пронырливых спекулянтов. Так сложился новый, чешский патрициат, у которого скоро оказались общие с дворянством симпатии, и который неохотно сносил господство „большой общины".

Но и среди ремесленников Праги и даже в низших классах народа скоро должны были воскреснуть аристократические симпатии. Этот город был городом роскоши. Промышленность и торговля Праги процветала потому, что двор и высшее дворянство проматывали здесь все, что высасывали из целой страны. Римляне скоро начинали вздыхать по папе, хотя бы даже сами изгнали его; так и пражцы начали считать королевскую власть и эксплуататорское дворянство

одним из важнейших условий для существования общества. Демократический элемент в общине становился все слабее, аристократический — все усиливался. Восстания, интриги, вмешательство иностранцев усиливали то один, то другой из этих элементов; но, как друг демократов, Прага всегда была ненадежным другом, а как враг,—очень решительным врагом, во время же последних гусситских войн она была только врагом демократии.

Пражцы и гусситы-дворяне, преимущественно высшие, составляли „умеренную партию",—по всей вероятности, названную так потому, что принадлежащие к ней без всякой меры конфисковали имущества церкви,—партию калликстинцев или утраквистов [1]).

Против них выступало другое направление, которое может быть названо *демократическим* по своему составу и по своим общим тенденциям.

Самых многочисленных приверженцев оно нашло среди *крестьян*. Крестьянство же было в стране подавляющим по своей численности классом народа.

Благодаря гусситской революции, антагонизм между крестьянством и феодалами вспыхнул ярким пламенем. Конфискованные церковные земли не принесли бы дворянам никакой пользы без церковных людей, которые платили бы им оброк и отправляли бы барщину. Но эти люди поднимались против церкви не для того, чтобы переменить одного господина на другого, более строгого. Они хотели быть свободными крестьянами, свободными собственниками. Крестьяне думали так же, как эти люди. Революция сверху вызвала революцию снизу. Рушились все границы, которые до известной степени удерживали антагонистические классы от враждебного столкновения: традиции, которые подчиняли эксплуататоров и эксплуатируемых устойчивым правилам, были уничтожены, королевская власть, которая несколько сдерживала крестьян и баронов, устранена восстанием.

---

[1]) Калликстинцы, от латинского Calix, чаша; утраквисты, потому что они принимали причастие *под обоими видами*, или, по-латински, sub utraque specie.

Крестьяне поняли, что, если им не удастся теперь же сделать невозможным правительство дворян и совершенно сломить их силу, они попадут под их неограниченное господство. Перед ними стоял выбор только между полной свободой и полной крепостной зависимостью.

Об руку с крестьянами шли мелкие буржуа и пролетарии; мы видели, что так отчасти было и в Праге; но в особенности это явление наблюдалось в тех мелких городах, где удалось справиться с немецким „патрициатом", с высшей буржуазией. Каждый такой город по силе далеко уступал Праге. Он—не то, что столица—не был в состоянии своими собственными силами отразить превосходные силы баронов, у которых жажда эксплуатации не знала границ. Бессилие императорской власти в Германии уже раньше вынудило города соединяться в союзы для отражения разбойничьего дворянства; так поступили теперь и богемские мелкие города,—за исключением немногих оставшихся католическими.

Низшее дворянство, которое в экономическом отношении занимало промежуточное положение между крестьянами и высшим дворянством—подобно тому, как в наше время мелкая буржуазия между классом капиталистов и пролетариатом,—было таким же колеблющимся и ненадежным, как в настоящее время массы мелкой буржуазии. У мелких дворян, едва возвышавшихся над свободными крупными крестьянами, было что потерять или приобресть и на одной, и на другой стороне. Освобождение крестьян угрожало им дальнейшим сокращением их доходов от оброков и барщин; но, с другой стороны, поражение высшего дворянства освободило бы их от опаснейших противников и конкурентов, которые все более подавляли их; разграбление высшего дворянства было им так же желательно, как и крестьянам. И вот одна часть низшего дворянства примкнула к аристократической партии, другая—к демократической, но большинство колебалось из одной стороны на другую и склонялось туда, куда в данный момент влекла надежда на победу и добычу.

Среди рыцарей, которые сохранили непреклонную вер-

ность демократической партии, выдается прежде всего уже упоминавшийся Жижка из Троцнова; он в качестве наемника боролся против поляков, против турок и, состоя на английской службе, против французов. Он предоставил свой военный опыт в распоряжение демократов и сделался самым известным и самым грозным из их вождей. Но, какую бы верность ни сохранял Жижка по отношению к демократам,— а они создали армию, не имевшую равной себе, о чем нам придется сейчас говорить,—он стоял за их дело, как *солдат*, а не как *политик*. Как политик, Жижка, подобно многим другим рыцарям и большинству пражской мелкой буржуазии, занял среднее положение между демократами и каликстинцами.

После его смерти от демократов отделились его личные приверженцы и образовали особую промежуточную партию, партию „сирот",—так они назвали себя, потому что они потеряли своего отца Жижку.

Демократы же получили название *таборитов,—по городу Табору*, их политическому и военному центру. Коммунисты сделались передовыми борцами в демократическом движении.

5. Коммунисты в Таборе.

В Богемии, как и повсюду, с развитием товарного производства и товарной торговли складывались коммунистические идеи. Рост в богемских землях шерсто-ткацкого дела, которое в XIV веке насаждается прежде всего в Праге, Иглау и Пильзене, вероятно, оказал особенное содействие формулировке и распространению этих идей.

Уже в 1337 году мы встречаем в Праге подмастерьев суконщиков, которые самостоятельно выполняли все работы по изготовлению сукна. Следовательно, уже тогда существовали, по всей вероятности, сравнительно крупные предприниматели, по отношению к которым подмастерья занимали положение рабочих домашней промышленности (*Hildebrand*, Zur Geschichte der deutschen Wollenindustrie, op. cit стр. 104).

Не было недостатка и во влияниях извне в направлении коммунистических идей. В Богемии кое-где встречались бегарды (их называли там пикардами). Переселение немецких

ремесленников, чему так покровительствовали богемские короли, оказало свое действие на распространение бегардов.

Вероятно, уже в эпоху первых гонений бегарды бежали из Южной Франции в Богемию и нашли в ней страну, где они могли скрываться и распространять свое учение [1]).

В то время, когда развертывался конфликт между Богемией и папской церковью, и противников последней не только терпели в Богемии, но и оказывали им прямое покровительство, в это время подняли голову, разумеется, и коммунистические ереси; с радикальной демократической программой; подвергавшиеся гонениям в соседних странах искали спасения в Богемии. Коммунизм мог развиваться с тем большею легкостью, что на первый взгляд он вполне согласовался с другими еретическими направлениями по своей аргументации, а часто и по требованиям: все они хотели возвращения к первоначальному христианству и восстановления христианского учения во всей его чистоте; споры о понимании этого учения начались только позже.

Когда церковь и государство, предав сожжению Яна Гусса, тем самым объявили Богемии войну, результатом было ниспровержение традиционного строя общества и собственности конфискацией и разграблением церковных имуществ. Это было самое время для коммунистических сект. Они открыто подняли голову. До сих пор они влачили свое существование, тайные и неведомые, и только время от времени предательство какого-нибудь товарища напоминало миру об их существовании [2]). Хотя эти секты получили сравнительно большое распространение, это обнаружилось только теперь, когда они могли выступить открыто.

---

[1]) *F. Bender*, Geschichte der Waidenser, стр. 46 и слл.

[2]) В конце XIV века (Бендер в своей «Истории вальденцев», стр. 47, откуда мы заимствуем эти сведения, не сообщает более точной даты; но, несомненно, это было еще при Карле IV) из долин Пьемонта, где еще сохранились общины вальденцев, пришли в Богемию, к вальденцам этой страны, два проповедника. Оба итальянца оказались предателями; они открыли католическому духовенству место, где обыкновенно собирались вальденцы, и таким образом вызвали жестокое гонение на своих товарищей.

Разумеется, в Праге коммунисты были слишком слабы,— или же их противники слишком сильны,—поэтому они не могли развернуть свои силы. Иначе было в сравнительно небольших городах.

Пришло тысячелетнее царство Христа, возвещали коммунистические проповедники; Прагу, как Содом, пожрет огонь, ниспосланный с неба; но в целом ряде других городов праведные найдут защиту и блаженство. Христос сойдет во славе своей и положит основание царству, в котором не будет ни господ ни холопов, ни греха ни нужды, и никаких иных законов, кроме законов свободного духа. Дожившие до того времени, возвратившись в состояние райской невинности, не будут знать телесных страданий и потребностей; у них не будет также нужды в церковных таинствах для спасения [1]).

В различных городах начали возникать коммунистические организации. Нам не удалось найти указаний на коммунистические организации для деревень. Все говорит за то предположение, что лишь в городах дело дошло до осуществления коммунистических идей. Из числа таких городов следует в особенности назвать Пизек, Воднян и Табор. В последнем коммунисты господствовали безраздельно.

Табор был основан близ городка Аусти на реке Лужнике, которая, как уже упомянуто, была известна по промывке золота. Конечно, богатство золотом должно было оказать большое влияние на развитие в Аусти торговли и промышленности и связанных с ними общественных противоречий. Несомненно, что с 1415 года коммунистические агитаторы находили в Аусти защиту и укрывательство, как рассказывают, преимущественно у богатого суконщика и торговца сукном Пителя; это заставляет предположить многочисленных ткачей среди городского населения. Позднейшие жители Табора также были преимущественно ткачи,

---

[1]) *Palacky*, op. cit., III, 2, стр. 81. Главным источником, из которого Палацкий черпает свои сообщения о коммунистах Табора, является сохраняющееся, к сожалению, только в рукописи полемическое сочинение 1429 года J. Přibram'a против таборитских священников: «Proti knězim Táborskym».

об этом сообщает Эней Сильвий в одном из своих писем, на котором мы остановимся позже. В 1419 году, во время короткого периода реакции при Венцеле, этих агитаторов изгнали из Аусти, в котором существовала сильная католическая партия. Они остановились вблизи Аусти на широком холме у реки Лужника, которая образует здесь полуостров с крутыми склонами, соединяющийся с континентом при помощи узкого перешейка. Они сделали это почти неприступное место своею крепостью и назвали его, на языке Ветхого Завета,—к которому у них было такое же пристрастие, как у позднейших перекрещенцев и пуритан,—горою *Табор* (Фавор).

Со всех сторон устремлялись сюда коммунисты, чтобы безпрепятственно устраивать свои собрания. На одном из них, 22 июля 1419 года, участвовало, говорят, до 42,000 человек, собравшихся со всей Богемии и Моравии. Это свидетельствует о значительном распространении коммунистических идей.

„Даже противники изображают это событие, как великий, возвышающий дух и сердце, религиозно-идиллический народный праздник; он прошел с величайшим спокойствием и порядком. Навстречу подходящим со всех сторон толпам пилигримов, которые шли процессиями, со св. дарами впереди и с знаменами, выступали с такою же торжественностью уже присутствующие на месте, с ликованиями принимали их и указывали им места на горе. Каждый приходивший был „брат“ или „сестра“; на различия сословий не обращали внимания. Духовные лица поделили между собою работы: одни проповедывали на определенных местах, отдельно мужчинам и женщинам; другие исповедывали; третьи причащали под обоими видами. Так продолжалось до полдня. А в полдень начался общий обед теми припасами, которые принесли гости и распределили между собою; недостатку у одних помогали излишки других; *братья и сестры горы Табор не знали разницы между „моим“ и „твоим“*. Так как умы всех членов собрания были охвачены религиозными чувствами, то отнюдь не нарушалась строгость приличий и нравов; о музыке, танцах и играх нечего было

и думать. Остаток дня прошел в разговорах и речах, которыми взаимно ободряли друг друга к единодушию, любви и непоколебимой преданности делу „священной“ чаши. При таких обстоятельствах не было недостатка в жалобах на партию противников и в обвинениях против нее, в восторженном жаре и в планах, как возвратить свободу для „Божия слова“ в стране. Наконец, щедро вознаградивши при помощи денежного сбора собственников полей, которые сильно пострадали в этот день, собрание разошлось с полным спокойствием“ [1]).

Через восемь дней после этого собрания в Праге произошло восстание, которое положило конец католической реакции и было причиною смерти Венцеля и прелюдией к гусситским войнам. Дело не остановилось на простых демонстрациях и коммунистических пикниках. Приступили к организации коммунистических общин.

Принципы таборитов ясно изложены в одном сочинении, составленном пражским университетом. В соответствии с обычаями того времени, хотели устранить антагонизм между пражцами и таборитами при помощи диспута (10 декабря 1420 года). С этой целью профессора пражского университета составили перечень, содержавший не менее 76 пунктов, в которых, по их мнению, учения таборитов были еретическими или по меньшей мере ложными. Конечно, большинство этих пунктов, согласно вкусу господ профессоров и формам мышления той эпохи, носили богословский характер. Но два пункта содержат упрек за приверженность к республиканизму и коммунизму. Табориты учили:

„И тогда не будет на земле ни королей и владык, ни подданных, и прекратятся всяческие подати и налоги, и никто не будет принуждать к чему-либо других, потому что все будут равными, как братья и сестры.

„Как в городе Таборе нет „моего“ и „твоего“, но все общее, так и в будущем все должно быть общим, и ни у кого не должно быть отдельной собственности, а кто имеет такую, повинен в смертном грехе“.

---

[1]) *Palacky*, op. cit., III, 1, стр. 417 и сл.

Из этого они делали вывод, что не подобает впредь ни иметь короля, ни выбирать такового, но что теперь сам Бог хочет быть королем над людьми, и правление должно быть передано в руки народа; что следует искоренить и уничтожить всех господ, благородных и рыцарей, как плевелы; что должны быть уничтожены все княжеские и земские, и городские, и крестьянские права, как изобретение людей, а не дело Божие, и т. д.

Чисто церковные пункты касаются между прочим таких требований: разрушение всех церквей; запрещение поклоняться Богу в храмах; запрещение делать изображения святых и поклоняться им; отрицание веры в чистилище и т. д. Табориты выступали также против учености (или, если угодно, против науки); „Христиане не должны веровать или придерживаться чего-либо, что ясно не высказано и не написано в Библии, и, кроме Библии, не следует ни читать, ни учить, ни возвещать никаких иных сочинений: ни сочинений святых докторов, ни каких-либо магистров (профессоров) и светских мудрецов, ибо они суть люди, которые могут заблуждаться; поэтому, кто пройдет семь искусств или сделается магистром этих искусств, или станет называться магистром их, тот уподобляется язычникам, есть суетный человек и повинен в смертном грехе". Это учение причинило господам профессорам особенное огорчение. В другой связи мы уже останавливались на враждебном отношении христианских коммунистов к науке и на их аскетизме и объяснили эти явления.

Конечно, коммунизм осуществлялся в формах, которые были даны первоначальным христианством и еще соответствовали состоянию производства в то время.

У каждой общины была совместная касса, называвшаяся „кадью"; каждый отдавал в „кадь" то, что он называл своей собственностью. Существуют упоминания о трех кассах: одна в Таборе, другая в Пизеке и третья в Водняне. Братья и сестры распродавали все свое имущество и выручку приносили к ногам управляющих „кадями".

Уже упоминавшийся Прибрам пишет в своем сочинении 1428 года, направленном против таборитов:

„И еще один обманный прием изобрели они (священники таборитов): народу, прибывавшему к ним на гору, они приказывали и предписывали в городе Пизеке, что все братья должны сложить все, что они имеют, после чего выставлялась одна или две кади, которые общины наполняли почти до верху. Заведующим этой кассой был бесчестный Матвей Лауда из Пизека; он и другие надсмотрщики за кадью вместе со священниками хозяйничали у кади не во вред себе. Из этого мерзкого дела видно, с каким бесстыдством они похищали у народа его имущество и заработки, и как сами при этом обогащались и жирели“ [1]).

Даже Палацкий должен был согласиться, что этот упрек— презренная клевета.

Должно быть, великие эксплуататоры и их защитники, к которым принадлежал и бравый Прибрам, уже полтысячи лет тому назад, как и теперь, хорошо умели распространять о передовых борцах эксплуатируемых ложь, будто они „жиреют от грошей трудящихся“, и действительно разжиревшие эксплуататоры уже тогда, как и теперь, умели приходить в величайшее негодование перед утучнением грошами рабочих.

Но, какой бы честностью и бескорыстием ни отличались управляющие кассами, этот вид коммунизма не мог быть осуществлен на продолжительное время. У таборитов он обладал еще меньшею прочностью, чем у первых христиан: главную массу таборитов составляли не пролетарии с настроением нищих, а рабочие, которые существовали и хотели существовать не подаяниями богатых, а своим собственным трудом. В то время, когда производство стояло на ступени ремесла и мелко-крестьянского земледелия, производительный труд сделался бы невозможным, если бы каждый продал свои средства производства и деньги положил в общую кассу, которая служила на покупку средств потребления для всех. Мы не думаем, чтобы практика этого рода когда-либо была всеобщей у таборитов; несомненно, ее скоро оставили. Коммунизм принял у них в

---

[1]) У *Палацкого*, op. cit., III, 2, стр., 297.

действительности такие же формы, как у первых христиан: каждая семья работала для себя и отдавала в общую кассу только произведенные ею избытки.

Однако такой компромисс состоялся не без протеста наиболее ревностных и решительных коммунистов. Конечно, при тогдашних условиях другие формы общинной собственности на одни только средства потребления были неосуществимы,—или могли быть осуществлены лишь на короткое время. Поэтому крайние коммунисты требовали введения полного коммунизма и уничтожения семьи. Последнее возможно в двух формах: целибат (безбрачие) или уничтожение прочного моногамного брака, так называемая общность женщин. Строгие коммунисты из числа таборитов избрали последнюю форму, так как уже их решительная вражда к католической церкви и монахам приводила к отрицанию целибата.

Этот вывод из коммунизма на той ступени развития не представляет для нас ничего нового. Мы встретились с ним уже у первоначального христианства; знакомясь с монашеством, мы остановились на нем подробнее и показали, что общность женщин, равно как и безбрачие монахов и монахинь представляет не „заблуждение“ ума человеческого, а необходимое следствие определенных данных общественных отношений.

Стремления еретиков, строгих коммунистов, нашли наиболее ясное и решительное выражение в секте „братьев и сестер свободного духа“, с которою мы познакомились выше. Эта секта проникла и в Богемию, и, если там говорили о пикардах (бегардах), то разумели почти исключительно ее представителей. Главным проповедником учения этой секты был крестьянин Николай; поэтому гусситскую разновидность братьев и сестер свободного духа называли также *николаитами*. Но наибольшей известностью пользовались представители этой секты под названием „адамитов“: они смотрели на адамитское состояние — в XVIII веке сказали бы „естественное состояние“,—как на состояние безгрешной невинности. Рассказывают, что в места своих собраний, называвшиеся парадизами (пара-

диз—рай), адамиты являлись голыми. Мы не можем решить, основывается ли это известие на простых сплетнях или же на злостной клевете.

Адамиты занимали один остров на реке Лужнике, рассказывает нам Эней Сильвий. Они ходили голые. Всегда ли или только при особенных случаях, это он, к сожалению, забывает сказать. „Они жили в общности жен (connubia eis promiscua fuere); но, однако, запрещалось познать жену без разрешения их старшины Адама. Но если один из них охватывался желанием к другой, тогда он брал ее за руку и шел к старшине, которому он говорил: „К ней моя душа запылала любовью". На это старшина отвечал ему: „Идите, плодитеся и множитеся и населяйте землю" [1]).

Такое отрицание брака резко противоречило нравственным воззрениям XV века; потребности способа производства и общества того времени властно предписывали моногамные брак и семью, это перешедшее от древности и глубоко укоренившееся в народном сознании учреждение. Отрицание брака было логическим выводом из тогдашнего коммунизма; но оно же как раз показало, что у самого коммунизма не было опоры в общественном строе, который требовал моногамного брака; здесь-то и лежит доказательство, что коммунизму того времени суждено было оставаться ограниченным пределами небольших корпораций и общин. Масса таборитов самым решительным образом выступала против стремлений строгого коммунизма.

Открытый конфликт между обоими направлениями произошел уже весной 1421 года. 29-го января один рыцарь захватил священника *Мартинека Гауска*, одного из главных представителей далеко заходящих мечтаний [2]), но по совету многих друзей отпустил его на свободу. С еще большим жаром Мартинек возвратился к проповеди своего учения, и рост числа его приверженцев принял такие угро-

---

[1]) *Aeneas Sylvius*, De ortu et historia Bogemorum. Opera omnia, стр. 109.

[2]) Между прочим, он старался ввести общественные братские трапезы по образцу церкви первых веков. (*Palacky*, op. cit., IV, 1, стр. 471).

жающие размеры, что Николай, епископ таборитов, обратился в Прагу за помощью. Но коммунистическая ересь нашла почву и в Праге. Городской совет немедленно предписал против нее строгие меры, и, по милым обычаям того времени, двух граждан присудили за ересь к смертной казни и сожгли на кострах. В то же время (в марте) в Таборе произошел разрыв между обоими направлениями; строгие коммунисты, оказавшиеся в меньшинстве, были изгнаны в количестве до 300 человек и ушли в леса по реке Лужнику.

Священник Мартинек позволил уговорить себя и отрекся от своих „ересей". Но его товарищи остались непреклонными. Против них выступил Жижка, который в глубине сердца питал симпатии к пражцам; „пикардская ересь", ненавистная для таборитов, должна была возбуждать в нем положительное омерзение. Он напал в лесах на „пикардов" и захватил некоторых из них. Когда они решительно отказались отречься от ереси, их, числом пятьдесят, сожгли по приказанию Жижки. С улыбкой на устах всходили они на костры.

Мартинек, который теперь плохо чувствовал себя среди таборитов, решил удалиться в Моравию. Но дорогою, в Хрудиуме, его схватили вместе с его спутником, Прокопом Одноглазым, и выдали Конраду, архиепископу Раудницкому. Жижка настаивал, чтобы пражцы потребовали выдачи обоих опасных людей и в назидание народу сожгли их живыми. Но пражские ратманы (члены городского совета) опасались низших слоев народа, среди которых у направления Мартинека были многочисленные приверженцы. Поэтому они отправили в Раудниц палача, который до тех пор пытал обоих пленников, пока они не выдали имена некоторых пражских товарищей. После этого Мартинека и Прокопа засадили в бочки и сожгли (21 августа 1421 года).

Но пикардская ересь далеко еще не была подавлена. На одном острове по реке Нежарка, впадающей в Лужник, обосновалась кучка адамитов. Жижка отправил против них 400 вооруженных людей с поручением уничтожить их окончательно. Адамиты защищались отчаянно и перебили многих из нападающих. Но, наконец, они были сломлены перевесом

сил у противника. Пощаженные мечем погибли от огня (21 октября 1421 года).

Таким образом строгое направление коммунизма было окончательно разбито. Незначительность боевых сил, которые справились с ним, показывает, что оно не получило большого распространения. И действительно, только немногие, особенно смелые люди или люди с особенной односторонностью захваченные коммунизмом могли далеко перешагнуть за границы своего времени. Это явление представляет большой интерес для истории развития коммунистических идей; но оно не имело исторического значения.

Адамиты были разбиты и осуждены на бессилие; но Жижке, который с особенной ненавистью преследовал их, не удалось искоренить их до конца. Остатки секты влачили жалкое существование среди таборитов. В последние десятилетия XV века они снова заявляют о своем существовании и пытаются слиться с богемскими братьями, о которых нам еще придется говорить.

После поражения адамитов в Таборе не производилось новых опытов для осуществления более строгих форм коммунизма. Напротив, сравнительно мягкая форма,—скорее коммунизм по намерениям, чем в действительности,—продержалась в Таборе на протяжении почти целого поколения.

Но для какой цели употреблялись доходы общественной кассы, или, выражаясь точнее—так как взносы в общину обыкновенно состояли из продуктов,—запасы общественной кладовой?

В первых христианских общинах избытки одних служили для того, чтобы помогать бедности других. В Таборе так не могло быть. Там осуществлялось, если и не совершенное, то почти совершенное равенство условий существования для всех членов общины. Оно достигалось тем легче, что добыча, полученная сначала из церковных имуществ, а потом из имуществ враждебных господ и городов, была совершенно достаточна для того, чтобы каждый мог устроить зажиточное хозяйство [1]).

[1]) Даже относительно аристократической Праги сохранились сообщения о том, что большая община, следовательно, народное собрание, кон-

Таборитам не приходилось затрачивать что-либо на попечение о бедных. Но им приходилось заботиться о своих священниках. Духовной аристократии, которая владела бы собственными имуществами, у них не было. Каждый мирянин мог сделаться священником: священники избирались общиной и в свою очередь выбирали епископов. В экономическом отношении священники были в зависимости от общины, которая доставляла им содержание. Их функции, как и вообще функции средневекового духовенства, соответствовали, вообще говоря, функциям, исполняемым в настоящее время государственными и коммунальными чиновниками и учителями. Они судили, управляли общественными учреждениями и служили посредниками во взаимных сношениях общин между собою, равно как и в их отношениях к внешнему миру. Одной из главных их задач было обучение детей. Табориты придавали большое значение хорошему всеобщему образованию народа. Это явление в особенности характерно для них и не встречалось тогда у других наций. С таборитами можно было бы сравнить в этом отношении разве только „братьев совместной жизни". Но монашески-католические тенденции придавали деятельности последних совершенно иной характер. Конечно, образование у таборитов надо мерять мерой их времени. Оно было по-преимуществу богословским.

Однажды *Эней Сильвий* сказал следующее: „Итальянским священникам должно сделаться стыдно; несомненно, что ни один из них ни разу не прочитал даже Нового Завета. Напротив, у таборитов едва ли можно найти женщину, которая не была бы основательно знакома с Ветхим и Новым Заветом". И в другом месте он замечает: „У того злобного рода людского только одно хорошо,—он любит образование (literas)".

С первого взгляда кажется, что забота о народном образовании стоит в противоречии с той антипатией таборитов

фисковала у противников дома, виноградники и прочее и передала все это сторонникам доброго дела. Конечно, у последних эти имущества частенько опять отнимались «честным» городским советом (ср. *Палацкий*, op. cit., III, 2, стр. 281).

к науке, о которой свидетельствуют и раньше упоминавшиеся факты и то обстоятельство, что они заставляли браться за ремесло тех ученых людей, которые примыкали к ним. Но это только кажущееся противоречие. Табориты ненавидели отрешившуюся от простого народа ученость, которая встала во враждебные отношения к нему, обратившись в орудие эксплуататоров, в привилегию высших классов, и которая при тогдашнем состоянии производства была несовместима со всеобщим равенством. Мелко-крестьянское и ремесленное производство с такой исключительностью захватывают силы и время рабочих, что для них совсем невозможно достигнуть сколько-нибудь высокого уровня учености, сохраняя свою принадлежность все к тому же общественному классу, что и раньше. И, напротив, это было именно заповедью равенства, чтобы та мера образования, которая может быть сделана доступной для всех, и была сделана доступной для всех.

Ненависть таборитов к учености вытекала из экономической отсталости того времени. Их пылкое отношение к образованию соответствовало стремлениям к равенству. И совсем не случайность, что отец современной школьной педагогики, многочествуемый Каменский, был епископом *богемских братьев*, преемников таборитов.

Военное дело представляло для таборитов еще большую важность, чем *школьное*. Маленькая община, так смело объявившая войну всему существующему обществу, могла удерживать за собой позицию лишь до тех пор, пока она оставалась непобедимой на поле сражений. Для нее не было мира, ни разу не наступало и перемирия. Общество таборитов было несовместимо с интересами господствующих. Но оно не в состоянии было одержать решительную победу. Оно могло победить, но не сокрушить своих врагов, потому что сила последних коренилась в существующих отношениях производства. Таборитский коммунизм был наростом искусственно привитым к этим отношениям; он никак не мог сделаться всеобщею общественной формой своего времени.

Вечная война была судьбой таборитов; их слава—в этой войне, но в ней же—и рок таборитов.

Вся организация таборитов приспособилась к задачам войны. Они разделились на двоякого рода общины: *полевые (военные) общины* и *домашние общины*. Последние оставались дома и работали на себя и на полевые общины. Полевые же общины были заняты исключительно военным делом. Они всегда стояли под оружием. С женщинами и детьми, подобно древним германцам, с которыми табориты соперничали также по варварской дикости и варварской бурности натиска, выступали они против врагов. Вероятно, общины сменяли друг друга: возвратившиеся с поля принимались за ремесло, а прежние ремесленники занимали их место: мы говорим „вероятно", потому что здесь, как и в других вопросах относительно таборитов мы, к сожалению, часто вынуждены довольствоваться догадками. Мы хорошо осведомлены о военных делах таборитов, но совсем мало сведений сохранилось об их внутренней организации.

Организация полевых общин получила большое значение в истории военного дела. Введение постоянного войска в конце средних веков обыкновенно приписывают Карлу VII, королю Франции, который в половине XV века создал постоянную военную силу из пятнадцати рот наемников. Но в действительности первое постоянное войско составили полевые общины таборитов; притом у них было то преимущество перед французской организацией, что их военная сила основывалась не на вербовке наемников (во Франции к тому же по большей части чужеземных наемников—швейцарцев и немцев), а на всеобщей воинской повинности.

Такой организацией обусловливалось великое боевое превосходство таборитов над их противниками.

У войск того времени совсем не было дисциплины и способности маневрировать. Да и как могли бы сложиться такие свойства в тех безпорядочных толпах вассалов и наемников, которых созывали сегодня, а завтра опять распускали, если не оказывалось денег для наемников, или возникали какие-нибудь иные неудовольствия.

После падения древней Римской империи войско таборитов первое составляло стройный организм, а не простую толпу, набегавшую на врага. Оно разделялось на различ-

ные части по различию в вооружении; все они были хорошо подготовлены к искусным маневрам во время сражений, к передвижениям и поворотам, все они подчинялись указаниям из одного центра и систематически объединялись в своих движениях. Табориты же первые умели целесообразно применять в сражениях артиллерию; наконец, они же первые выработали искусство маршировки. Одни форсированные марши доставили им несколько побед над неповоротливыми войсками их противников.

Во всех этих пунктах они оказались творцами новейшей, по сравнению со средневековой, организацией военного дела.

Можно, пожалуй, сказать, что в военной области, как и в других, всякий крупный шаг вперед вызывается социальной революцией, и что величайшими полководцами за последние 500 лет являются люди, которые жили в эпоху социальных переворотов и лучше всего сумели постигнуть и использовать стоящие в связи с ними успехи военного дела: Жижка, Кромвель, Наполеон.

Военные доблести таборитов еще возвышались благодаря их одушевлению и презрению к смерти: они не знали ни компромиссов, ни колебаний на избранном ими пути. Для них не было иного выбора, как победить или погибнуть. Они сделались самыми грозными воинами в Европе и своим военным терроризмом спасли гусситскую революцию, как санкюлоты 1793 года спасли своим терроризмом буржуазную революцию 1789 года.

6. Гибель Табора.

Когда Венцель умер, каликстинцы—гусситы-дворяне и пражцы—вступили с Сигизмундом в переговоры. На душе у них становилось неспокойно при мысли, что им приходится вести борьбу против императора и папы, в сущности, против целой Европы. Они обнаруживали тем бо́льшую склонность к компромиссу, что Табор вырастал в грозную силу. Если бы дело шло только о чаше для мирян, компромисс, разумеется, состоялся бы без труда. Но дело шло о бо́льшем: о деньгах и имуществах церкви, а об этом не так легко было сговориться. Церковь и ее слуга Сигизмунд

оказывались в своем деле такими же непримиримыми, как табориты—в своем. Открылась борьба не на жизнь, а на смерть; каликстинцы, расхитители церкви, вынужденные необходимостью, но недовольные такой комбинацией, вели эту борьбу в союзе с таборитами.

Здесь не место излагать историю гусситских войн. Мы не можем входить в подробности относительно того, как папа Мартин V в булле „Omnium plasmatoris domini" от 1 марта 1420 года призывал все христианство к крестовому походу против гусситов; как после этого составлялись одно за другим войска жадных до добычи крестоносцев, чтобы уничтожить еретиков; как все пять армий крестоносцев потерпели жестокое поражение (1420—1431 гг.); как все дальше распространялась слава непобедимых таборитских войск, и как, наконец, в четвертом крестовом походе при Мисе (1427 г.) и в пятом при Тауссе (1431 г.) достаточно было уже простого известия о приближении гусситов, чтобы крестоносные армии, охваченные паническим страхом, разбежались, совсем не видавши врага. Мы не можем также проследить и внутреннюю борьбу между каликстинцами и таборитами, которая разыгрывалась в промежутки гусситских войн против крестоносцев.

После великого дня при Тауссе казалось, что уже нет такого врага, который мог бы противостоять таборитам. Ни одна армия уже не отваживалась явиться извне на борьбу с ними. Внутри Богемии все более исчезала сила у противников таборитов, у дворянства и у некоторых городов. Продолжение же терроризма таборитов угрожало этим врагам полной гибелью.

Но в то же самое время ясно обнаружилось, как мало могут сделать военные победы, если цели победителей стоят в противоречии с направлением экономического развития. Конечно, было бы достаточно одного решительного военного поражения таборитов, чтобы последовало их окончательное искоренение. Но благодаря самым победам таборитов росли элементы, которые вели к их погибели. Непосредственно за величайшим торжеством таборитов следовало их падение.

Само собою понятно, что, чем победоноснее были табориты, тем невыносимее становилось положение их богемских противников, каликстинцев, не говоря уже о католиках. Дворянство было принижено до полного бессилия и уже давно и охотно заключило бы с церковью мир, если бы оно, разграбивши имущество церкви, не опасалось ее алчности и жажды мести. После победы при Тауссе оно обнаружило особенную сговорчивость. Между тем папа и император с их кликой церковных и светских государей обмякли под ударами великих гусситских побед. Интриги и переговоры между ними и каликстинцами никогда не прекращались вполне; после победы при Тауссе их вели с небывалым до того времени жаром. Наконец, когда папская церковь, представленная посланниками от Базельского собора, соблаговолила отказаться от взгляда на владение церковными имуществами, как на разграбление церкви, пришли к соглашению (1433 г.). Вместо того, чтобы отнимать, церковь даже дала кое-что для Богемии. Она отправила в Богемию крупные денежные средства, которые должны были доставить новым союзникам, каликстинцам, возможность собрать силы против таборитов. Дворянство, „которое уже несколько лет как бы исчезло со сцены“ (Палацкий), теперь, почувствовав за спиной императора и особенно церковь с ее богатствами, снова стало набираться смелости, устраивать сходки и организоваться, чтобы вновь завоевать потерянную власть, опираясь на помощь пражцев и на церковные (но в действительности очень мирския) средства католицизма.

Положение очень хорошо обрисовано в „Истории Богемии“ Энея Сильвия; следует, только заметить, что Эней Сильвий ошибается по отношению к Прокопу, который по смерти Жижки был наиболее выдающимся вождем таборитов; Прокоп никогда не обладал безграничною властью, которую Эней Сильвий приписывает ему. Было бы правильнее повсюду, где в дальнейшем говорится о террористическом режиме Прокопа, разуметь террористический режим таборитов. Эней рассказывает: „Богемские бароны часто сходились вместе, признавали свои заблуждения и сознали свою беду, проистекающую из того, что они отвергли господство своего короля и должны

за то нести тяжкое иго Прокопа. Они обсуждали между собой, как он один сделался государем, помыкает по своему произволу страной, собирает пошлины, назначает дани и налоги, вербует народ для войны, водит полки, куда он хочет, грабит и убивает, не терпит никакого противоречия себе и своим приказам и относится к высшим и нисшим одинаково, как к своим рабам и холопам. Они соображали также, что в поднебесной нет более несчастного народа, чем богемцы, которые безпрерывно на войне, лето и зиму живут в палатках, лежат на жесткой земле и должны во всякое время стоять под оружием, потому что они раздираются отчасти внутренними, отчасти внешними войнами и все время должны или бороться, или со страхом ждать борьбы. Они прибавляли к этому, что наконец пора стряхнуть ужасного тирана, и что, раз они справились с другими народами, самих их не заставят служить *одному* человеку, Прокопу. Они решили, что следует созвать господ, рыцарей и города на всеобщий сейм, на котором должно обсудить вопрос о целесообразном управлении всем королевством. Когда они собрались на сейм, господин Мейнгард представил им, как счастливо то королевство, где народ не *предается праздности* и не раздирается войной; но у богемцев до сих пор не было спокойствия; и их королевство, раздираемое непрестанными войнами, скоро должно погибнуть, если не позаботиться во время; поля лежат необработанные, и в отдельных местах скот и люди умирают от голода" и т. д., и т. д. Спасение от этого зла видели, конечно, только в одном: в восстановлении господства дворянства [1]).

В то время, как все противники таборитов забыли противоречия своих интересов перед общим врагом, перед таборитизмом и объединились против него в одну „реакционную массу", в одну коалицию,—в это самое время внутри таборитской партии происходили перемены, которые еще более угрожали ей, чем интриги и заговоры ее врагов.

Коммунисты из Табора составляли только часть той демократической партии, которая называлась таборитской.

---

[1]) Ср. *Палацкий*, op. cit., III, 3, стр. 143 и сл.

Они представляли наиболее энергичную, непримиримую, во всех отношениях наиболее решительную, а в военном деле вне всяких сравнений способнейшую часть этой партии. Но массы, принадлежавшие к той же партии, состояли из крестьян и мелкой городской буржуазии, довольно равнодушных к коммунистической программе. Чем дольше затягивалась война, тем более страдали от нее эти элементы партии.

Хотя богемцы и побеждали, но сначала они были слишком слабы для того, чтобы изгнать врага из страны. Они побеждали, обороняясь. Лишь сравнительно поздно (1427 г.) они начали распространять на заграницу опустошения, неразрывно связанные с тогдашними войнами, существенную часть которых составляли грабежи и разрушения,—войны велись тогда приблизительно таким же способом, каким в наше время распространяют в Африке европейскую цивилизацию. Но и наступательная война совсем не обеспечивала Богемию от грабежа враждебных соседей. К тому же внутри шла гражданская война. Истощение Богемии из году в год возрастало. Страдала не только торговля, но и ремесло и земледелие. Разорялись не только дворяне и богатые пражские граждане, но и мелкие буржуа и крестьяне повсюду захватывались упадком. Во *всех* классах общества сказывалось глубокое утомление войной, страшная жажда мира; и чем очевиднее было, что непримиримые табориты являются единственной помехою мира, тем быстрее сокращалось в стране число их приверженцев, тем решительнее направлялось против них народное настроение, и тем суровее становились те меры, при помощи которых маленькая кучка таборитов укрепляла за собой господствующее положение в Богемии. Антагонизм между ними и массами населения все обострялся. Дворянство, восставая против таборитов, обыкновенно находило в народе сочувствие.

Но и табориты в более узком значении этого слова были уже не прежние табориты.

Судьба Табора представляет величайший интерес. Она показывает нам, какая судьба ожидала бы сторонников направления Мюнцера в *Мюльгаузене* и перекрещенцов в *Мюнстере*, если бы они остались непобежденными в сражениях.

Коммунизм в Таборе обусловливался единственно потребностями бедных, а не потребностями способа производства. Современная социал-демократия почерпает свою уверенность в победе из того, что потребности производства и потребности пролетариата идут в одном и том же направлении, поэтому современный пролетариат — носитель исторического развития. Иначе было в XV веке. Потребности бедных порождали стремление к коммунизму, потребности производства диктовали частную собственность. Следовательно, коммунизм в то время никак не мог сделаться всеобщей общественной формой, и коммунистические требования среди бедных тотчас же угасали, как только они достигали коммунизма, т.-е., как только переставали быть бедными. С потребностью в нем раньше или позже угасал и самый коммунизм, если только не применялось единственное средство, которое по крайней мере для небольших обществ открывало возможность сравнительно продолжительного существования этого вида коммунизма; средство заключалось в уничтожении моногамных семьи и брака. Мы видели, что табориты отказались от такого средства; они истребили адамитов и таким образом открыли частной собственности дорогу в свою общину. Она, сопутствуемая присущим ей строем мышления, жадностью и завистью, тем успешнее вытесняла коммунизм и братские отношения между таборитами, чем быстрее возрастали среди них зажиточность и даже богатство,—результат неизмеримой добычи, завоеванной ими. Равенство условий существования начало исчезать в Таборе; в нем стали встречаться более бедные и более богатые, и последние обнаруживали все меньше готовности делиться с первыми своими избытками.

Этот процесс был ускорен вторжением чуждых элементов. Человек, с такою полнотой посвятивший себя определенной идее, что он готов отдать за нее свою жизнь, свое существование, не так-то легко изменит ей даже в том случае, если он будет поставлен в условия, неблагоприятные для живучести этой идеи. Старые табориты, конечно, крепко держались за свою веру, за которую они раньше претерпели столько опасностей и гонений.

Но после многих годов войны, тяжесть которой лежала главным образом на таборитах, их ряды ужасающим образом поредели. В военном отношении это не было заметно, так как убыль быстро пополнялась. Табор сделался Меккою для коммунистов, которые стекались сюда со всех сторон. В Таборе были представители даже отдаленнейших наций, напр., англичане. Прием в Табор, повидимому, не обставлялся большими затруднениями. Эней Сильвий, посетивший Табор, изумляется множеству различных сект, мирно уживающихся рядом. „Они не все едины в своей вере“,—рассказывает он,—„каждый в Таборе может верить, чему хочет. Там есть также николаиты, ариане, манихеи, арменияне, несториане, беренгарии и лионские бедные; но особенным уважением пользуются вальденцы, главные враги римского престола“.

Гораздо более сомнительное значение для Табора имел прилив другого рода элементов, также устремлявшихся туда. Военное счастье таборитов привлекло к ним многочисленных авантюристов; они с величайшим равнодушием относились к таборитским идеалам и требовали только славы, но еще больше—добычи. „Чем дальше“,—говорит Палацкий, „тем сильнее чувствовался недостаток в местных силах для войны; крестьяне и ремесленники мелких городов уже часто скрывались, когда их призывали к оружию; если же их сгоняли, то они снова украдкой уходили из войска. Зато, конечно, по своей охоте, из-заграницы шли многочисленные заместители богемских воинов. Уже несколько лет в богемские лагери приходили не только многочисленные поляки и русины, но даже некоторые из немцев, для которых авантюры были важнее вероучений и которым не было дела до родины, старались уйти туда, куда манило военное счастье. *Армии таборитов и сирот в это время (1430 г.) уже в преобладающей части состояли из такого „сброда“ и „подонков всех народов*“. Благодаря этому армия все больше утрачивала свой прежний характер, которому особое значение в свое время придавал Жижка, выразивший желание, чтобы все его воины были истинными „воинами божиими“, цельными и прямыми, чуждыми колебаний и сомнений в своей вере“ [1].

[1]) Op. cit., III, 2, стр. 500.

Боевая способность войск таборитов сначала, конечно, не пострадала заметным образом от указанных изменений, хотя в них постепенно исчезали элементы одушевления, преданности делу и добровольной дисциплины. Но зато они сильно теряли со стороны *надежности*. Из таких же побуждений, как наемники, на службу к таборитам поступали обанкротившиеся дворяне; помещики могли еще кое-как поддерживать свое существование, делаясь как бы вассалами таборитов, с которыми они должны были бы бороться, и уплачивая им подати,—припомним цитированные выше жалобы богемских баронов на тиранию Прокопа, о которых сообщает Энеи Сильвий.

Когда дворянство выступило против таборитов и начало собирать вокруг себя наемников, которым оно, благодаря богатствам католической церкви, могло в данный момент предложить лучшие условия, в таборитских войсках повсюду стала прорываться измена.

Так объясняются явления новой гражданской войны, в которой каликстинцы и табориты в последний раз померялись силами. Табориты, покинутые крестьянами и горожанами, преданные некоторою частью собственных войск, были подавлены противниками, которые, забывая внутреннюю вражду между собою, составили подавляюще сильный союз против остатков демократической партии, сохранивших верность коммунистической общине больше из необходимости, чем прислушиваясь к собственным побуждениям, и притом теперь коммунистической скорее в воображении, чем в действительности.

30 мая 1434 года произошло решительное сражение близ Богемского Брода, при деревне Липан. Перевес сил был на стороне дворянской партии; она насчитывала 25,000 вооруженных людей против 18,000 таборитов. Успех в борьбе долгое время склонялся то на одну, то на другую сторону. Наконец, победа перешла на сторону дворян; они этим были обязаны не столько своему военному искусству и мужеству, сколько *предательству таборитского полководца Иоганна Чапека, начальника кавалерии:* среди борьбы он бежал со своими людьми вместо того, чтобы врубиться в ряды врагов

Началась ужасающая бойня, никому не давали пощады; сообщают, что было изрублено до 13.000 таборитских воинов. Это ужасное поражение навсегда сломило силы таборитов.

Табор перестал господствовать над Богемией. Демократия была подавлена, и дворянство в союзе с пражским патрициатом могло вновь организовать эксплуатацию страны. После безконечных переговоров между королем и его „верноподданными“, причем каждая сторона опасалась—и не без основания,—что другая только и думает о том, как бы провести ее, Сигизмунд, наконец, был признан королем Богемии (1436 г.). Перед этим он согласился на всеобщую амнистию, а относительно разрушенных и разграбленных церковных имуществ предоставил каждому сеньору и каждой общине поступать, как им заблагорассудится.

Сила таборитов была сломлена в сражении при Липане, но не окончательно уничтожена. Они еще некоторое время продолжали борьбу, но все с меньшим успехом и все более изнемогали; поэтому они были довольны, когда получили от Сигизмунда договор, который обезпечивал по крайней мере самостоятельность их города (1436 г.).

В таком состоянии Табор оставался до начала пятидесятых годов, когда город посетил Эней Сильвий; он сообщил о своих наблюдениях в одном письме кардиналу Карваялю. Это—одно из немногих дошедших до нас сообщений о внутреннем состоянии Табора, сделанных очевидцами. Небесполезно привести из него некоторые характерные места. Они дают очень ясное представление об общине таборитов. Дома в Таборе, говорит Эней, построены из дерева и глины и скучены без всякого порядка. „Те люди владеют многочисленным и ценным домашним скарбом и необыкновенно большими богатствами, ибо они в одно место снесли добычу, взятую со многих народов. Некогда они хотели устроить все дела своей жизни по образцу церкви и все имели общее: они называли друг друга братьями, и, если чего-нибудь не доставало у одного, он получал это от другого. Но теперь каждый живет для себя, и одни голодают в то время, как другие утопают в роскоши (alius quidem esurit, alius autem

ebrius est). Недолго сохранялся огонь любви к ближнему не долго удерживалось подражание (общине апостолов)... Табориты грабили чужую собственность, и что они таскали силой, все то делалось общим достоянием (haec tantum in commune dederunt). Но они не могли поддержать такой порядок. Природа взяла верх, и уже все предались алчности. Но так как они уже не могут грабить, как прежде, ибо они расслабли и боятся своих соседей, то они набросились на торговые барыши (lucris inhiant mercaturae) и занимаются низкими промыслами. В городе живет 4,000 мужчин, которые могли бы действовать мечом, но они сделались ремесленниками и *живут большею частью шерстоткачеством* (lana ac tela ex magna parte victum quaerentes), так что они считаются непригодными для войны" [1]).

Следует отметить, что большинство таборитов были шерсто-ткачами.

Эней Сильвий посетил Табор в 1451 году. Согласно его описанию, боевая сила города совершенно утратилась, равно как уничтожился и коммунизм. Но владыкам Богемии казались все еще опасными даже развалины революционного прошлого. Через год после посещения Энея Сильвия правитель Богемии Георг Подибрад остановился пред Табором и потребовал выдачи всех таборитских священников. Табор подчинился уже через три дня и выдал своих священников; все не „обратившиеся" из них оставались в темнице до самой своей смерти. Так был положен конец особому положению и всякой самостоятельности республики Табор.

Глядя на этот печальный конец некогда такой гордой коммунистической общины, перед которой дрожала половина Европы, едва можешь подавить сожаление, что Табор не пал, как Мюнстер, в блеске своей коммунистической юности, а захирел в жалкой буржуазной слабости старчества.

С падением Табора исчез последний свободный город богемской демократии.

Табориты, в судьбе которых много аналогичного с судьбой якобинцев, напоминают их и в том отношении, что неудер-

---

[1]) *Aeneas Sylvius Piccolomini*, Opera omnia, стр. 662.

жимый героизм тех и других спас революцию, но спас не для себя, а для великих эксплуататоров революции: во Франции для крупных капиталистов и крупных авантюристов; в Богемии для высшего дворянства, получившего почти безграничное господство в государстве и обществе. Мелкое дворянство ничего не выиграло в гусситских войнах: они не только не замедлили, но скорее ускорили его падение. Высшее дворянство, которому выпала львиная доля из церковных имуществ, обогащалось также и на счет низшего дворянства, скупая у него владения.

Крестьяне и мелкие горожане больше всех пострадали от последствий войн. Истощение страны и уменьшение населения чрезвычайно понизили силу сопротивления крестьян и жителей мелких городов. Но эти же обстоятельства побуждали крупных сеньоров—до крайности повысить свои требования к обязанным нести платежи жителям мелких городов и в особенности к крестьянству. Представительство горожан на сеймах все урезывалось. Тягости, которые возлагались на крестьянство, все увеличивались, а слабые попытки сопротивления и мятежа, на которые кое-где отваживались угнетаемые крестьяне, без труда подавлялись. В тех случаях, когда, несмотря на повышение требований, предъявлявшихся крестьянству, рабочих сил все-таки было недостаточно, владельцы латифундий останавливались на таком выходе: вместо земледелия, они организовали какую-нибудь другую отрасль производства, в которой требуется лишь незначительное количество рабочих сил. Расширение таких предприятий местами не только давало возможность справиться с недостатком крестьян, но и вело к тому, что оставшихся крестьян сгоняли с их наделов. В Англии недостаток рабочих, который, впрочем, обусловливался иными причинами, чем в Богемии, дал сильный толчек развитию пастбищного хозяйства, овцеводства; оно приняло, наконец, такие размеры, что сделалось для Англии главным средством экспроприации крестьян и создания массового пролетариата. Во многих частях Богемии аналогичную, хотя и не такую важную роль, играли *рыбные пруды*, устраиваемые владельцами латифундий. В Англии крестьяне были съедены овцами, в Богемии—карпами.

Палацкий приводит любопытное свидетельство относительно развития отношений богемских рыцарей и крестьян во второй половине XV века. Это — сообщение некоего Вжерда, который был в 1493—97 годах „помощником земского писца“ в королевстве и издал „девять книг о правах и судах и о земской скрижали Богемии“. Там говорится между прочим следующее: „В древние незапамятные времена во всех округах были провожатые, которые знали резиденции всех господ, рыцарей и владельцев поместий. И так как страна тогда была еще густо и хорошо населена, *так как еще не имели обыкновения скупать и разрушать рыцарские поместья, и потому их виллы и замки не были сравнены с землей, и деревни, луга и поля еще не исчезли благодаря устройству прудов*, то у громадной, неисчислимой массы рыцарей и деревень были такие провожатые, назначением которых было не вызывать на суд, а указывать судебным приставам местожительство тех, которых надо было вызвать на суд, и сопровождать к таким лицам судебных приставов, почему они и назывались провожатыми. Когда же потом почти третья часть страны была опустошена войной и заразными болезнями, и во всех округах уничтожена и разрушена неимоверная масса рыцарских поместий, а что пощадили меч, огонь и зараза, большая часть того обратилась в пустыню, благодаря устройству прудов, — тогда уже не стало никакой нужды в провожатых“ и т. д. (у Палацкого, op. cit., IV, стр. 528, 529).

К началу XV столетия крепостное право совершенно исчезло в Богемии. К концу того же столетия все крестьяне опять сделались крепостными.

Смешно было бы привлекеть за это к ответственности гусситские войны. Направление общественного развития не зависит от того, совершается ли оно мирным образом или же сопровождается насилиями. С необходимостью законов природы оно определяется развитием и требованиями способа производства. Если исход мощной революционной борьбы не соответствует намерениям борцов революции, то это доказывает только одно: что эти цели стояли в противоречии с требованиями способа производства. Насильствен-

ная революционная борьба никогда не может определить направление общественного развития; при известных условиях может *ускорить его темп*, но вместе с тем, конечно, и обострить страдания побежденных. Это и сделали гусситские войны. С XV века во всей Европе — в одной стране раньше, в другой позже, положение крестьянства начинает ухудшаться. Что Богемия, несмотря на свою экономическую отсталость, принадлежит к одной из первых стран, в которых выступает это явление, и что этот процесс совершался в ней с величайшею быстротой,—это несомненное следствие гусситских войн. Без них решительный поворот наступил бы, быть может, столетием позже, после крестьянской войны в Германии.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Богемские братья.

Табор пал, но не исчез без следа. Это коммунистическое военное государство действовало слишком блестяще, и его деятельность пустила слишком глубокие корни в общественных отношениях своего времени. Отношения же эти не только не исчезли после падения Табора, но скорее выступили в еще более обостренных формах. В результате идеи, на которых было построено коммунистическое государство, не могли угаснуть бесследно, хотя и продолжали свое существование в другой форме, приспособившись к изменившемуся положению.

Две таборитских секты удержались в Богемии и после крушения Табора. Происходя от одного и того же корня, они сложились в организации, которые носили одинаковое имя,—обе получили название *богемских братьев*,—и однако стояли в таком антагонизме друг к другу, какой только можно представить, Одна из этих сект была *военная*, другая *коммунистическая*.

Мы видели, как чужеземцы-военные приходили к таборитам с единственной целью: получить свою долю участия в их военном счастьи и в их военной добыче. С другой стороны, и сами табориты одичали в постоянной войне, и наконец, для многих из них ведение войны из-за добычи или за наемную плату сделалось целью само по себе.

После поражения Табора у этих элементов не было в Богемии поля для деятельности. Они отправились за границу, чтобы найти нанимателей, к которым поступали или отдельными наемниками или же стройно организованными

военными бандами, нанимавшимися то к одному то к другому. В то время подобные банды не представляли ничего необыкновенного; по большей части наемников собирал около себя какой нибудь известный генерал, который становился их главою. В противоположность таким деспотически организованным „компаниям", *роты богемских братьев* были организованы демократически, по таборитскому образцу.

В Венгрии, а также и в Польше эти банды некоторое время играли видную роль. Казаки, которые в начале XVI века появляются в Украйне, организовались, вероятно, по их образцу.

Однако, более важное значение получили богемские братья иного рода, оставшиеся в самой Богемии.

Мы уже отмечали, что коммунисты средних веков, в общем, отличались миролюбием и гнушались насилия. Эта черта в такой же мере соответствовала бессилию неимущих того времени, как и традициям первоначального христианства. Когда в Богемии началась гусситская революция, рушились старые авторитеты, и нисшие классы народа поднялись в победоносном восстании, тогда и масса коммунистов была увлечена общим потоком. Очутившись среди революции, они с естественной необходимостью были поставлены логикой фактов во главе демократического восстания, в котором составили наиболее решительный элемент.

Но миролюбивое направление, осуждавшее войну, насилие и всякое принуждение, не совсем исчезло и в эпоху блестящих таборитских триумфов. Самым выдающимся представителем его был Петр из Хельчика, Петр Хельчицкий. Он родился около 1390 года. По всей вероятности, обедневший рыцарь, Петр тихо и уединенно жил в деревне Хельчик, близ Водняна, одного из городов таборитов, и написал там ряд сочинений, которые привлекли всеобщее внимание. Уже в 1420 году он утверждал, что в религиозных делах нельзя прибегать к помощи силы, это убеждение упрочилось в нем во время революционных войн. Он клеймил войну, как ненавистнейшее из всех зол; воины ни на волос не лучше, чем разбойники и убийцы. „Что за рыцарей имеете вы в виду",—писал он,— „которым приличествует

вести войну? Может быть, тех щеголей в бургах и замках, у которых волосы спадают по плечам, и которые носят такие короткие кафтаны, что они едва могут прикрывать их седалища? Если они одни имеют право вести войну, что же тогда делают в сражениях горожане и крестьяне?.. Ибо никто—ни король, ни князь, ни сеньер, ни самый горемычный дворянин—не ведет войну один, сам по себе, но каждый силою выгоняет на нее крестьян и таким образом приводит весь народ к убийствам и злодеяниям". (Цитир. у *Палацкого*, op. cit., IV, 1, стр. 478, 479).

Хельчицкий—коммунист-поравнитель, в смысле первоначального христианства. Но он не хочет вынудить общее равенство войной или государственным принуждением,—оно должно быть осуществлено за спиной государства и общества. Истинно верующий не должен принимать какое бы то ни было участие в государстве, потому что оно греховное и языческое учреждение. Общественные неравенства, имущества, сословия и ранги созданы государством и исчезнуть могут только с ним. Но единственно христианский способ уничтожения государства заключается в том, чтобы его игнорировать. Истинно верующему запрещается не только принимать какую-нибудь должность в государстве, но и обращаться к государственной власти, Полиция и суды для него не существуют. Истинный христианин сам по себе стремится ко благу и не может принуждать к благу других, так как Бог требует благого по свободному избранию. Всякое принуждение есть зло.

В существующем государстве и в существующем обществе для истинного христианина нигде нет места, кроме как среди нисших слоев, которые только подчиняются и служат, а не повелевают и не господствуют. Всякое господство, всякое разделение на классы есть нарушение заповеди братства и равенства. Христианин не должен господствовать, не должен он и эксплуатировать. Поэтому всяческие торговые дела запрещены для него, ибо они необходимо связаны с обманом. Города, центры торговли, суть зло. Их изобрел Каин; первоначальную простоту жизни он превратил в лукавство, изобретя меру и вес, между тем

как раньше народы вступали в обмен, не измеряя и не взвешивая. Но самым развращенным и наиболее достойным проклятий является дворянство [1]).

Этот анархический, но миролюбивый коммунизм распространялся с тем большею быстротой, чем сильнее возрастало утомление от войны, и чем больше таборитский режим терял симпатии в нисших классах народа.

Из всех коммунистических сект, которые возникали в Богемии после гибели Табора и отчасти образовались из развеянных таборитских элементов, наиболее важной сделалась секта приверженцев Хельчитского, „хельчитские братья".

Из учеников Петра в особенности выдавался *брат Григорий*, дворянин по происхождению, но настолько обедневший, что ему приходилось жить ремеслом портного. В 1457 году в деревне *Кунвальд* при Зенфтенберге, в области, где сохранились таборитские настроения, прежние табориты основали колонию и избрали Григория своим главой и организатором. Конечно, преимущественно благодаря его влиянию колонисты-„братья" приняли учение Хельчитского и во всех отношениях следовали ему.

Какова была первоначальная организация богемских братьев, это не совсем ясно. Позднейшие братья стыдились своего происхождения от таборитов и старались по возможности окружить его мраком. Однако, если исходить из позднейшей организации богемских братьев и воспользоваться для ее уразумения сопоставлениями с хорошо известной организацией гернгутеров, их преемников; если, дальше, принять во внимание внутреннюю борьбу, среди которой слагалась организация, то мы получим следующую картину [2]).

---

[1]) Ср. *Jaroslav Goll*, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der Böhmischen Brüder. II. Peter Chelcicky und seine Lehre. Прага 1882 г.

[2]) О позднейшей организации богемских братьев дает очень ясное представление „Церковная история богемских братьев" *Яна Амоса Каменского* (изд. 1739 г.), их церковный устав 1609 года и символ веры, представленный ими в 1535 г. королю Фердинанду. Борьба, которая привела к этой организации, подробно изображена в книге *A. Gindely* Geschichte der Böhmischen Bruder. Прага 1875 г., 2 т.

Само собою понятно, что каждому члену братского общества строжайше запрещалась военная служба и всякое участие в государственном управлении в качестве государственного или коммунального чиновника; также запрещалось и всякое обращение к государству и подача ему каких-либо жалоб. В общине должно господствовать полное равенство, не должно быть бедных и богатых и нет места какому бы то ни было виду эксплуатации. Всякий богатый или принадлежащий к привелигированному состоянию, ищущий допущения в общину, предварительно должен отречься от своего достояния и своих привилегий. Ни один „брат" не мог заниматься торговлею, ссудою капиталов под проценты и трактирным делом. С другой стороны, всякий брат, равно как и община в целом, должны были помогать каждому брату, впавшему в нужду.

Частная собственность и моногамная семья не изгонялись; коммунизм по отношению к семье обнаруживался преимущественно в подчеркивании братства и обязанности дружески делиться с товарищами и в стремлении к сохранению равенства: никто не должен возвышаться над другими, никто не должен опускаться ниже других. Но при сохранении частной собственности это возможно лишь при том условии если в общине господствует строжайшая дисциплина, которая распространяется на всю общественную жизнь. Даже интимнейшие отношения семейной жизни должны быть регламентированы.

В удивительном противоречии с анархической теорией Петра, которая отрицает всякое принуждение, как нехристианское, языческое дело, дисциплинарная власть принадлежала священникам и старейшинам, избираемым общиной. Эта власть показалась бы современному человеку невыносимой,—тем более невыносимой, что у богемских братьев с особой резкостью обнаруживался тот мрачный, ханжеский дух, с которым мы знакомы уже, как с одной из характерных особенностей средневекового коммунизма. У богемских братьев он был, несомненно, следствием страданий и невыразимой нищеты, последовавших за гусситскими войнами.

Всякие игры и танцы были изгнаны, как ловушки рас-

ставляемые диаволом для верующих. Жить, работать и молча терпеть,—вот все, что подобает в этой юдоли христианину. Воскресенье уже тогда праздновали по-пуритански.

Итак, частная собственость и моногамная семья не были изгнаны; но в то же время безбрачие считалось высшим, священным состоянием. Членам духовенства предписывались бедность и безбрачие. Безбрачные люди обитали, разделенные по полам, в братских и сестриных домах, где совместно работали и жили. Мы можем думать, что эти дома были устроены по образцу домов бегардов.

Подобно таборитам, богемские братья не хотели и слышать об ученых. Братья считали ученость одним из привилегированных состояний. До самой своей смерти (1473 г.) брат Григорий предостерегал от ученых свою общину. Напротив, и опять таки подобно таборитам, богемские братья придавали большое значение хорошей народной школе. С большим рвением усваивали они демократическое искусство книгопечатания тотчас по его изобретении. „Конечно", — говорит *Гиндели* (op. cit., I, стр. 39) „какая-либо другая христианская секта редко посылала в мир для своей защиты такое количество сочинений, как братья". Сочинения братьев, начиная с зарождения секты и кончая почти полным упадком ее по смерти Каменского (1670 год), далеко превышают по своему числу всю совокупность других произведений богемской литературы за это же время. Им же принадлежит слава, что они первые напечатали (в Венеции) Библию на родном языке, так что богемцы в этом отношении идут впереди других наций [1]). К началу XVI века в Богемии было пять типографий: одна *католическая*, в Пильзене, одна *утраквистская*, в Праге, и три принадлежавших *богемским братьям*, в Юнгбунцлау, Лейтомышле и Вейссвассере. Но даже и три типографии не удовлетворяли потребностям братьев, и они по временам печатались в Нюрнберге.

Вполне соответствовало строгой дисциплине богемских братьев своеобразное правило, что ни один член общины без ее разрешения не должен ни писать, ни издавать какую

[1]) Comenius, op. cit., стр. 57.

либо книгу. „Никому у нас“,—говорится в их церковном уставе,—„не позволено издавать книг; они рассматриваются другими и утверждаются общим одобрением [1]).

Поляк *Ян Ласитский*, посетивший богемских братьев в 1571 г., в своей книге: „De origine et recus gestis fratrum Bohemorum“ („О происхождении и деяниях секты богемских братьев“), пишет об их организации книжного дела следующее: „не появляется ничего такого, что предварительно не было бы рассмотрено многими старейшинами и служителями церкви, избранными и поставленными с этой целью. Обыкновенно ничего не является у них (разве что при особенных обстоятельствах) за подписью одного брата, но все является от *имени братства*, дабы одному члену духовного тела было от того столько же чести, как и другому, и дабы уничтожена была всякая возможность суетного честолюбия, которое обыкновенно так щекочет умы книгописателей и дабы самые сочинения имели тем больший вес и уважение“ [2]).

И несмотря на то колоссальная литературная производительность!

В новой общине было слишком много таборитского. Неудивительно, что, вопреки своему миролюбивому, покорному характеру, она часто казалась властям подозрительной и опасной. Уже в 1461 году при Георге Подибраде, которого мы знаем, как человека, уничтожившего самостоятельность Табора, над богемскими братьями разразились жестокие гонения. С 1452 года Подибрад был правителем в королевстве, а в 1458 году, по смерти короля Владислава, его избрали королем Богемии. Одним из первых действий его правительства было преследование богемских братьев, вожди которых, брат Григорий и другие, подверглись тюремному заточению. Общину в Кунвальде уничтожили, членов ее разогнали и запретили им всякие собрания.

„Благодаря жестокой инквизиции“,—пишет *Каменский*,—„которая повсюду была создана против братьев, большинство из них, особенно первые между ними, рассеялись по

---

[1]) *Каменский*. op. cit., стр. 296.

[2]) Цитир. у *Каменского*, стр. 328. примеч.

горам и лесам и скрывались в пещерах, хотя и там, конечно не всегда были в безопасности. Огонь для того, чтобы сварить самое необходимое, они не смели разводить ни в какое время, кроме как по ночам, чтобы поднимающийся дым не выдал их; и так среди великого холода сидели они вокруг огня и проводили свое время в чтении священного писания и в благочестивых разговорах. Когда же они выходили во время глубокого снега, чтобы добыть продовольственные средства, то все они ступали в следы от ног, сделанные передним, а идущий сзади тащил за собою еловый сук, который снова заполнял следы снегом, чтобы их не узнали по следам; получался такой вид, как будто мужичек тащил за собой вязанку дров. За жилища в пещерах враги называли братьев в насмешку „ямниками", „жителями берлог"[1]).

Произошло ли название „ямники" только в эпоху этого гонения? В Западной Германии уже в XIV веке сектанты-бегарды по причине таинственности своих сходок носили насмешливое название *„винклеры"* (от Winkel, угол), а в Восточной Германии название *„грубенгеймеры"* (от Grube, яма, нора, и наречия heim, дома). Слово „ямники" (от чешского Jama, яма, пещера)—перевод этих названий, и указывает на то, что среди богемских братьев действовали бегардские традиции. Народ называл их не только „ямниками", но и „пикардами".

Первое гонение окончилось только со смертью Подибрада в 1471 году.

Братья и позже переживали временные гонения, но, в общем, уже не претерпевали от них большого вреда. Государственная власть в Богемии была тогда еще довольно слабой, а братья нашли сильных защитников в некоторых сеньорах и городах: интеллигентные люди скоро поняли, как невинна вражда этих сектантов к государству, как безопасны их стремления к равенству, и какой прекрасный материал для эксплуатации доставляют они своей проповедью отречения, труда и терпения.

---

[1]) *Comenius*, op. cit., стр. 45, 46.

Но не в малой степени община была обязана этой защитой тому обстоятельству, что она и сама выросла во время первого тяжелого гонения. Приобретение прозелитов облегчалось отчасти благодаря тому, что она, совершенно в духе таборитов, но в противоположность другим церковным организациям своего времени, возвещала величайшую терпимость в делах веры. Братская община могла делать это, потому что она не была организацией господства, как другие церковные организации. Уже первый съезд братьев, который состоялся в 1464 году в Рейхенау, и на котором были делегаты не только из Богемии, но и из Моравии, объявил, что главное дело—организация общественных отношений, религиозные же вопросы стоят на втором плане. И братья всегда следовали этому принципу. В этом отношении они стояли в самом резком противоречии с позднейшим положением лютеран, что спасает вера, а не дела.

Благодаря терпимости, братьям удалось привлечь к себе большое число родственных товариществ и общин. Но тем строже относились они к пунктам, в которых сказывались разногласия практического характера. На втором конгрессе (в Лоте, 1467 год), который дал общине законченную организацию, меж тем как первый, в Рейхенау,—выражаясь современным языком, — выработал программу, выступили и представители сохранившихся адамитов и внесли предложения о союзе. Но им отвечали отказом. Адамитский коммунизм заходил слишком далеко для братьев. Они допускали в свою общину только отдельных адамитов, требуя от них отречения от „заблуждений".

С другой стороны, потерпели крушение и переговоры о союзе с вальденцами: те стали уже слишком оппортунистами, слишком буржуазными. „Мы",—сообщает брат Григорий в своем трактате: „Как должны относиться люди к римской церкви",—„мы много говорили со священниками вальденцев, особенно со священником Стефаном, который никогда не доходил до такой уступчивости, чтобы совершать богослужебные обряды по римскому образцу (Так обыкновенно поступали священники вальденцев, чтобы спастись от преследований. *К. К.*). Он тайно отправлял свои обязан-

ности у вальденцев Германии и за это был сожжен в позднейшее время. Он предлагал нам усовершенствовать у них (вальденцев) все, что будет признано противоречащим вере Христа и христианской жизни, и устроить все по писанию апостолов так, как это было некогда в церкви первых веков. Мы были готовы и хотели провести это в действительность; но так как они дружили со священниками, получившими посвящение от Рима, то они доверились им, а те воспрепятствовали". Таким образом союз не состоялся. „Некоторые вальденцы", — рассказывает дальше Григорий, — „признают, что они уклонились с путей своих первых предков; встречается у них и такое повреждение нравов, что они принимают деньги от народа, собирают богатства и не заботятся о бедных; но ведь это против христианской веры, если священник копит сокровища, так как он должен мирские блага и даже собственное унаследованное от родителей достояние употреблять на милостыню и не покидать бедных в их нужде" и т. д. [1]).

Но судьба вальденцев скоро постигла и богемских братьев.

Тот самый пуританизм, который служил для братьев формой протеста против существующего общества и средством обособиться от него, был превосходным средством преуспевать в обществе товарного производства. Мы уже указывали, насколько этот пуританизм, несмотря на большое сходство по внешности, отличался от аскетизма первоначального христианства. Хотя в обоих случаях проповедовалось о суетности, даже презренности жизненных радостей и всех наслаждений, но первоначально христианский аскетизм был связан с тупоумною ленью, пуританизм же эпохи Реформации—с неутомимым трудолюбием, заботящимся о будущем. В настоящее время, в эпоху высоко-развитого крупно-промышленного капитализма, этот трудолюбивый пуританизм, это евангелие бережливости, конечно, не дает возможности массе наемных рабочих, крестьян и мелких

---

[1]) Извлечение из чешского оригинала с переводом на немецкий язык находится у *Goll'я*: Quellen und Untersuchungen и т. д. I, Der Verkehr der Brüder mit den Waldensern. Прага 1878. стр. 98 и сл.

буржуа подняться до удовлетворяющего их положения. Но в XV веке, когда натуральное хозяйство с пробивающимся простым товарным производством начало превращаться во всеобщее, отчасти уже в капиталистическое товарное производство, тогда пуританизм был в высшей степени действительным средством для превращения мелкого буржуа в капиталиста. Это средство оказывалось тем более действительным, что в массах населения еще сохранялась та наивная жизнерадостность, которая вообще связана с натуральным хозяйством, производящим не для продажи, а для собственного потребления, и не для накопления, а именно для потребления. Кроме пуританизма, братьям в деловом отношении должна была оказать сильную помощь хорошая постановка общего школьного образования.

У таборитов ту зажиточность, которая положила конец их коммунизму, породила военная добыча. У богемских братьев зажиточность явилась следствием их прилежания, довольства немногим, бережливости и интеллигентности.

Зажиточность привлекала к ним из разнообразнейших сфер многочисленных новых приверженцев, которые переходили на их сторону по очень мирским побуждениям. Но с возрастанием зажиточности, многие из старейших членов тоже стали тяготиться строгой дисциплиной, как оковами. В интересах равенства, эта дисциплина не позволяла, чтобы кто-нибудь сделался более богатым, чем другие; она запрещала употреблять приобретенные ценности так, чтобы они приносили барыш: вкладывать в торговлю, отдавать в рост. С благосостоянием возрастали, дальше, и столкновения по имущественным делам; процессы становились необходимыми, приходилось прибегать к государственной власти для защиты приобретенного.

Так среди братьев постепенно складывалось более мягкое направление, которое пока не отваживалось прямо отречься от первоначальных предписаний, но которое стремилось к тому, чтобы эти предписания понимали, просто как идеал высшей, исключительной святости, а не как обязательные для всех правовые нормы.

Раскол между обоими направлениями обнаружился в первый раз (в конце семидесятых годов), когда два сеньора и несколько рыцарей обратились с просьбой о приеме их в братство. Более строгое направление соглашалось принять их лишь в том случае, если они отрекутся от своего имущества и от звания. Более мягкое направление предлагало не настаивать на этом. Победило первое, и допущены были только те просители, которые во всем подчинились требованиям общины.

Но уже в 1480 году умеренное направление добилось некоторого успеха: был принят один ученый, *Лука*; за ним последовали другие. Если их вступление было делом умеренного направления, то, с другой стороны, ученые элементы содействовали его усилению. Строгие, во главе с ткачем Григорием из Вотика, тщетно боролись словом и пером против возрастающего расслабления. На съезде, или синоде, в *Брандэйсе* (1491 г.) победило умеренное направление. Было постановлено, что богатые и высокопоставленные впредь могут быть принимаемы без отречения от имуществ и ранга. Следует только обращать их внимание на то, как легко они без такого отречения могут лишиться будущего блаженства. Таким образом, хотя требование равенства и не было окончательно устранено, оно однако отошло в область благих пожеланий.

Таким же способом благочестивые братья сумели открыть себе путь и к участию в государственной власти. Они заявили на том же самом съезде: „Если брат получит от светской власти приказание быть судьей, присяжным или цеховым мастером, или итти на войну, или если он сообща с другими должен дать свое согласие на пытки или казнь какого-нибудь преступника, то мы заявляем, что это—дела, на которые кающийся человек не должен итти по доброй и свободной воле, но которых он должен лучше избегать и уклоняться. Но если он не может отделаться ни настойчивыми просьбами, ни другим способом, *то он должен уступить силе*". Но продолжая те же рассуждения, братьям было не только позволено принимать участие в принудительных мерах государственной власти, принимать должность или

итти на войну, если их к тому принуждают,—нет, они впредь и сами могут обращаться к этой принудительной власти, к судьям, могут даже и эксплуатировать, заниматься трактирным делом и торговлею,—разумеется, только *в случаях нужды*.

Строгое направление пришло в ярость перед этими постановлениями, которые опрокидывали прежнее равенство, свободу и братство. Его представители начали энергичную контр - агитацию, привлекли на свою сторону своего епископа, Матвея из Кунвальда, запугали нерешительных или увлекли их за собою; по их настоянию, Матвей созвал новый синод, который отменил постановления, принятые в Брандэйсе, и возвестил безусловное возвращение к старым принципам.

Но радость оказалась кратковременной. Не внутренняя сила, но неожиданность нападения доставила победу строгому направлению. В 1494 г., на синоде в Рейхенау, его представители оказались опять в меньшинстве и теперь сами поняли, что у них нет надежды еще раз добиться признания своих принципов в общине. Произошел раскол. Попытка соглашения, сделанная в 1496 году, привела только к взаимным попрекам и к обострению противоречий.

Строгое направление было партией меньшинства. К ней принадлежали только необразованные люди,—крестьяне и ремесленники. Она стояла в противоречии с потребностями общественного развития. Эта партия год от году все больше хирела. С 1527 года, когда многие последователи секты были сожжены в Праге, она совершенно исчезла.

Напротив, умеренное направление, усиленное вступлением богатых и сильных людей, допускавшее участие в государственном управлении и использование его для своих целей, наконец, организованное в соответствии с требованиями общественного развития,—это направление развивалось быстро. Уже в 1500 году у него было 200 церквей; в течение XVI века оно сделалось важным фактором в политической и экономической жизни Богемии. Насколько сильное участие в этой секте принимали дворяне, видно между

прочим из одного прошения, которое было послано (в 1575 году) императору дворянами, членами братской общины; под ним подписались 17 баронов и 141 рыцарь.

В строе общины не осталось ничего, что могло бы напомнить о ее коммунистическом происхождении; в литературе, как уже отмечено выше, тоже старательно вытравливались коммунистические воспоминания. И если, с одной стороны, богатым было дозволено вступать в общину, то с другой, неравенство зашло так далеко, что среди братьев были и нищие. „*Насколько возможно*",—говорит братский церковный устав 1609 года,—„мы оберегаем наших людей от нищенства". Безусловной же обязанности помогать братьям уже не существовало.

„Из богемских пуритан", — говорит Гиндели (op. cit., стр. 312),—„даже из богемских фанатиков, которые больше почитали Петра Хельчицкого, чем Гусса, предпочитали безбрачие, согласно учению Павла, отказывались от присяги и от занятия каких бы то ни было должностей, не позволяли роскоши, не терпели богатства, не ссужали под проценты, гнушались войны,—из них получались очень состоятельные капиталисты, совсем почтенные мужья, очень искусные коммерсанты, весьма приличные бургомистры и присяжные, чрезвычайно способные генералы и государственные мужи".

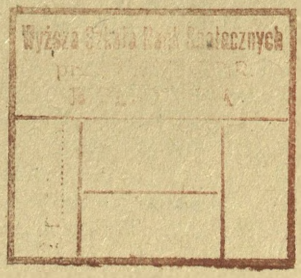
Процветание организации продолжалось до тридцатилетней войны, до битвы на Белой горе (1620 г.). Эта битва принесла окончательное решение долгой борьбы между богемским дворянством и абсолютизмом Габсбургов, которые занимали богемский трон с 1526 года. Она повела к полному уничтожению дворянства, к конфискации его имуществ и разделу их между иезуитами и придворными креатурами. Эта же битва принесла за собой и гибель богемских братьев. В дальнейшем только с трудом поддерживали существование жалкие остатки этой организации; наконец, они нашли пристанище в Гернгуте, в саксонских имениях пиетиста графа Цинцендорфа (1722 год).

Но в гернгутерах не воскрес ни коммунистический энтузиазм строгого, ни мирская мудрость умеренного напра-

вления. Бедные разорившиеся крестьяне и ремесленники, спасавшиеся от преследований только в самых захолустных и отсталых углах, гернгутеры не были в состоянии сохранить дух, господствовавший в общинах богемских братьев.

В XVI веке богемские братья перестали играть роль в истории социализма. В XVII веке они утрачивают интерес и для общей истории.


2466



СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА 3
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 11

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ.

Основы коммунизма в Средние века и в эпоху Реформации

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Платоновский и первоначальный христианский коммунизм. 23—78
1. Платон и его время 23
2. Книга о государстве. 32
3. Корни первоначального христианского коммунизма. . 43
4. Сущность первоначального христианского коммунизма 51
5. Церковные имущества в Средние века. 65
6. Отмирание рабства 71

ГЛАВА ВТОРАЯ. Наемные рабочие в Средние века и в эпоху Реформации. 79—164
1. Возникновение ремесла. 79
2. Цехи 82
3. Возникновение подмастерьев 85
4. Ученик, подмастерье, мастер 92
5. Борьба между подмастерьями и мастерами 99
6. Союзы подмастерьев. 107
7. Рабочая аристократия городов. 115
8. Марка и горное право 120
9. Крупное капиталистическое предприятие в горном деле 128
10. Горнорабочие 141
11. Капитал и труд в ткацком деле 150

ОТДЕЛ ВТОРОЙ.

Коммунистические секты в Средние века.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Общий характер средневекового коммунизма . . . . 167—218
1. Монастырский коммунизм. 167
2. Еретический коммунизм и папство 188

Стр.

3. Противоположность богатства и бедности в Средние века 192
4. Влияние христианской традиции 195
5. Мистика 200
6. Аскетизм 207
7. Интернационализм и революционный дух 211

ГЛАВА ВТОРАЯ. Еретический коммунизм в Италии и Южной Франции . . 219—254
1. Арнольд Брешианский 219
2. Вальденцы 223
3. Апостольские братья 232
4. Экономические корни крестьянских войн 241
5. Восстание Дольчино 247

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Бегарды . . . . . 255—277
1. Возникновение секты бегардов 255
2. Людовик Баварский и папа 266
3. Католическая реакция при Карле IV 274

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Лолларды в Англии . . . . . 278—300
1. Виклеф 278
2. Лолларды 283
3. Крестьянская война 1381 года 289

ГЛАВА ПЯТАЯ Таборпты . . . . . 301—350
1. Великий церковный раскол 301
2. Общественные отношения в Богемии перед Гусситскими войнами 306
3. Начало Гусситского движения 314
4. Партии в Гусситском движении 319
5. Коммунисты в Таборе 324
6. Гибель Табора 338

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Богемские братья . . . . . 351—365

Biblioteka Polsk. Akad. Nauk
im. F. Dzierżyńskiego

BIBLIOTEKA NAUKOWA WAP

35 152 I
2.